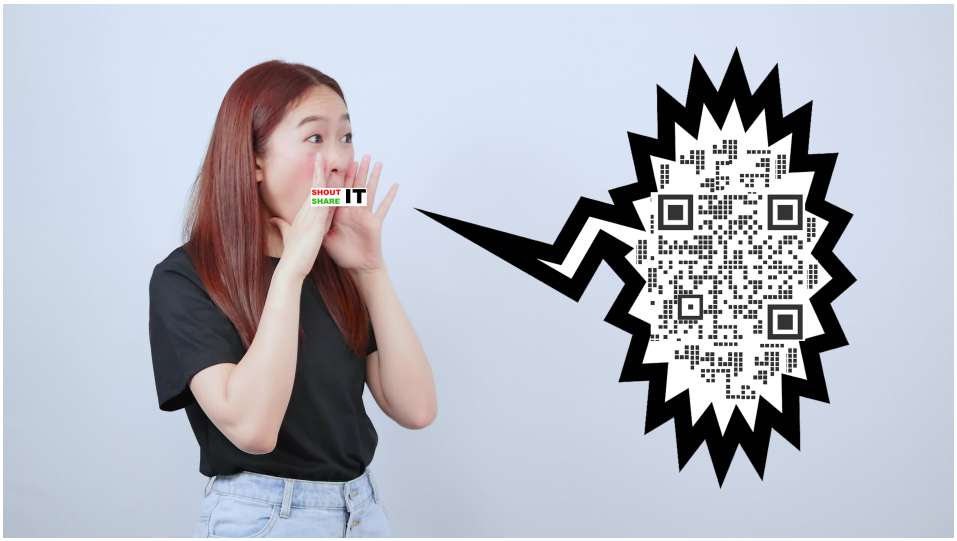
Блаженной памяти

Маргерит Юрсенар


SHOUT
SHARE
IT

-
- БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ
- Роды
- От замка к замку
- Два путника по дороге в страну вечности
- Фернанда
- Комментарии
- Приложения

М.ЮРСЕНАР

БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ

Каким было твое лицо до того, как твои отец и мать встретились друг с другом?

Дзенский коан

Роды

Существо, которое я называю «я», появилось на свет в понедельник 8 июня 1903 года, около 8 часов утра, в Брюсселе, и родилось оно от представителя старинного рода с севера Франции и бельгийки, предки которой на протяжении нескольких веков обитали в Льеже, а потом перебрались в Эно. Произошло упомянутое событие, поскольку всякое рождение — событие для отца с матерью и нескольких близких им людей, в доме номер 193 по авеню Луизы; лет пятнадцать тому назад этот дом проглотило высотное здание, и он исчез.

Обозначив таким образом некоторые факты — сами по себе они ни о чем не говорят, однако каждого из нас уводят гораздо дальше нашей собственной истории и даже истории вообще, — я останавливаюсь: у меня голова идет кругом при мысли о запутанном клубке случайностей и обстоятельств, которые в большей или меньшей степени определяют судьбу каждого из нас. Этот ребенок женского пола, уже попавший в координаты христианской эры и Европы XX века, этот комочек розовой плоти, плачущий в голубой колыбели, вынуждает меня задать себе целый ряд вопросов, тем более ужасных, что они кажутся банальными — любой литератор, владеющий своим ремеслом, старается их избежать. В том, что этот ребенок — я, сомневаться не приходится, иначе мне придется усомниться во всем. И, однако, чтобы справиться хотя бы отчасти с ощущением нереальности, которое вызывает во мне эта идентификация, мне приходится, как если бы дело шло об исторической личности, которую я пытаюсь воссоздать, хвататься за клочки воспоминаний, полученных из вторых или даже десятых рук, за сведения, выжатые из обрывков разрозненных писем и записных книжек, которые позабыли выбросить в мусорную корзину и из которых наша жажда познания выуживает больше, чем они могут дать, или наводить справки в мэриях и у нотариусов, где хранятся подлинники документов, административный и юридический язык которых начисто лишает их человеческого содержания. Я понимаю, что все это недостоверно и туманно, как все, толкуемое памятью слишком разных людей, что это плоско, как все вписанное над точечной строкой в ходатайство о паспорте, что это глупо, как семейные предания, изъеденные тем, что накопилось в нас с течением времени, подобно тому, как бывает изъеден лишайником камень или ржавчиной металл. И, однако, крохи этого известного мне фактографического сырья образуют единственные мостки, которые можно перебросить между тем

ребенком и мною; притом они — единственный бакен, удерживающий нас обеих на волнах времени, С любопытством начинаю я здесь их разбирать, чтобы посмотреть, что даст потом их сборка: образ одного человека и еще нескольких других, образ среды, местности, а может быть, как знать, иногда удастся на мгновение прорваться в то, что не имеет ни названия, ни формы.

Само место моего рождения было в какой-то мере случайным, как очень многое в моей, да и наверняка в любой другой жизни, если присмотреться к ней повнимательней. Г-н и г-жа де К. провели довольно унылое лето в семейном поместье Мон-Нуар, расположенном на одном из холмов французской Фландрии, и этот уголок, не лишенный своеобразной красоты, тем более в ту пору, когда Первая мировая война еще не произвела в нем опустошений, снова, в который раз, нагнал на них тоску. Отдых отнюдь не украсило присутствие сына г-на де К. от первого брака: угрюмый восемнадцатилетний юноша с мачехой держался вызывающе, хотя она и делала робкие попытки завоевать его любовь. Супруги только однажды, в сентябре, ненадолго съездили в Спа, ближайшее место, где г-н де К., страстный игрок, мог найти казино и попытать счастья в рулетку, не вынуждая Фернанду переносить осенние бури на побережье Остенде. Приближалась зима, и мысль о том, что это трудное время года им придется прожить в Лилле, в старом доме на улице Марэ, повергала их в еще большее уныние, чем лето, проведенное в Мон-Нуаре.

Несносная Ноэми, мать г-на де К., которую он ненавидел так, как ни одну другую женщину на свете, вот уже пятьдесят один год была хозяйкой обоих этих жилищ. Дочь председателя лилльского суда, считавшаяся богатой невестой и только благодаря своим деньгам выданная в семью, которая все еще оплакивала огромные потери, понесенные во время революции, Ноэми постоянно напоминала всем о том, что своим теперешним богатством родные обязаны прежде всего ей. Вдова и мать, она распоряжалась семейным кошельком и довольно скупо отмеряла денежные субсидии сорокалетнему сыну, который весело проматывал все, что имел, влезая в долги в ожидании кончины матери. У Ноэми была страсть к притяжательным местоимениям первого лица. Тошно было слушать, как она твердит: «Закрой дверь моей гостиной; сходи узнай, расчистил ли мой садовник мои аллеи, посмотри, который час на моих часах». Из-за беременности г-жи де К. супруги не могли никуда поехать, а до сих пор, эти любители красивых пейзажей и солнечных краев находили в путешествиях выход из любого положения. Но поскольку поездка в Германию или Швейцарию, в Италию или на

юг Франции в данный момент была невозможна, г-н и г-жа де К. стали подыскивать жилье, которое принадлежало бы им самим и куда грозную Ноэми можно было бы приглашать только изредка.

К тому же Фернанда скучала по своим сестрам, особенно по старшей из них, мадемуазель Жанне де К. де М., калеке от рождения, которая не могла выйти замуж и не хотела уйти в монастырь, и потому поселилась в Брюсселе в выбранном ею самой непритязательном жилище. Почти так же, как по сестре, а может даже больше, Фернанда скучала по своей старой гувернантке, немке, жившей теперь при мадемуазель Жанне в качестве компаньонки и правой руки. Эта особа в расшитом стеклярусом корсаже, суровая, но наделенная простодушием и жизнерадостностью на немецкий лад, заменила мать осиротевшей в раннем детстве Фернанде. Вообще-то говоря, в свое время молодая девушка взбунтовалась против влияния этих двух женщин; отчасти, чтобы избавиться от их благочестивого и довольно бесцветного общества, она и вышла за г-на де К. Но теперь, после двух лет брака, мадемуазель Жанна и Фрейлейн казались Фернанде воплощением благоразумия, добродетели, покоя и даже какой-то тихой радости жизни. К тому же, воспитанная в уважении ко всему, что так или иначе имело отношение к Германии, Фернанда хотела, чтобы роды у нее принимал брюссельский врач, который получил образование в одном из немецких университетов и успешно пользовал во время беременности ее замужних сестер.

Г-н де К. уступил. Он вообще всегда уступал желаниям своих сменявших друг друга женщин, как потом уступал желаниям дочери, то есть моим. В этом, без сомнения, проявлялось великодушие, подобного которому я не встречала ни в ком другом — ему всегда легче было сказать «да», чем «нет» тем, кого он любил или хотя бы терпел возле себя. Была в этом и доля безразличия, сотканного из нежелания затевать споры, всегда досадные, но также из уверенности, что в общем все это не имеет значения. Наконец, и прежде всего, г-н де К. принадлежал к тем живым натурам, которых всякое новое предложение пленяет хотя бы на минуту. Брюссель, где хотела поселиться Фернанда, в глазах г-на де К. обладал притягательностью большого города, чего был лишен дымный и скучный Лилль. Человек более осмотрительный постарался бы снять дом на несколько месяцев; но г-н де К. всегда принимал решения на всю жизнь. Агентству по продаже недвижимости поручено было подыскать желанное жилище; г-н де К. выехал на место, чтобы остановить свой выбор на одном из предложенных вариантов, и, как и следовало ожидать, самый дорогой показался ему самым подходящим. Г-н

де К. тут же купил дом. Это был небольшой особняк, на три четверти обставленный, с маленьким садом в ограде, увитой плющом. В особенности пленила г-на де К. расположенная на первом этаже большая библиотека в стиле ампир, где каминную полку украшал мраморный бюст Минервы в шлеме и с эгидой, величаво возвышавшийся на зеленом мраморном цоколе. Мадемуазель Жанна и Фрейлейн наняли прислугу и договорились с сиделкой, которая должна была помогать при родах и остаться потом на несколько недель ухаживать за матерью и ребенком. Супруги де К. прибыли в Брюссель с бесчисленным количеством чемоданов, набитых большей частью книгами, которым предстояло разместиться на полках библиотеки, и с таксой, кобелем по кличке Трир, купленным Мишелем и Фернандой за три года до этого во время поездки в Германию.

Устройство дома превратили в развлечение; произвели смотр прислуге: кухарке Альдегонде и ее младшей сестре, горничной Барбаре, или Барбе (обе родились в окрестностях Хасселта на границе с Голландией), и садовнику-конюху, попечениям которого были вверены лошадь и маленький нарядный экипаж для прогулок в Камбрском лесу, расположенном по соседству. С удовольствием, которое быстро приедается, супруги показывали каждому, кто был готов восторгаться, свое новое обиталище. Пожаловала многочисленная родня. Г-н де К. ценил свояченицу Жанну за ее здравый смысл, основательный и трезвый, и за то, как мужественно она переносит свое увечье. Меньше нравилась ему Фрейлейн с ее дурацкой жизнерадостностью. К тому же Фрейлейн так усердно учила своих питомиц немецкому, что он стал для них вторым родным языком; когда Фрейлейн и Жанна навещали Фернанду, все они говорили только по-немецки, чем выводили из себя г-на де К. не столько потому, что он не понимал женской болтовни, которую вовсе и не стремился понимать, сколько потому, что он видел в этом проявление недопустимой бестактности.

Приходили обедать братья Фернанды: старший, Теобальд, похвалялся своим дипломом инженера, но никогда не работал и не собирался работать по специальности. Завсегдатай клубов, он в свои тридцать девять лет жил в замкнутом кругу, питаясь его сплетнями. Зятю претила толстая шея Теобальда, всегда в царапинах из-за слишком жестких и тугих воротничков. Младший, Октав, своим романтическим именем был обязан отчасти двоюродному дяде, эссеисту Октаву Пирме, одному из хороших бельгийских прозаиков XIX века, созерцателю и мечтателю, но прежде всего тому, что был восьмым из десятерых

детей. Среднего роста, с приятной внешностью, он был немного чудаковат. Как поэтической памяти дядя Октав, этот брат Фернанды любил путешествовать и в одиночестве разъезжал по Европе, верхом или в тряской повозке собственного изобретения. Однажды он даже вздумал — фантазия в те времена редкая — пересечь на пароходе Атлантику и посетить Соединенные Штаты. Малообразованный, хотя и украшенный тонким слоем литературной лакировки (некоторые свои путешествия он описал в маленьком неудобочитаемом томике, изданном за счет автора), он не слишком интересовался древностями и произведениями искусства и в своих скитаниях, судя по всему, дорожил живописностью самой дороги, которую так ценили путешественники того времени, начиная со старика Тёппфера1 с его «Путешествием зигзагом» и кончая Стивенсоном с его «Путешествием на осле»2, а может, дорожил и свободой, которой не мог бы пользоваться в Брюсселе.

Три замужние сестры-провинциалки приезжали реже — их удерживали дети и домашние обязанности хозяек и дам-патронесс. А вот их мужья частенько позволяли себе по делам или ради удовольствия наведаться в Брюссель. Г-н де К. выкуривал с ними несколько сигар и выслушивал их рассуждения на злобу дня — о франко-итальянском союзе, заключенном Камиллом Баррером3, о гнусном радикализме министерства Комба4, о багдадской железной дороге, о продвижении немцев на Ближний Восток и, наконец, до изнеможения, о коммерческой и колониальной экспансии Бельгии. Эти господа были довольно хорошо осведомлены обо всем, что так или иначе касалось колебаний биржевого курса; в политике они повторяли набор консервативных прописных истин. Все это не слишком интересовало г-на де К., у которого в данное время не было денег, чтобы пуститься в сулившие выгоду рискованные предприятия, а всякая политическая новость была в его глазах лживой или уж во всяком случае представляла собой сплав небольшой доли правды с изрядной долей вранья, и он не собирался утруждать себя тем, чтобы отделить одну от другой. Одной из причин, побудивших г-на де К. просить руки Фернанды, было то, что, оставшись сиротой, она пользовалась независимостью, но он начал замечать, что два шурина, три свояка и четыре свояченицы могут оказаться для мужа бременем не меньшим, чем теща. Молодая жена до сей поры знала в Брюсселе только монастырь, где она воспитывалась; все ее светские знакомства были в какой-то мере приложением к семье. Подруги по пансиону разъехались, кто куда; самая красивая и одаренная из них, мадемуазель Г., молодая голландка, которую Фернанда в свое время полюбила так, как можно

полюбить в пятнадцать лет, и которая в розовом платье подружки невесты ослепила г-на де К. в день его свадьбы, вышла замуж за русского и жила за тридевять земель от Брюсселя; молодые женщины писали друг другу нежные и серьезные письма. Несносная Ноэми, от которой Мишель и Фернанда надеялись избавиться, продолжала давить на них всей своей мощью, потому что от нее зависело, получит ли сын в срок ренту, которую она ему выплачивала. Наконец, особенно огорчал этого француза-северянина, любившего только юг, дождь, который зарядил здесь, как в Лилле. «Хорошо там, где нас нет», — любил повторять г-н де К. В настоящий момент в Брюсселе было не слишком хорошо.

На этот брак, уже испещренный мелкими трещинками, г-н де К. решился вскоре после гибели своей первой жены, с которой его связывали прочные узы страсти, отвращения, взаимных упреков и пятнадцать лет бурной жизни, проведенных более или менее бок о бок. Первая г-жа де К. умерла при патетических обстоятельствах, о которых этот человек, свободно говоривший обо всем, старался говорить как можно меньше. Он надеялся, что новое миловидное личико вернет ему радость жизни, — он ошибся. Не то, чтобы Мишель не любил Фернанду — он вообще не способен был жить с женщиной, не привязавшись к ней и не балуя ее. Не говоря уже о внешности, которую я попытаюсь описать позднее, Фернанда обладала своеобразным очарованием. Прежде всего оно заключалось в ее голосе. Фернанда прекрасно говорила по-французски, без малейшего бельгийского акцента, который коробил бы этого француза, и была превосходной рассказчицей, наделенной восхитительным воображением. Г-ну де К. никогда не надоедало слушать ее детские воспоминания или то, как она читает наизусть их любимые стихи. Фернанда сама воспитала себя в неком либеральном духе, она немного знала классические языки, прочла и продолжала читать все модные книги и кое-что из книг, моде не подвластных. Как и он, она любила историю, выискивая в ней главным образом, или, вернее, одни только романические или драматические сюжеты и какие-нибудь прекрасные примеры изысканности чувств или стойкости в несчастьях. В свободные вечера, когда супруги оставались дома, дли них было светской игрой снять с полки толстый исторический словарь, который г-н де К. открывал наугад на каком-нибудь имени, — Фернанда только в редких случаях не могла сообщить сведений об этом персонаже, будь то мифический полубог, английский или скандинавский монарх или какой-нибудь забытый художник или композитор. Минуты, которые они проводили в библиотеке под взглядом Минервы, изваянной каким-то лауреатом Римской премии девяностых

годов, по-прежнему были лучшими в их жизни. Фернанда могла целыми днями читать или мечтать. Она никогда не утомляла мужа женской болтовней — возможно женские темы она приберегала для общения по-немецки с Жанной и Фрейлейн.

Все эти многочисленные достоинства имели свою оборотную сторону. Фернанда была никудышной хозяйкой дома. В дни, когда к обеду ждали гостей, не она, а г-н де К. устраивал длительные совещания с Альдегондой, следя за тем, чтобы в поданных на стол блюдах не оказалось некоторых сочетаний, милых сердцу бельгийских стряпух, таких, как курица с рисом, обложенная картофелем, или чтобы перед десертом не подали пирога со сливами. В ресторане, где г-н де К. тщательно и с аппетитом выбирал простые блюда, его раздражало, что Фернанда наугад заказывает сложные кушанья, а в конце концов довольствуется каким-нибудь фруктом. Причуды беременности были тут ни при чем. С первых же дней их совместной жизни Мишеля коробило, когда в ответ на его предложение отведать какого-нибудь фирменного блюда в кафе Риш, Фернанда говорила: «Зачем? Ведь есть же овощи». Стремясь насладиться каждой минутой, какой бы она ни была, Мишель усматривал в таком поведении способ отказаться от удовольствия, которое само плывет в руки, а может, и то, что он ненавидел больше всего на свете, — скаредность, внушенную мещанским воспитанием. Он ошибался, не рассмотрев в Фернанде склонности к аскетизму. Тем не менее, даже для тех, кто совсем не гурман, не лакомка и не обжора, жить вместе — означает вместе есть. А в застолье г-н и г-жа де К. были плохими партнерами.

Туалеты Фернанды были далеко не безупречны. Одежду от лучших мастеров она носила с небрежностью, в которой была своя грация; однако неаккуратность Фернанды раздражала мужа, который в спальне жены мог наткнуться на брошенную на пол нарядную шляпку или муфту. Только что купленное, в первый раз надетое платье бывало помято или порвано; пуговиц не хватало. Фернанда вечно теряла кольца — то, что ей подарил когда-то жених, она обронила, когда, опустив стекло вагона, старалась обратить внимание Мишеля на восхитивший ее пейзаж. Длинные волосы Фернанды, которые Мишель, сын Прекрасной эпохи5, предпочитал коротким, приводили в отчаяние парикмахеров — те не понимали, как это мадам не умеет воткнуть шпильку или гребень туда, куда нужно. В Фернанде было что-то от феи, а если верить сказкам, нет ничего мучительнее, чем жить с феей. Вдобавок, Фернанда была трусихой. Маленькая кроткая кобыла, которую подарил Фернанде муж, томилась в конюшне Мон-Нуара. Мадам соглашалась сесть на нее только, если муж или грум

держал поводья — безобидное гарцевание лошади ее пугало. Отношения с морем были не лучше, чем с лошадью: когда супруги во время их последнего путешествия плыли на Корсику и на остров Эльбу, Фернанде двадцать раз казалось, что она вот-вот погибнет в море, которое ласково колыхал легкий бриз, а когда пристали к лигурийскому берегу, она только в виде исключения согласилась провести ночь в узенькой каюте, хотя яхта и стояла на якоре в порту, но потребовала, чтобы еду ей подавали за столиком на набережной. Перед глазами г-на де К. вставало загорелое лицо первой жены, которая во время бури помогала справиться с яхтой, или ее же фигура в костюме амазонки в манеже, где она однажды предложила объездить лошадь, и хотя та свирепо била задними ногами и вскидывала круп, мужественно приросла к дамскому седлу, а встряхивало всадницу так, что в конце концов ее вырвало.

Узнать по-настоящему двух людей, связанных брачными узами, можно только, выслушав их альковные признания. То немногое, что я угадываю о любовной жизни моих родителей, рисует мне их как довольно типичную чету начала 1900-х годов с ее проблемами и предрассудками, нам уже чуждыми. Мишелю очень нравились чуть опущенные груди Фернанды, великоватые для ее тонкой фигуры, но, как и многие его современники, он страдал от собственной двойственности в отношении к наслаждению, какое испытывает женщина: он считал, что женщина целомудренная отдается только, чтобы ублажить любимого человека, и его поочередно смущали то холодность, то пылкость его партнерши. Прочитанные романы убедили Фернанду, что вторая жена должна ревновать к памяти первой, и, наверно, отчасти потому она задавала Мишелю вопросы, которые казались ему нелепыми и, уж во всяком случае, неуместными. Месяцы шли, начиная складываться в годы, и Фернанда робко изъявила желание стать матерью, желание, которое вначале в ней почти не проявлялось. Первый и единственный опыт отцовства не слишком вдохновлял г-на де К., но он был убежден, что женщина, которая хочет ребенка, имеет право родить одного, но только одного, если, конечно, не случится оплошности.

Стало быть, все шло, как Мишель хотел, или по крайней мере так, как он считал естественным. И, однако, он чувствовал, что попал в ловушку. Точно так он в свое время попал в нее, когда, желая противостоять планам матери, видевшей в нем своего будущего управляющего, кому уготовано, как ранее его отцу, выслушивать жалобы фермеров и спорить с ними о повышении арендной платы, он, никому не сказав ни слова, завербовался в армию. (Армия ему нравилась, и все же это решение было

следствием семейной ссоры и чем-то вроде неуклюжей попытки шантажировать родню). Попал в ловушку, как и тогда, когда также никому ничего не сказав, бросил армию ради смазливой англичанки. Попал в ловушку, как и тогда, когда, желая угодить отцу, больному неизлечимой болезнью, согласился порвать эту затянувшуюся связь (а как хороши были зеленые пейзажи Англии, как прелестны сменявшие друг друга солнечные и дождливые дни, когда они вдвоем бродили в полях и полдничали на фермах!), чтобы жениться на мадемуазель де Л., которая подходила ему по всем статьям — по социальному положению, по старинным связям между двумя семьями, а еще более по пристрастию к лошадям и к тому, что его мать называла жизнью на широкую ногу. (В годах, прожитых с Бертой, вовсе не все было плохо, было и хорошее, и сносное, хотя и самое худшее тоже). И вот в сорок девять лет он снова оказался в ловушке рядом с женщиной, к которой был привязан, хотя она его немного раздражала, и рядом с ребенком, о котором пока еще неизвестно ничего, кроме того, что ты будешь его любить, а это приведет к тому, что если это мальчик, он будет тебя огорчать и с тобой препираться, а если девочка, ты торжественно отдашь ее чужаку, с которым она будет спать. По временам г-на де К. охватывало желание убраться подальше. Но в том, что они поселились в Брюсселе, была своя хорошая сторона. Если, в конце концов, они с Фернандой — нет, не разведутся (это в их среде немыслимо), но тихо разъедутся, для Фернанды самым естественным выходом будет остаться со своими родными, а он под предлогом уладить кое-какие дела отправится путешествовать или вернется во Францию. Притом, если родится мальчик, даже хорошо, что в эту эпоху гонки вооружений юноша сможет однажды выбрать своей родиной нейтральную страну. Как видим, три года, проведенные в армии, не превратили г-на де К. в патриота, готового пожертвовать своими сыновьями ради возвращения Эльзаса и Лотарингии — эти высокие порывы он предоставлял своему кузену П., депутату от партии правых, который сотрясал стены Палаты проповедями во славу повышения рождаемости французов.

О чувствах, которые в ту зиму испытывала Фернанда, мне известно гораздо меньше, и я могу только вообразить, о чем она думала, когда не спала в своей постели, отделенной ковриком от постели мужа, который тоже предавался раздумьям. Исходя из того немногого, что я знаю о ней, я задаю себе вопрос: «А было ли, и впрямь, желание материнства, которое время от времени изъявляла Фернанда, глядя, как крестьянка кормит грудью новорожденного, или рассматривая в музее младенца на картине

Лоуренса, таким глубоким, как полагали Мишель и она сама?» Инстинкт материнства не так уж властен, как нас хотят убедить, потому что во все времена женщины так называемых привилегированных классов с легким сердцем передоверяли своих малышей прислуге: прежде, когда родителям так было удобно или того требовала их светская жизнь, детей отдавали кормилице, позднее предоставляли неумелым или недобросовестным попечениям нянек, а в наши дни — безличным яслям. Стоит призадуматься и над тем, с какой легкостью столь многие женщины приносили своих детей в жертву армейскому Молоху да еще гордились таким поступком.

Но вернемся к Фернанде. Материнство было неотъемлемой частью образа идеальной женщины, каким его рисовала мораль, принятая в ее кругу: замужняя женщина должна желать стать матерью, точно так же как она должна любить мужа и иметь навыки в изящных искусствах. Впрочем, все, что втолковывали на этот счет, было невнятно и противоречиво: ребенок — это благодать, дар Божий, к тому же он служил оправданием того, что считалось грубым и почти предосудительным даже между супругами, если этого не оправдывало зачатие. Рождение ребенка отмечалось как радостное событие в семейном кругу, беременность же была крестом, который смиренно несла благочестивая женщина, сознающая свой долг. С другой стороны, ребенок был игрушкой, еще одним предметом роскоши, он придавал существованию смысл более убедительный, нежели прогулки в Камбрском лесу или поездки по магазинам. Появление ребенка было неотделимо от голубого или розового приданого, от визитеров, которых роженица принимала в отделанном кружевами неглиже, и представить себе, что женщина, познавшая все радости жизни, обойдется без этой, было невозможно. Словом, ребенок подтверждал, что жизнь молодой жены удалась вполне, и это последнее соображение, наверно, сыграло свою роль для Фернанды, которая вышла замуж довольно поздно и которой 23 февраля исполнился тридцать один год.

Между тем, хотя отношения с сестрами у Фернанды были самые нежные, она ни одной из них, кроме Жанны, с которой советовалась во всем, не рассказала о своей беременности, стараясь как можно дольше оттянуть признание, а это как-то не вяжется с образом женщины, которую надежда стать матерью приводит в восторг. Чем ближе был срок родов, тем больше избитые фразы, благочестивые и очаровательные, обнажали самое простое чувство — страх. Родная мать Фернанды, измученная десятью родами, через год после появления на свет Фернанды умерла от «короткой и мучительной болезни», вызванной, быть

может, новой роковой беременностью; бабушка Фернанды умерла родами в двадцать восемь лет. Часть преданий, передаваемых из уст в уста женской половиной семьи, состояла из рецептов на случай тяжелых родов, рассказах о мертворожденных или умерших до крещения младенцах, о юных матерях, скончавшихся от грудницы. В кухне и бельевой об этом говорили, даже не понижая голоса. Но страхи, иногда охватывавшие Фернанду, оставались смутными. Она принадлежала той эпохе, когда невежество было непременной составной частью девственности и когда даже замужние женщины и матери считали, что ни к чему знать слишком много о зачатии и родах, и не могли бы назвать органы, принимающие участие в этих процессах. Все, что касалось середины тела, было делом мужей, повитух и докторов. Тщетно сестры Фернанды, забрасывавшие ее советами насчет правильного режима и ласково ее подбадривавшие, уверяли, что уже любят будущего крошку, молодой женщине не удавалось связать приступы тошноты, дурноту, тяжесть, которая все росла в ней и однажды должна была выйти из ее тела самым потаенным путем, хотя она и смутно представляла себе, каким, с похожим на восхитительных восковых Иисусов маленьким существом, чьи отделанные кружевом платья и вышитые чепчики она уже хранила. Фернанда с ужасом готовилась к испытанию, подробности которого она представляла себе только в самых общих чертах, но исход которого зависел только от ее собственных сил и мужества. Молитва помогала ей; она успокаивалась, когда думала, что заказала монахиням монастыря, в котором воспитывалась, девятидневную молитву о собственном здравии.

Самым тяжким временем были для нее, без сомнения, те минуты, когда посреди ночи она просыпалась от привычной зубной боли. Слышно было, как по авеню Луизы изредка катят кареты, развозящие людей с вечеринок или из театра, — этот шум мягко приглушали деревья, посаженные здесь в ту пору в четыре ряда. Фернанда старалась защититься мыслью об успокоительных бытовых мелочах: роды ожидались не раньше пятнадцатого июня, но сиделка Азели должна была приступить к своим обязанностям уже пятого числа; не забыть бы написать г-же де Б. с улицы Филиппа Доброго, у которой Азели работала сейчас, чтобы поблагодарить хозяйку за то, что та уступила сиделку на пять дней раньше условленного срока. Все станет легче, когда рядом окажется такая опытная особа. Проснувшись и не отдавая себе отчета в том, что снова успела вздремнуть, Фернанда смотрела на маленькие часы, стоявшие на ночном столике, — пора принимать укрепляющее, прописанное врачом. Сквозь плотные занавески

пробивался солнечный луч, как видно, погода будет хорошей, можно поехать в карете за покупками или погулять в садике с Триром. Бремя будущего становилось не таким гнетущим, дробясь на мелкие заботы и пустяковые дела, приятные и не очень, но все они отвлекали и заполняли время так, что оно текло незаметно. А земля тем временем продолжала вращаться.

Поскольку зубная боль не давала Фернанде покоя, в апреле решено было удалить неправильно выросший зуб мудрости. Фернанда потеряла много крови. Вызванный на дом зубной врач Катерман порекомендовал обычные меры предосторожности: подержать во рту кусочки льда, несколько часов питаться только легкой пищей, не пить горячего и соблюдать полное молчание. Г-н де К. сел рядом с женой и по совету дантиста дал ей карандаш и листок бумаги, чтобы любое свое желание она могла сообщить письменно. Мишель сохранил этот листок, испещренный записями, которые почти невозможно разобрать. Вот они:

— У Бодуэна это уже было.

……

— Катерман умный, деятельный и симпатичный... не то что вчера доктор Дюбуа.

…….

— Я, как Трир, не могу говорить...

……..

— Мне больно даже сосать сухарик...

……..

— Не в кипятке...

……..

— Позвони... Пусть принесут пробку... Вина...

……

— В соседней комнате, на огне?

Вот и все. Но этого довольно, чтобы я могла представить себе тон: и ритм того, что говорили друг другу наедине эти двое шестьдесят девять лет тому назад в доме, исчезнувшем с лица земли. Я не знаю причин, побудивших г-на де К. сохранить этот листок, но то, что он его сохранил, наводит на мысль, что тогдашние вечера в Брюсселе оставили в нем не только дурные воспоминания.

8 июня около шести утра Альдегонда расхаживала по кухне, наливая кофе в чашки Барбаре и слуге-садовнику. На громадной печи, топившейся углем и уже раскаленной докрасна, стояли всевозможные сосуды с кипящей водой. От печи исходило приятное тепло — в этом подвальном помещении, несмотря на летнюю погоду, было прохладно. Ночью никто не сомкнул глаз. Альдегонде пришлось приготовить легкий завтрак, чтобы, если

потребуется, хозяин и доктор, который с вечера не выходил от мадам, могли перекусить. Пришлось также сварить бульон и взбить гоголь-моголь, чтобы подкрепить силы самой мадам, которая, впрочем, почти не притронулась к еде. Барбара всю ночь сновала из спальни на втором этаже в кухню, вынося подносы, кувшины и белье. Вообще, на взгляд г-на де К., было бы приличнее, если бы эта скромная двадцатилетняя девушка не присутствовала при перипетиях разрешения от бремени, но по отношению к горничной, дочери лимбургского арендатора, не соблюдают такой деликатности, как по отношению к городским барышням; к тому же Азели все время нужна была помощь. Барбаре раз двадцать пришлось спуститься и подняться по лестнице двух этажей.

Мне нетрудно представить себе, как трое слуг сидят возле теплой печки, держа в руках чашки, на краешке которых лежат тартинки, как при каждом глотке они обмакивают эти тартинки в кофе и жалеют хозяйку, дела которой идут плохо, но в то же время наслаждаются этой минутой отдыха и вкусной едой, зная, что скоро наверняка опять раздастся звонок или новые крики. В самом деле, с полуночи к этим крикам уже привыкли. Наступавшее затишье пугало; женщины подходили к приоткрытой двери на черную лестницу и, услышав прерывистые стоны, едва ли не успокаивались. Явился молочник с тележкой, которую тащила большая собака. Альдегонда вышла к нему с медной кастрюлей, которую тот наполнил, накренив бидон; когда бидон опорожняли почти до дна, последние капли молока доставались собаке — миска была подвешена к ее упряжке. За молочником пожаловал булочник, принёсший к завтраку еще горячие хлебцы. Потом пришла поденщица, на которую слуги смотрели свысока — на ней лежала обязанность убирать лестницу у входа в дом и участок тротуара перед ним, а также начищать до блеска звонок, дверную ручку и крышку почтового ящика с выгравированным на ней именем владельца. С каждым из посетителей завязывался короткий разговор, обе стороны произносили принятые в подобных случая участливые фразы вперемешку с кое-какими прописными истинами: Господь желает, мол, чтобы в этих делах богатые ничем не отличались от бедных... Немного погодя г-жа Азели, которая на этот раз не позвонила, а сама спустилась за чашкой кофе с тартинкой, сообщила, что доктор решил наложить щипцы. Нет, Барбара там пока не нужна, лишний человек только помеха, не надо путаться у доктора под ногами.

Двадцать минут спустя Барбара, которую Азели вызвала властным звонком, не без страха вошла в спальню хозяйки. Красивая комната походила на место преступления.

Сосредоточенно выполняя распоряжения сиделки, Барбара только робко покосилась на землистое лицо роженицы, на ее согнутые колени и выглядывавшие из под одеяла ступни, под которые был подложен валик. Ребенок, уже отделенный от матери, кричал в корзинке под одеялом. Между хозяином и доктором, у которого дрожали руки и щеки, только что произошла бурная сцена. Хозяин назвал врача мясником. Азели ловко вмешалась, чтобы положить конец раздраженным возгласам обоих мужчин, которые едва себя сдерживали: г-н доктор устал, ему надо отдохнуть, ей, Азели, не впервой помогать при трудных родах. Хозяин свирепо приказал Барбаре проводить доктора.

Опережая служанку, доктор почти сбежал с лестницы. В прихожей он сдернул с вешалки серо-бежевое пальто, надел его поверх испачканного костюма и вышел.

С помощью призванной на выручку Альдегонды женщины придали хаосу видимость порядка. Простыни в крови и экскрементах свернуты в комок и отнесены в прачечную. Липкие и священные атрибуты всякого появления на свет (взрослому человеку трудно представить себе, что он когда-то был ими наделен) сожжены в кухонной печи. Новорожденную обмыли — это была крепкая девочка с головой, покрытой темным пушком, похожим на шерстку мышонка. Глаза у нее были голубые. Проделано было все то, что в течение тысячелетий женщины проделывают из поколения в поколение: служанка осторожно наполнила таз водой, повитуха окунула в него руку, чтобы убедиться, что вода не слишком горячая и не слишком холодная. Мать, чересчур измученная, чтобы вынести лишнее утомление, отвернулась, когда ей поднесли ребенка. Девочку уложили в красивую, обтянутую голубым шелком колыбель, поставленную в соседней комнатке: в характерном для нее порыве благочестия, которое г-н де К., смотря по настроению, находил то глупым, то трогательным, Фернанда дала обет, независимо от пола своего будущего ребенка, до семи лет наряжать его в честь Святой Девы во все голубое.

Новорожденная кричала во всю мощь своих легких, пробуя силы и уже демонстрируя почти устрашающую жизнеспособность, свойственную каждому живому существу, даже мошке, которую большинство людей, не задумываясь, прихлопывает ладонью. Само собой, по мнению современных психологов, ребенок кричит от отчаяния, потому что исторгнут из материнского лона, от ужаса, внушенного ему узким туннелем, который ему пришлось преодолеть, от страха перед миром, где ему все непривычно, даже то, что он дышит и смутно видит нечто, а это нечто — свет летнего утра. Может, эта новорожденная уже пережила подобные

входы и выходы в другом времени; может в этой маленькой, еще плохо скрепленной черепной коробке мерцают обрывки смутных воспоминаний, стирающихся у взрослых и принадлежащих только пребыванию в утробе и появлению на свет. Об этом нам ничего неизвестно: двери жизни и смерти непроницаемы, они захлопываются быстро и плотно.

Так или иначе, эту девочку, которой всего час от роду, уже как бы уловили своей сетью животная боль и человеческие страдания, а также суета времени, важные и ничтожные газетные новости (хотя сегодня за недостатком времени газету некому было прочесть, и она валяется на скамейке в прихожей), и еще мода, и рутина. Над ее колыбелью покачивается крест слоновой кости, украшенный головой ангелочка, который в результате почти смехотворного сплетения случайностей сохранился у меня до сих пор. Вполне банальный предмет, благочестивая безделушка, которую поместили здесь среди почти столь же непременных атласных бантов, но которую Фернанда, по всей вероятности, предварительно освятила. Кость принадлежала убитому в лесах Конго слону, бивни которого были проданы туземцами какому-нибудь бельгийскому торгашу. Вот чем кончил огромный сгусток осмысленной жизни, потомок династии, которая восходит по меньшей мере к началу плейстоцена. Эта безделушка была когда-то частью животного, которое жевало траву, пило речную воду и купалось в благотворной теплой грязи; оно пускало в ход эту слоновую кость, когда сражалось с соперником или пыталось защититься от человека и ласкало своим хоботом самку, с которой спаривалось. Художник, резавший по этой кости, не сумел сделать из нее ничего, кроме дорогой культовой поделки: ангелочек, призванный олицетворять собой ангела-хранителя, в которого ребенок однажды поверит, похож на пухлощеких купидонов, так же серийно фабриковавшихся греко-римскими поденщиками.

Мережки и кружева на крошечном покрывале — произведение рукодельниц, которые работают на дому и которым платит гроши владелица бельевого магазина, расположенного в аристократическом квартале, или посредник-поставщик этого магазина. Г-жа де К., несмотря на свое доброе сердце, едва ли когда-нибудь задумывалась над тем, в каких условиях живут эти своеобразные Парки, которые невидимо для всех ткут и вышивают свадебные платья и приданое для новорожденных. Г-н де К., склонный к благотворительности, принимал участие в бедняках из деревушки Сен-Жан-Капель у подножия Мон-Нуара: ему знакомы хижины, где женщины спозаранку усаживаются у окна, положив на подоконник подушечку, чтобы заработать

несколько су плетением кружев, прежде чем приняться за другую повседневную тяжелую работу; он возмущается чрезмерно высокими доходами элегантной владелицы бельевого магазина, но безропотно оплачивает счета. В конце концов, быть может, этим женщинам доставляют удовольствие изысканные рисунки, выходящие из их рук; хотя правда и то, что искусницы иногда теряют на этом зрение. Муж Фернанды был против того, чтобы нанимали кормилицу: он считал чудовищным, что матери приходится бросать собственного ребенка, чтобы вспаивать за деньги чужого. В этом отношении его также просветили ужасные скученные деревеньки Северной Франции: он возмущался тем, что бедная девушка иногда в сговоре с собственной матерью с готовностью ложится под случайного любовника ради того, чтобы через десять-одиннадцать месяцев надеть на себя украшенный лентами чепчик кормилицы и получить хорошее место у богатых людей, где она, может быть, останется на долгие годы, если из кормилиц ее со временем произведут в няньки. В г-не де К., как во многих его современниках-мужчинах, сидит маленький Толстой, против воли попавший под власть обычаев и условностей своего времени, освободиться от которых до конца у него нет ни мужества, ни охоты. О том, чтобы Фернанда испортила свою грудь, не может быть и речи — стало быть, ребенка будут кормить из соски.

Молоко успокаивает новорожденную. Она быстро наловчилась с каким-то даже неистовством сосать резиновую грудь — приятный вкус текущей в рот жидкости был наверняка ее первым наслаждением. Источник питательной влаги — корова-кормилица, животный символ земного плодородия; она дает людям не только молоко, но позднее, когда ее сосцы окончательно иссякнут, и свою тощую плоть и, наконец, свою кожу, сухожилия и кости, из которых делают клей и костяной уголь. Она умрет смертью почти неминуемо мучительной, отлученная от привычных лугов, после долгого путешествия в тряском вагоне для перевозки скота, который доставит ее на бойню, зачастую всю разбитую, изнуренную жаждой и уж во всяком случае напуганную непонятными дни нее толчками и шумом. Или же ее погонят под палящим солнцем по дороге, жаля длинными острыми стрекалами, истязая, если она будет упрямиться; еле живая, с веревкой на шее, а иногда и с выколотым глазом, добредет она до места казни, где ее отдадут в руки убийц, которых ожесточило их злосчастное ремесло и которые, может статься, начнут кромсать ее на части до того, как она перестанет дышать. Само ее название «корова»6 должно было бы быть священным для людей, которых она кормит, но по-

французски оно вызывает смех, и кое-кто из читателей этой книги наверняка сочтет смешным и это последнее замечание, и те, что ему предшествуют.

Новорожденная принадлежит эпохе и среде, где прислуга являет собой особый институт; у супругов де К. конечно же есть «челядь». Здесь не место задаваться вопросом, были ли Альдегонда и Барбара довольны своей судьбой больше, чем рабы древности или фабричные рабочие; заметим, однако, что на протяжении своей жизни, которая пока еще только началась, новорожденной придется увидеть, как быстро распространяются формы подчинения, куда более унизительные, чем работа по дому. В описываемую минуту Барбара и Альдегонда несомненно сказали бы, что им не на что жаловаться. Время от времени одна из них или г-жа Азели бросают взгляд на колыбель, потом поспешно возвращаются к хозяйке. Ребенок, который еще (или уже) не знает, что такое человеческое лицо, видит, как над ним склоняются какие-то большие расплывчатые шары, которые производят шум. Точно так же много лет спустя, на этот раз в полузабытье агонии, он, быть может, увидит, как над ним склоняются лица сиделки и врача. Мне хочется думать, что Трир, которого согнали с его привычного места на коврике у кровати Фернанды, нашел способ пробраться к колыбели и, обнюхав невиданный прежде предмет, чей запах ему еще незнаком, виляет длинным хвостом, чтобы показать, что относится к нему с доверием, а потом на своих кривых ногах возвращается в кухню, где его ждут лакомые куски.

В два часа пополудни стало казаться, что кровотечение остановлено, и г-н де К. отправился в клуб за своим шурином Теобальдом, а потом за свояком Жоржем, приехавшим на несколько дней из Льежа погостить у Жанны, которую записочкой уже известили об утренних событиях. И трое мужчин отправились в мэрию Исселя оформить рождение ребенка. Вряд ли г-н де К. знал, что здание мэрии, отнюдь не безобразное, было лет пятьдесят назад летней резиденцией Малибран, певицы, чья преждевременная смерть вдохновила стихи Мюссе, которые Мишель с Фернандой любили и много раз читали друг другу вслух («Нет, говорить о ней сегодня слишком поздно, / С тех пор, как нет ее, пятнадцать дней прошло...»). Неподалеку от мэрии на кладбище Исселя вот уже несколько лет покоится француз-самоубийца, которому г-н де К. не так давно нанес визит почтения — это восславленный песенками в кабаре храбрый генерал Буланже 7, который, оставив в дураках правых депутатов, замысливших в расчете на него государственный переворот, отправился в Брюссель, чтобы воссоединиться со своей

умирающей от чахотки любовницей, г-жой де Боннемен. На взгляд г-на де К., храбрый генерал в политическом смысле — фигура смешная, но Мишеля восхищает смерть этого верного любовника. («Как мог я неделю прожить без тебя?»). Впрочем, сейчас не время думать о покойниках. Чиновник, регистрирующий акты гражданского состояния, по всей форме выправил бумагу о рождении дочери Мишеля-Шарля-Рене-Жозефа К. де К., собственника, рожденного в Лилле (Северный департамент, Франция) и Фернанды-Луизы-Мари-Гислены де К. де М., рожденной в Намюре, супругов, проживающих совместно и имеющих постоянное место жительства в Сен-Жан-Капель (Северный департамент, Франция). Первое К. в фамилии отца было начальной буквой старого фламандского семейного имени, которое упоминали в официальных бумагах, но которым в повседневной жизни пользовались все реже, предпочитая ему звучащее на безупречном французском название земли, приобретенной в XVIII веке.

Впрочем, упомянутый официальный документ пестрит грубыми ошибками не лучше текста, принадлежащего руке какого-нибудь античного или средневекового писца. Одно из имен Фернанды по оплошности названо дважды. В рубрике, где указаны имена и звания свидетелей, барону де К. д'И, проживающему в Льеже, промышленнику (не знаю, какой именно промышленностью занимался он в тот год, но мне известно, что позднее он управлял фирмой, импортировавшей французские вина), несмотря на его вполне разборчивую подпись, дана та же фамилия, что и его шурину Теобальду де К. де М., который проживал в Брюсселе и бароном не был. Из-за путаницы, вызванной, очевидно, разговорным языком, Жорж к тому же фигурирует там в качестве двоюродного деда новорожденной, на самом же деле он был двоюродным братом Фернанды и мужем ее старшей сестры.

Мелкие промахи или просто неточности, но из тех, что в случае, когда речь идет о документах более важных, выводят из себя целые поколения эрудитов.

Врач, которым заменили доктора Дюбуа, заявил, что состояние роженицы, принимая во внимание все обстоятельства, более или менее удовлетворительно. Два последующих дня прошли благополучно: Жанна и Фрейлейн каждое утро ненадолго заходили к Фернанде после ранней литургии в церкви кармелитов, которую мадемуазель Жанна не пропустила бы ни за что на свете. Однако в четверг г-жа Азели встревожилась, заметив, что больную слегка лихорадит. На другой день г-н де К. решил отныне по утрам и вечерам записывать со слов сиделки

температуру и пульс больной. Он схватил визитную карточку, на которой почти комично переплелись гербы двух семейств, и прежде всего обозначил на ней вчерашнее число, пытаясь вспомнить точно, какие показания температуры и пульса были накануне. Но ни он, ни г-жа Азели вспомнить этого не смогли. И листок приобрел такой вид:

11 июня 8 ч. утра
8 ч. вечера 3...
12 июня 8 ч. утра 38.7 пульс 100
4 ч. дня 39.9 п. 120
8ч. вечера 39. п. 100

полдень 38.2 п.108
4 ч. 38.7 п.106
10 ч. вечера 39. п. 120
14 июня 8 ч. утра 38.5 п. 108
10 ч. вечера 39.6 п. 110
15 июня 8 ч. утра 38.2 п. ...
полдень 38.2 п. ...
16 июня 8 ч. утра 39.6 п. 130
полдень 38.3 п. 108
4 ч. 40.3 п. 130
9 ч. 40.4 п. 135
17 июня 8 ч. утра 39.7 л. 134
полдень 38.7 п. 124
4 ч. 37.2 п. ...
5 ч. 39.6 п. 134
18 июня 8 ч. утра 38.6 п. 130
4 ч. 39.6 п. 133

18-го вечером Фернанда умерла от родильной горячки, осложненной перитонитом. Единственная дата, которую г-н де К. не обозначил на своем листке, хотя и записал дневные пульс и температуру, было тринадцатое. Может, он опустил эту цифру из суеверия.

Тревожную неделю ознаменовали некоторые второстепенные события. Прежде всего крестины. Обряд совершили без всякой торжественности в обычной приходской церкви Святого Креста Господня, построенной в 1859 году и за годы, прошедшие со времени, мной описываемого, кое-как подновленной, чтобы она все-таки смотрелась рядом с внушительным телерадиоцентром, возведенным поблизости. Именно в этой церкви за два с половиной года до того Мишель венчался с Фернандой. Кроме кюре и мальчика-певчего, на нынешней церемонии присутствовали только крестный, г-н Теобальд, крестная,

Мадемуазель Жанна, опиравшаяся по обыкновению на руки Фрейлейн и горничной («Два моих посоха» — называла она их) и г-жа Азели, которая держала ребенка и спешила поскорее вернуться к больной, у изголовья которой в эту минуту ее заменяли хозяин и Барбара.

Девочку нарекли Маргерит в честь любимой гувернантки-немки которую звали Маргарета, пока она не стала для всех мадемуазель, Фрейлейн; Антуанеттой — это имя, как и имя Адриенна, носила ненавистная Ноэми, чье повседневное имя казалось безусловно старомодным и даже несколько смешным; Жанной в честь калеки Жанны и отчасти в честь подруги Фернанды, которая среди прочих имен носила и это и которой суждено было сыграть довольно большую роль в моей жизни; Мари в честь Той, что ежедневно и в час нашей смерти молит за нас, бедных грешников; и, наконец, Гисленой, как это часто принято на севере Франции и в Бельгии, поскольку считается, что Святой Гислен оберегает от детских болезней. Положенные по обычаю коробочки с драже были заказаны заранее — прежде чем их раздать, надо было только написать серебряным курсивом имя ребенка на крышечке бежевого картона, украшенного «Материнством» Фрагонара. Барбара долго хранила свою коробочку. Несколько лет спустя я задумчиво сосала засахаренные миндалины — твердые, но рассыпчатые белые камешки, которые сохранились от моих крестин.

Маленькое, но более важное, во всяком случае, на взгляд г-на де К событие произошло на следующий день. Фернанда в одну из тех минут, когда у нее появлялись силы чего-нибудь желать, обратилась за помощью к Богу. Она вспомнила, что много раз поклонялась реликвиям, выставленным в церкви кармелитов, куда она ходила с Жанной. В тяжелых случаях эти реликвии приносили больным, которые выражали такое пожелание. Фернанда попросила г-на де К. исхлопотать для нее эту милость у настоятеля монастыря.

Между тем реликвии были у нее под рукой. В уголке супружеской спальни, куда она уединялась для молитвы, на консоли стояло распятие XVII века из часовни замка Сюарле, где Фернанда выросла. В подставке и в поперечине креста были проделаны маленькие отверстия: под покрывающим их тонким выпуклым стеклом на подстилке тускло-красного бархата виднелись частицы мощей — каждая была снабжена маленьким пергаментным флажком с указанием, какому мученику они принадлежали. Но мелкие буквы латинских надписей выцвели, и мученики вновь стали безымянными. Известно было только, что какой-то предок привез это благочестивое сокровище из Рима и

что обломки костей найдены в пыли катакомб. Быть может то, что Фернанда не знала, о каких святых идет речь, а может и то, что она слишком привыкла к этому мрачноватому предмету с его поникшим серебряным Христом и с немного облупившейся черепаховой инкрустацией по краю, ослабляло ее веру в действенность домашней реликвии. Зато реликвии из монастыря кармелитов слыли среди соседей по кварталу чудотворными.

В тот же день явился молодой монах. Он тихонько вошел в спальню на втором этаже; вынув из складок рясы ковчежец с реликвиями, он с необычайной осторожностью и почтением поставил его на подушку, но Фернанда, впавшая в беспокойное забытье, даже не заметила появления столь желанной помощи. Между тем, молодой кармелит, преклонив колени, прочел вслух латинские молитвы, а потом продолжал молиться про себя. Г-н де К., преклонивший колени скорее из приличия, нежели по убеждению, смотрел, как молится монах. Прошло довольно много времени, прежде чем посетитель в коричневой рясе встал, задумчиво поглядел на больную, как показалось г-ну де К., с глубокой печалью, бережно взял портативный реликварий, снова спрятал его в складках своего облачения и направился к двери. Г-н де К. проводил гостя до самой улицы. Ему казалось, что печаль молодого монаха вызвана не только состраданием к умирающей, но что, сомневаясь сам в могуществе принесенных им мощей, он надеялся, что больной сразу станет лучше и его греховные сомнения рассеются, а теперь его постигло разочарование. Но, может быть, г-н де К. все это просто придумал.

Второй визит нанесла Ноэми. Из привязанности к сыну г-на де К., которого, несмотря на высокий рост и девятнадцать лет, продолжали называть Мишель-маленький, Ноэми осудила второй брак Мишеля и тем более беременность Фернанды. Когда Ноэми получила телеграмму с сообщением о радостном событии, у нее вырвался привычный жест досады, который раздражал родных, считавших его проявлением вульгарности, — она хлопнула себя по ляжке тыльной стороной руки. «Мишеля-маленького ополовинили!» — воскликнула она, выражая этой метафорой, что ее любимец получит теперь только половину отцовского наследства. Тем не менее, она все-таки отправилась в Брюссель, наверняка из женского и прежде всего старушечьего любопытства не в силах устоять перед соблазном посетить комнату роженицы, а также отчасти потому, что г-н де К., которому рождение ребенка обошлось в кругленькую сумму, попросил мать ссудить ему несколько тысяч; что ж, она привезет деньги сама и таким образом не откажет себе в удовольствии, как всегда в подобных случаях, обменяться с сыном колкостями. Несмотря на свой

возраст, Ноэми время от времени наезжала в бельгийскую столицу за покупками, поскольку Париж был очень уж далеко, а в Лилле трудно было найти желаемое. Единственным неудобством оказывалась необходимость на обратном пути платить за некоторые покупки таможенную пошлину. Однако Ноэми обычно умудрялась не платить ни гроша.

Не успев выйти из наемной кареты, Ноэми сразу догадалась, каково состояние Фернанды. В самом деле, проезжая часть улицы перед домом была выстлана плотным слоем соломы, чтобы приглушить стук колес. Такую предосторожность принимали обычно, когда в доме был тяжелобольной, так что соседи уже поняли, что роженица очень плоха. Барбара впустила мать хозяина; та отказалась войти в маленькую гостиную на первом этаже и отдать свой зонтик. Она уселась на скамье в прихожей.

Уведомленный о приезде матери г-н де К. еще с площадки второго этажа узнал дородную сутуловатую фигуру Ноэми и жест, которым она прижимала к животу дорожную сумку из черной кожи, будто кто-то намеревался ее выхватить (сумка была украшена вымышленной графской короной, злившей Мишеля, хотя по слабодушию он иногда позволял поставщикам называть себя графом). Подойдя к старой даме, сын без обиняков объяснил ей, как обстоят дела, — спасти Фернанду надежды не было. Однако температура немного снизилась, и короткий визит больную не утомит: в настоящую минуту она в полном сознании и будет тронута вниманием свекрови.

Но старуха учуяла запах смерти. Лицо ее исказилось; еще крепче стиснув свою сумку, она спросила:

— А как по-твоему, я не могу заразиться?

Г-н де К. сдержался и не стал заверять мамашу, что родильная горячка ей уже не грозит. Вцепившись в скамейку, Ноэми отказалась отобедать — Мишель не стал настаивать, поскольку Альдегонда, часть ночи продежурившая у постели Фернанды, уже почти заглушила огонь в печи. Вдовствующая матрона уселась в ожидавшую у входа карету и, не теряя времени, укатила обратно в Мон-Нуар. Потом она говорила, что от волнения забыла дать сыну деньги, которых он ждал.

Немного позже к Фернанде явился последний гость, но на сей раз роженица уже не могла обменяться с ним несколькими словами или улыбнуться. Это был фотограф. Он вошел со всем своим колдовским снаряжением: светочувствительными стеклянными пластинками, предназначенными запечатлеть, если не навсегда, то надолго окружающую картину, с камерой, сконструированной по образцу глаза, что бы возместить несовершенство памяти, и треножником с черным покрывалом.

Кроме последнего облика г-жи де К., этот незнакомец сохранил для меня детали обстановки, благодаря которым я воскрешаю теперь этот забытый интерьер. У изголовья Фернанды в двух пяти свечных канделябрах горят всего по три ритуальных свечи, придавая что-то зловещее сцене, которая без них была бы просто торжественно спокойной. На складках полога выделяется спинка кровати красного дерева, а слева выглядывает часть другого такого же ложа, тщательно покрытого стеганым одеялом с оборками, под которым в эту ночь безусловно никто не спал. Впрочем, я ошибаюсь: внимательно вглядевшись в фотографию, я вижу на краю одеяла темную массу — это передние лапы и нос Трира, свернувшегося на кровати хозяина, который счел милым и трогательным оставить пса на этом месте.

Три женщины заботливо убрали Фернанду. При взгляде на нее возникает ощущение удивительной опрятности: подтеки пота, послеродовые выделения — все тщательно смыто, стерто, словно между распадом жизни и распадом смерти возникла временная пауза. Покойница 1903 года одета в батистовую ночную сорочку, отороченную кружевом на рукавах и воротничке; прозрачный тюль чуть затеняет ее лицо и нимбом окружает волосы, которые по контрасту с белизной белья кажутся черными. Переплетенные четками пальцы соединены на животе, вздутом от перитонита так, что простыни топорщатся, словно Фернанда все еще ждет ребенка. Она стала такой, какой бывают мертвецы неподвижная, неприступная, нечувствительная к свету, она уже не вдыхает и не выдыхает воздух, не пользуется им, чтобы выговорить какие-то слова, уже не принимает пищи, чтобы потом ее частично испражнить. Если на портретах г-жи де К., девушки и молодой жены, у нее милое лицо с тонкими чертами, и только, на посмертных фотографиях, по крайней мере на некоторых, она кажется красивой. Болезненное истощение, покой смерти, полное отсутствие желания нравиться и производить хорошее впечатление, а может, и умелое освещение, созданное фотографом, выявляют лепку этого лица, подчеркивают довольно высокие скулы, выпуклость надбровных дуг, линию носа с изящной горбинкой и узкими ноздрями, придают лицу неожиданное достоинство и твердость. Большие опущенные веки, создавая иллюзию, что Фернанда спит, смягчают ее облик. Ведь очерк губ горек, и у рта гордая складка, которая зачастую появляется у умерших, словно они одержали нелегкую победу. Видно, что три женщины старательно разложили почти скульптурными складками во всю ширину кровати только что отутюженную простыню и взбили подушки.

На той неделе друзья и знакомые получили почти

одновременно два сообщения. Первое было в маленьком конверте со скромным голубым ободком, заказанном заранее, как и коробочки с драже. На подобранном к конверту листке таким же голубым курсивом была выгравирована надпись: «Г-н и г-жа де К. счастливы сообщить, что у них родилась дочь Маргерит». Второе было грубо обведено широкой черной каймой. Муж, дочь, пасынок, свекровь, братья, сестры, зятья, тетка, племянники, племянницы и прочие родственники Фернанды с глубокой скорбью извещали в нем о понесенной ими невосполнимой утрате. Похороны 22 июня в 10 часов в семейном склепе в Сюарле после отпевания, что не отменяет другой службы, в Брюсселе, неделю спустя. На вокзале Рин, где состоится вынос тела из поезда, который отходит из Брюсселя в 8 часов 45 минут утра, будут ждать кареты.

Церемония была совершена так, как и предполагалось, не знаю только, при какой погоде: под дождем или при свете солнца. Свекровь и пасынок из Мон-Нуара не приехали. Наспех позавтракав, может быть, несколько более плотно, чем обыкновенно, участники проводов в назначенный час собрались на вокзале в квартале Леопольда. А в Рине в ожидании выстроились приехавшие из Намюра кареты — для кучеров это был удачный день; лошади время от времени наклоняли головы, чтобы ухватить клочок сочной травы. Фернанду опустили в склеп у внешней стены деревянной церкви — решетка отделяла его от остального кладбища. После трех лет и трех месяцев, проведенных рядом с г-ном де К., Фернанда возвращалась к своим родным. В маленькой семейной ограде, где стояли рядом одинаковые кресты, уже обитали родители Фернанды, два ее брата и сестра, умершие в младенчестве. После службы г-н де К. обменялся несколькими словами с кюре, который обратил внимание вдовца на то, как бедна его церковь. То ли сравнительно недавно построенная, то ли плохо отреставрированная и покрашенная внутри желтовато-коричневой краской, она и в самом деле была довольно убога. Но больше всего кюре удручало, что на хорах нет витражей. Красивый витраж с изображением Святого Фернанда на той стене, что обращена к склепу, был бы самым трогательным памятником умершей. Г-н де К. вынул чековую книжку.

Несколько месяцев спустя он получил в Мон-Нуаре фотографию нового витража, который показался ему безобразным. Фотографию сопровождало угодливое письмо от кюре. Витраж, конечно, украсил хоры, но по контрасту левое окно с его простым стеклом выглядит еще хуже, чем прежде. Хорошо бы и его украсить парным витражом с изображением Михаила

Архангела. Г-н де К. выбросил письмо кюре в мусорную корзину.

В эти перенасыщенные дни ни у кого не было времени заниматься новорожденной, которую часто поили холодным и даже некипяченым молоком, что пошло ей на пользу. Только один раз ею занялись всерьез. В одну из тех минут, когда к Фернанде возвращалось сознание и она начинала понимать, что происходит и что ее ждет, она в присутствии Жанны и Фрейлейн дала мужу такой наказ:

— Если девочка когда-нибудь пожелает уйти в монастырь, не чините ей препятствий.

Г-н де К. не передал мне этих слов, смолчала из деликатности и Жанна. Но Фрейлейн поступила по-другому. Каждый раз, когда я на несколько дней приезжала погостить к той, кто была для меня тетей Жанной, Фрейлейн неустанно напоминала мне этот материнский завет, отчего я не переносила бедную старуху-немку, которая и без того раздражала меня своими шумными ласками и подтруниваниями. В семь или восемь лет я уже считала, что мать, о которой я почти ничего не знала, портретов которой отец мне никогда не показывал (у тети Жанны среди многочисленных фотографий на пианино стояла и фотография Фернанды, но тетка ни разу не привлекла к ней моего внимания), без всякого на то права посягает на мою жизнь и свободу, слишком явно пытаясь подтолкнуть меня в каком-то определенном направлении. Само собой, меня мало привлекал монастырь, но наверняка я взбунтовалась бы точно так же, узнай я, что на смертном одре мать распорядилась насчет моего будущего замужества или указала, куда меня следует отдать на воспитание. С какой стати люди вмешиваются не в свои дела? Я вела себя, как собачонка, которая невольно отдергивает голову, когда к ней подносят ошейник.

По зрелом размышлении мне начинает казаться, что совет матери был вызван не благочестием, которым так восхищалась Фрейлейн. Все наводит меня на мысль, что ни ранняя юность, проведенная в мечтах и сентиментальных порывах в духе времени, ни брак и безмятежная благополучная жизнь, какую ей пытался создать г-н де К., не удовлетворяли Фернанду. В разгар страданий, которые, вероятно, были ужасными, обозрев свое короткое прошлое, она, наверно, сочла его ничего не стоящим; сиюминутные муки зачеркнули жирной чертой все, что в ту или иную пору могло быть источником счастья, и Фернанда пожелала, чтобы ее дочь избегла опыта, который для нее кончился так плохо. В каком-то смысле эти несколько слов содержали затаенный упрек мужу, который считал, что одарил ее всем, чего может пожелать женщина, — Фернанда давала ему понять, что,

как ее современница Мелизанда8, не была счастлива.

Это вовсе не означает, что г-жа де К. была лишена религиозных чувств — совсем напротив, и я это показала. Вот и, возможно, что во время своей агонии Фернанда рванулась к Богу, и не только ее собственная жизнь, но и всякое земное существование в смутном свете смерти показались ей тщетными и превратными. Быть может, желая своей дочери того, что в воспоминаниях рисовалось ей тихой монастырской жизнью, Фернанда пыталась приоткрыть для девочки единственную известную ей дверь, которая вела прочь от того, что когда-то называли мирским, к той единственной трансцендентности, название которой было ей знакомо. Иногда я говорю себе, что запоздалым образом и на свой собственный лад я приняла постриг, и желание г-жи де К. исполнилось в той форме, какую она не одобрила бы и не поняла.

Прошло более пятидесяти трех лет, прежде чем я впервые приехала в Сюарле. Было это в 1956 году. Возвращаясь из Голландии и Германии, я проезжала через Бельгию. Я только что побывала в Вестфалии: для работы над уже начатой книгой мне надо было подышать воздухом Мюнстера. В этот мрачный город я попала в день религиозно-патриотического праздника: он был посвящен возобновлению службы в соборе, разрушенном бомбардировками в 1944 году. В старом центре было полно гигантских хоругвей, из репродукторов неслись громогласные речи. Площадь вокруг собора, который в XVI веке был свидетелем безумств Ханса Бокхольда9 и кровавой расправы с анабаптистами, почернела от толпы, ожесточенно бронировавшейся в воспоминания о своих обидах и в гордость тем, что она восстановила свои развалины. У меня самой, у моей подруги-американки и у шофера-голландца, который нас привез, 1944 год тоже оставил жестокие воспоминания, но не те, что у этих вестфальцев. Мы чувствовали себя незваными гостями, нам было не по себе на празднестве, всю важность которого для этого немецкого города мы понимали, но на котором мы оставались вчерашними врагами и сегодняшними чужаками. И мы поспешили уехать из Мюнстера.

В Гааге газеты были полны сообщениями о похищении Бен Белы10 — театральном эффекте североафриканской мелодрамы. Несколько дней спустя после неуклюжей и лживой подготовки пресса и радио шумно оповестили о начале злополучной истории с Суэцом. В одном из крупных городов фламандской Бельгии я стала свидетельницей шовинистического бреда нескольких представителей официальных французских кругов, которые пили за победу непонятно над кем. Английские промышленники,

которых я мельком видела на другой день, вторили этой воинственности, но только с британским акцентом. Уже заговорили о черном рынке, и бельгийские хозяйки запасались сахаром. Самые предусмотрительные закупали свинцовые пластинки, чтобы покрыть ими окна, поскольку свинец защищает от радиации. Тем временем, пока Запад был занят другими делами, Советы постарались укрепить свои бастионы. Я приехала в Брюссель как раз тогда, когда сообщили ошеломляющую новость: русские танки окружили Будапешт. Сгущая и без того мрачную картину, жизнерадостный шофер такси, который меня вез, воскликнул: «Русские сбрасывают на них фосфорные бомбы! Там все полыхает! Надо же!» Славного парня тоже охватил не восторг, поскольку он боялся русских, но своеобразное возбуждение, почти веселье, которое у семидесяти пяти процентов людей вызывают большой пожар или крупная железнодорожная катастрофа. Приглашенная к одной благовоспитанной старой даме, теперь уже умершей, я услышала другую погудку. Хозяйка дома, как и положено, терпеть не могла Советский Союз, однако на венгерское восстание смотрела свысока. «Бунт рабочих!», — с презрением воскликнула она, и чувствовалось, что, сохраняя до конца верность добрым старым принципам, куда бы они ее ни завели, она впервые в жизни оправдывала Кремль. Во всей этой кутерьме недавняя драма французского Индокитая, предвестница более страшных драм, была уже прочно забыта; однако по приезде в Париж, когда, перейдя улицу, я заглянула в церковь Святого Роха, чтобы еще раз полюбоваться ею изнутри, я увидела там священника и нескольких женщин в трауре, которые продолжали молиться за погибших в Дьен-Бьен-Фу11.

Прежде чем покинуть Брюссель, я зашла в Музей старого искусства поклониться Брейгелю. Полумрак тусклого осеннего предвечерья уже окутывал «Перепись в Вифлееме» и ее разбросанных но снежному фону покорных сельчан, «Борьбу добрых ангелов с падшими» (последних с их мордами недочеловеков), «Падение Икара», который низвергается с неба, а пахарь, совершенно равнодушный к этой первой авиационной катастрофе, тем временем продолжает сев. Мне казалось, что за этими картинами возникают другие, из других музеев: «Безумная Грета», в праведной и тщетной ярости вопящая посреди сожженной деревни, «Избиение младенцев» — зловещая пара к «Переписи в Вифлееме», «Вавилонская башня» с главой государства, которого почтительно принимают строители, возводящие для него эту громаду заблуждений; «Триумф смерти» с полками скелетов, и, может быть, самая точная из аллегорий —

«Слепые, поводыри слепых». Миром как никогда правили грубость, жадность, равнодушие к чужим страданиям, безумие и глупость, умноженные быстрым ростом населения и впервые снабженные оружием тотального уничтожения. Быть может, нынешнему кризису предстояло разрешиться, принеся бедствия лишь ограниченному числу людей, но на смену ему должны были прийти другие, и каждый усугублен последствиями предыдущих — неотвратимое уже началось. Сторожа, строевым шагом обходившие залы, чтобы объявить, что настал час закрывать музей, казалось, возвещают, что настал час закрыть все.

Краткое пребывание в Намюре меня развлекло. Я была здесь впервые и посмотрела все, что обычно показывают туристам. Старательно обошла собор, который сердцем дона Хуана Австрийского12 связан с гноищем Эскуриала, куда отвезли его тело. Посетила шедевр искусства барокко, церковь Сен-Лу, «погребальный будуар», которым восхищался Бодлер, впервые потрясенный там «дуновением безумия», приближение которого он ощущал давно. Поднялась к крепости на холме, куда наверняка в детстве водили Фернанде чтобы она могла полюбоваться отсюда прекрасным видом — этот холм когда-то попирали воины, женщины и дети кельтских племен, спасавшиеся здесь от солдат Цезаря. В археологическом музее рассматривала мелкие бронзовые изделия галло-римских времен и тяжелые украшения эпохи варваров. Вторую половину дня я посвятила Сюарле. Но здесь я расскажу только о моем посещении кладбища.

С тех пор, как Мишель оставил здесь жену, семейная гробница пополнилась. Здесь лежали Жанна, Теобальд и сошедший с ума перед смертью Октав. Замужних сестер не было — они покоились со своими супругами на других кладбищах. Эпитафии, вырезанные недостаточно глубоко, прочесть было почти невозможно; невольно ностальгически вспоминались прекрасные буквы античных надписей, увековечивших память самых случайных людей. Я отказалась от попытки установить, получила ли Фрейлейн место между Жанной и Фернандой. Думаю, что нет. Старую гувернантку можно любить и почитать, но семья остается семьей.

Несмотря на все усилия, мне не удавалось почувствовать связь между погребенными здесь людьми и мной. Я знала лично только троих из них — двух дядей и тетку, но и тех потеряла из виду еще в десятилетнем возрасте. Я прошла сквозь Фернанду — несколько месяцев я питалась ее плотью, но сознание этого было холодным, как пропись в учебнике. Могила матери волновала меня не больше, чем могила незнакомки, о кончине которой мне случайно и кратко рассказали. Еще труднее было представить

себе, что Артур де К. де М. и его жена Матильда Т., о которых мне было известно меньше, чем о Бодлере или о матери дона Хуана Австрийского, носили в себе кое-какие частицы, из тех, что сформировали меня саму. Между тем за спиной этого господина и этой дамы, замкнутых в своем XIX веке, громоздились тысячи предков, которые восходят к доисторическим временам и далее, теряя человеческий облик, к самому началу жизни на земле. Здесь была половина того сплава, из которого состою я.

Половина? После того перемешивания, которое и делает каждого из нас существом уникальным, как вычислить процент моральных или физических свойств, доставшихся от них? Это все равно, что, расчленив мои собственные кости, попытаться проанализировать и взвесить составляющие их минералы. К тому же, если верно то, что не только кровь и сперма делают нас тем, что мы есть (а я с каждым днем склоняюсь к этому все более), всякий подсчет такого рода изначально ошибочен. Тем не менее Артур и Матильда находились на втором скрещении нитей, привязывающих меня вообще ко всему на свете. Каковы бы ни были наши гипотезы насчет загадочной зоны, из которой мы вышли и куда вернемся, нельзя вычеркнуть из своего сознания простейшие данные, банальные очевидности, которые однако сами по себе тоже загадочны и никогда не могут полностью совместиться с нами. Артур и Матильда были моими дедом и бабкой. Я была дочерью Фернанды.

С другой стороны, я понимала, что раздумывая об этих могилах в Сюарле, я совершаю ошибку, когда прикрепляю этих людей к себе. Если Артур, Матильда и Фернанда почти ничего для меня не значили, то еще меньше значила для них я. За тридцать один год и четыре месяца жизни моей матери я занимала ее мысли максимум восемь месяцев с небольшим: вначале я воплощала для нее неуверенность, потом надежду, опасение, страх, в течение нескольких часов — муку. В дни после моего рождения порой, когда г-жа Азели приносила ей разряженную новорожденную, я, вероятно, вызывала у нее чувство нежности, удивления, может быть, гордости, а также облегчения от того, что она жива и выдержала это опасное приключение. Потом все унесла набиравшая силу горячка. Мы видели, что на какое-то мгновение она задумалась о судьбе ребенка, которого покидала, но нет сомнений, надвигающаяся смерть занимала ее больше, чем мое будущее. Что до г-на Артура и г-жи Матильды, умерших, он — за девять, она — за двадцать семь лет до свадьбы дочери, для них я была одним из тех условных внучат, до которых супругам желают дожить во время свадебной церемонии.

На ладонях, которыми я опиралась на прутья решетки, остались пятна ржавчины. Много поколений сорных трав сменили друг друга с той поры, как эта решетка открылась, чтобы впустить последнего из явившихся сюда — то ли Октава, то ли Теобальда, точно я не знала. Из десяти детей Артура и Матильды семеро покоились здесь; от этих семерых в том году (а это был 1956 год), остался всего один отпрыск — я сама. Стало быть, мне следовало что-то здесь сделать. Но что? Две тысячи лет тому назад я принесла бы еду мертвецам, погребенным в позе эмбриона, которому еще предстоит родиться, — один из прекраснейших символов бессмертия, придуманных человечеством. В галло-римскую эпоху я вылила бы молока и меда к подножию колумбария с прахом усопших. В христианскую эпоху я молилась бы иногда о том, чтобы эти люди вкушали вечный покой, иногда о том, чтобы после нескольких лет чистилища они приобщились к небесному блаженству. Молитвы, противоречащие друг другу, но по сути выражающие одно и то же. Я же, такая, какой я была тогда, могла только пожелать всем этим лицам удачи на том неисповедимом пути, который мы все проходим, — а это тоже своего рода молитва. Конечно, я могла распорядиться, чтобы покрасили решетку и пропололи траву. Но назавтра я уезжала, времени у меня было в обрез. Впрочем, такая мысль даже не пришла мне в голову.

Примерно две недели спустя после смерти Фернанды («Нет, говорить о ней сегодня слишком поздно, / С тех пор как нет ее, пятнадцать дней прошло...») родные и самые близкие друзья получили по почте последнее сообщение, посвященное молодой женщине. Это был поминальник, что зовется «Блаженной памяти» — маленький листок, какой можно вложить между страницами молитвенника: его лицевую сторону обычно украшает картинка на какой-нибудь религиозный сюжет, сопровождаемый одной или несколькими молитвами, и под каждой мелкими буквами указаны часы, месяцы и годы, когда произнесение их приносит отпущение душам в Чистилище, а на обороте — просьба молить Бога за усопшего или усопшую и несколько цитат из Священного писания, из других религиозных сочинений или каких-нибудь молитв. Листок «Блаженной памяти» Фернанды был скромен. Молитва, которую в те годы часто предлагал гравировальщик, отличалась банальной елейностью — 31 июля 1858 года она была рекомендована верующим Пием IX как молитва о страждущих душах, но никоим образом не была привязана к счислению времени, наивно опирающемуся на часы и календари живых. На обороте в сопровождении молитв с указанием грехов, которые они отпускают, стояли две фразы без упоминания имени их

автора, но я полагаю, что сочинил их г-н де К.

«*Не надо плакать оттого, что этого больше нет, надо улыбаться оттого, что это было.*

Она всегда старалась делать все, что могла».

Первая мысль меня трогает. В жалком арсенале наших утешений она кажется мне одной из самых действенных. Вдовец хотел сказать, что существование молодой женщины, сколь мимолетно они ни было, остается само по себе бесценным даром, и смерть его не отменила. Но этому афоризму не хватает обычной точности г-на де К. Мы улыбаемся из жалости, улыбаемся из презрения, улыбаемся скептически также часто, как растроганно и любовно. Г-н де К. вначале вероятно написал: «Надо радоваться, оттого, что это было», но посчитал слово «радоваться» слишком бойким для надгробного сочинения, а может, его соблазнила любовь к симметрии. Вторая фраза также вызывает смущение. Мишель наверняка чувствовал, что сказать о ком-то «он сделал, что мог» — это самая лучшая похвала. Формула напоминает девиз Ван Эйка «Ais ik kan»13, который я всегда хотела сделать и своим девизом. Но неуверенная фраза: «Она всегда старалась делать все, что могла», способствует впечатлению, что у Фернанды это не всегда получалось. Кое-кому из друзей и родных такая похвала должна была напомнить «рекомендации», которые добрый, но не желающий лгать хозяин выдает тому, кто покинул его службу и не отличился никаким особым талантом. Фразу можно считать снисходительной или трогательной. Г-н де К. хотел, чтобы она звучала трогательно.

Впрочем, боль потери притуплялась. Кто-то слышал, как Мишель сказал одному из шуринов или свояков, что, в конце концов, роды — естественная женская повинность: Фернанда пала на поле чести. Метафора неожиданная в устах Мишеля, который не только не требовал от Фернанды плодовитости, а можно сказать, разрешил меня молодой жене, чтобы не противодействовать ее материнским склонностям; он был также не из тех, кто считает, что Бог обязал супругов плодиться. Наверно, Мишелю показалось, что такая фраза хорошо звучит в устах бывшего кирасира, и произнес он ее наверняка в одну из тех минут, когда не знаешь, что сказать. Действительность являла собой уродливый хаос — г-н де К. кое-как втискивал ее в избитую фразу, которая несомненно должна была прийтись по вкусу Теобальду и Жоржу.

На той неделе у Мишеля было очень много дел. Впопыхах ретировавшийся доктор Дюбуа забыл где-то в спальне Фернанды свои щипцы и фартук. Г-н де К. приказал упаковать их, перевязать и сам отнес доктору на дом. Открыла служанка. Мишель бросил

пакет в приоткрытую дверь и, не сказав ни слова, удалился.

Потом он отправился в агентство по продаже недвижимости и объявил, что продает дом на улице Луизы. Сам он решил уехать за границу — вернуться в Мон-Нуар с новорожденной и сиделкой Азели, которую он убедил остаться у него в услужении до конца лета, чтобы помочь Барбаре освоить ее новые обязанности няньки. Альдегонда и садовник получили щедрое вознаграждение и были уволены. С собой во Францию взяли лошадь, чтобы она паслась на подножном корму на лугах Мон-Нуара, и Трира, который назван был так потому, что родился в одноименном городе; сопровождавший Мишеля и Фернанду в их путешествиях пес несомненно напоминал об усопшей больше, чем сам ребенок.

Взяли с собой и книги. Г-н де К. охотно увез бы в Мон-Нуар стоявший в библиотеке громадный стол, на котором стопками лежали книги его любимых авторов и любимых авторов матери Маргерит (так он отныне называл покойную). Но потом передумал: стол оказался слишком тяжелым, для его транспортировки пришлось бы прибегнуть к услугам профессионалов. То же касалось и Минервы, которая, как всегда равнодушная к сделкам по покупке и продаже, в конце концов осталась на своей зеленой мраморной подставке там, где стояла.

Перед отъездом г-н де К. нанес еще один визит. Он направился к антиквару, у которого Фернанда купила кое-какие украшения, и вернул ему то, что она взяла на время посмотреть, подойдет ли оно ей. Антиквар, старый еврей с тонкими чертами кроткого лица, отличался хорошим вкусом; г-н де К., который уже и раньше несколько раз встречался со стариком, с удовольствием перекидывался с ним словечком-другим. Возможно, то был единственный человек, с которым за все время пребывания в Брюсселе г-ну де К. было приятно беседовать. Антиквар обратил внимание на траурную одежду своего клиента, деликатно осведомился о причине. Г-н де К. рассказал ему о том, что произошло.

— А ребенок? — спросил старый еврей, выразив положенные соболезнования.

— Ребенок жив.

— Печально, — мягко сказал старик. Г-н де К. с ним согласился.

— Да, — повторил он. — Печально.

Я не согласна с утверждением, которое часто подразумевается само собой, а именно, будто ранняя потеря матери — для ребенка всегда катастрофа или будто осиротевший ребенок всю жизнь тоскует по отсутствующей матери. По крайней мере со мной все было по-другому. До моего семилетнего

возраста Барбара не просто заменяла мне мать; она стала мне самой настоящей матерью, и, как мы увидим дальше, моим первым потрясением была не смерть Фернанды, а отъезд Барбары. Потом или даже одновременно с этим любовницы отца или те, что были ему вроде любовниц, а впоследствии его третья жена дали мне с лихвой почувствовать, что такое взаимоотношения дочери с матерью: тут было все: и радость оттого, что тебя балуют, и горе, когда тебе этого недостает, и желание, пока еще смутное, ответить привязанностью на привязанность, и восхищение хорошенькой женщиной, по крайней мере в одном случае, а в другом — любовь и уважение и слегка досадливая симпатия к той, кто при своей доброте не отличается большим умом.

Но речь не обо мне, а о том, что не будь этого несчастного случая, Фернанда могла прожить еще тридцать—сорок лет. Иногда я пыталась представить себе ее жизнь. Если бы, как допускал Мишель, они развелись, Фернанда пополнила бы собой довольно бесцветную компанию покинутых женщин, которых немало насчитывалось в этой среде. Она была не из тех, кто утешается с любовником: поступи она так, она терзалась бы угрызениями совести. Если бы мое рождение, напротив, укрепило этот брак, все равно едва ли между супругами воцарилась бы безоблачная гармония. Конечно, со временем Фернанда кое-чему научилась бы, она избавилась бы от томности и приступов меланхолии, столь типичных для дам начала XX века, но мы по опыту знаем, что большинство людей меняется мало. Я или подпала бы под ее влияние, или она бы меня раздражала, и таким образом мое отрочество было бы в большей мере отмечено послушанием или бунтом, а к 1920 году в семнадцатилетней девушке скорее всего верх одержал бы бунт. В случае, если бы Фернанда в отличие от большинства женщин своей семьи дожила до глубокой старости, я так и вижу, как она проводит свои последние годы в качестве дамы-пансионерки в каком-нибудь монастыре или живет в каком-нибудь отеле в Швейцарии, а я из чувства долга наношу ей довольно редкие визиты. Любила ли бы я ее? Решиться ответить на такой вопрос, когда речь идет о том, кого мы не знали, невозможно. Судя по всему, вначале я любила бы ее, как это свойственно большинству детей, эгоистичной и рассеянной любовью, потом, время от времени ссорясь с ней, по привычке питала бы к ней привязанность, все более подтачиваемую равнодушием, как это часто случается со взрослыми, любящими своих матерей. Я пишу это не для того, чтобы меня осудили, а чтобы взглянуть правде в глаза.

И однако сегодня, когда я делаю попытку восстановить и

рассказать историю Фернанды, я начинаю испытывать к ней симпатию, которую доселе не чувствовала. С ней происходит то же, что с теми выдуманными или реальными персонажами, которых я вскармливаю своей плотью, чтобы дать им жизнь или воскресить их к жизни. Впрочем, прошедшие годы выворачивают наши отношения наизнанку. Я сейчас в два раза старше, чем она была 18 июня 1903 года, и я склоняюсь над ней, словно над своей дочерью, которую всячески старалась бы понять, не до конца в этом преуспев. Тем же эффектом времени объясняется и то, что мой отец, умерший в семидесятипятилетнем возрасте, кажется мне теперь не столько отцом, сколько старшим братом. Правда, такое впечатление появилось у меня уже тогда, когда мне было двадцать пять.

В течение того июня г-н де К. занялся процедурой, более душераздирающей, нежели та, что проходила в Сюарле, — не придумав ничего более подходящего, назову ее «сокрытием реликвий». Белье и платья умершей были отданы Сестрицам Бедных, чтобы те продали их в пользу своих подопечных, — Жанна это одобрила. Остались разрозненные осколки, которые сохраняются всегда даже у тех, кто в силу своего темперамента склонен все выкидывать. Г-н де К. сложил в шкатулку то, что осталось от Фернанды: очень нежное письмо, которое она написала ему до свадьбы, послания от ее сестер, кое-какие заметки, сделанные им во время ее болезни, скромные сувениры, уцелевшие от ее пребывания в пансионе, дипломы, школьные упражнения и аттестаты с отметками, и, наконец, тетрадь, которую впоследствии я выкинула и в которой Фернанда, уже замужняя дама, предавалась довольно жалкому литературному сочинительству — это была романтическая новелла, действие которой происходит на фоне старинного бретонского поместья (г-жа де К. Бретани не знала) и в которой на всем ее протяжении описывается ревность второй жены к первой, чей призрак неотступно ее преследует. Г-н де К. приобрел в ней облик спортсмена, наделенного британским шиком. Я не сужу Фернанду на основании этого маленького отрывка, который прежде всего свидетельствует о ее потребности романтизировать собственную жизнь.

Кроме того, Мишель сложил в шкатулку фотографии жены, прижизненные и посмертные, и моментальные снимки, сделанные во время их совместных путешествий. Он поместил туда и тщательно надписанный конверт с прядями волос, которые мать Маргерит попросила подстричь себе накануне родов. Рассматривая их в году приблизительно 1929-м, я обратила внимание, что эти тонкие каштановые волосы такого темного

оттенка, что кажутся черными, не отличишь от моих.

Другие волосяные реликвии привели меня в ужас. Это были тяжелые браслеты, свитые из кос каштанового цвета с рыжиной и принадлежавшие, как видно, матери или одной из бабушек Фернанды. Эти перевитые шнуры, такие жесткие, словно они сплетены из металла, уже не имели ничего общего с той растительностью, которую секретирует человеческая кожа, точно так же, как искусно обработанная кожа своим видом не напоминает уже шкуру, содранную с животного. Мне удалось избавиться от браслетов, найдя желающих купить их ради золотых фермуаров. В сафьяновой шкатулке кроме нескольких трофеев, сохранившихся на память от давних котильонов, лежали коралловые бусы, из тех, что обычно покупают в Неаполе, — г-жа де К. наверняка выбрала их, выходя из какого-нибудь ресторана на Виа Партенопе или возвращаясь в карете с прогулки по Позилиппо; хрупкие коралловые веточки, обернутые в папиросную бумагу, почти совсем раскрошились. Украшения более ценные, хранившиеся в банковском сейфе, частично были мной проданы в минуту денежных затруднений, частично переделаны так, что г-жа де К. их бы не узнала. На самом дне шкатулки лежало обручальное кольцо, оно тоже было переплавлено — такие кольца священны лишь тогда, когда они остаются на пальце умершей. Медали с изображением святых были отданы не помню уж кому. Ковчежец из слоновой кости и черепахи нашел приют в монастыре.

Всю эту смесь дополняли еще кое-какие разрозненные предметы. На томике Боссюэ «Размышления о Евангелии», в отделанном кожей переплете с золотым обрезом, издания братьев Гарнье, сохранилась надпись угловатыми готическими буквами, свидетельствовавшая о том, что эту книгу по случаю дня рождения Фрейлейн ей подарила одна из ее дорогих питомиц, Зоэ. Экслибрис из десяти серебряных наследственных ромбов указывает на то, что Фрейлейн, без сомнения предпочитавшая благочестивые сочинения на немецком, пожертвовала эту книгу в скудный общий фонд библиотеки Сюарле. «Размышления» сохранили безупречно опрятный вид книги, которую мало читали. Зато «Требником верующих» в двух томах, изданным Декле, Лефебром и Компанией в 1897 году в Турне, судя по его потрепанному сафьяновому переплету, пользовались постоянно: корона, а над ней девичьи инициалы Фернанды пятнают переплет тщеславием. В этом «Требнике» есть «вечный календарь», с которым я время от времени сверяюсь; иногда я перечитываю также содержащиеся в нем благородные латинские молитвы — Фернанда полагала, что их будут читать до скончания времен,

между тем нынешняя церковь сдала их в архив.

Малюсенькая бальная книжица в форме веера сохранила на своих пластинках из слоновой кости нацарапанные карандашом имена танцевальных партнеров Фернанды; некоторые мне удалось разобрать. Два предмета, работы парижского сафьянщика, очевидно были подарены Мишелем. Первый из них, в котором очень ощутим стиль Прекрасной эпохи, — бумажник для визитных карточек, наполовину сиреневый, наполовину цвета морской волны, и на этом фоне эмалевые ирисы, выполненные с японским изяществом. Поскольку мода на такие бумажники миновала, я складывала в него переписанные на маленькие карточки стихи или мысли, которые в 1929 году нравились мне или служили в жизни путеводной звездой. Эта мое подспорье приютилось в дамской сумочке, где лежали ключи, ручка и прочие мелочи. Исцарапанный, испачканный чернилами и губной помадой, бумажник кончил тем, чем кончает вообще все. Другим предметом, более шикарным, было портмоне ампирно-зеленого цвета из кожи, настолько гладкой, что она казалась покрытой лаком; золотой павлин с распушенным хвостом служил ему застежкой и одновременно оправой. Хотя такое портмоне больше подходило для золотых монет с изображением Сеятельницы14, чем для нашей никелированной мелочи и грязных бумажных купюр, я решила начать им пользоваться, потому что терпеть не могла вещи, без толку валяющиеся в ящиках. Два года спустя я потеряла его во время прогулки по Таунусу. Если потерянные вещи в конце концов воссоединяются с их умершими владельцами, г-жа де К. была бы довольна, узнав, что ее дочь тоже совершала прогулки по дорогам Германии.

Шкатулка, запечатанная Мишелем, выполнила свое назначение — разбудила мое воображение. И однако, глядя на эти благоговейно сбереженные останки, невольно завидуешь животным, у которых нет никакой собственности, кроме их жизни, которую мы зачастую у них отнимаем; поневоле завидуешь также садху15 и анахоретам. Мы знаем, что эти безделушки были кому-то дороги, иногда полезны, и, главное, ценились за то, что помогали выявить или украсить представление человека о самом себе. Но смерть владельца делает их такими же бесполезными, как игрушки-аксессуары, которые мы находим в могилах. Сколь мало значит человеческая индивидуальность, которой мы так дорожим, убедительней всего доказывает скорость, с какой в свою очередь гибнут, разрушаются или теряются предметы, которые эту индивидуальность подпирают, а иногда символизируют.

От замка к замку

Сохраняя набранный на предыдущих страницах темп, я попытаюсь изложить на бумаге то немногое, что знаю о семье Фернанды и о первых годах ее собственной жизни. Чтобы углубиться в мир ее предков, я пользуюсь скудными сведениями, по крохам собранными в генеалогических трудах или в сочинениях местных эрудитов. В описании более позднего времени я завишу от воспоминаний самой Фернанды, переданных мне Мишелем. История моей родни со стороны отца, подробности которой я знаю лучше, история самого отца, которая рисуется мне сквозь обрывки того, что он мне неоднократно рассказывал, уже гораздо ближе к моей собственной истории; то же самое можно сказать и об описании мест и краев, где прошли первые годы моего детства. Они неотделимы от моих личных воспоминаний, и о них речь впереди. То, о чем я расскажу сейчас, наоборот, большей частью мне незнакомо.

Если верить местной хронике, семейство Картье (до XVII века эту фамилию писали через Q) обосновалось на земле Льежа в очень давние времена. Некий шевалье Либье де Картье, женатый на Иде де Оллонь, был в городе Льеже «временным поверенным», то есть чем-то вроде консула — в 1336 году в городе было два таких «поверенных»: один представлял знать, другой — ремесла. С этой семьей произошло то, что происходит со всеми старинными семьями: она угасла, вернее, угасла бы, если бы некий Жан де Форви, в 1427 году женившийся на Мари де Картье, не взял себе ее фамилию и герб. Таким образом, привитые к новому стволу, Картье продолжали процветать в странном духовном государстве, осколке Священной Римской Империи, каковым был Льеж до 1789 года. Все эти люди заключают в лоне своей касты разумные союзы, наверняка получая в приданое хорошие земли или поддержку влиятельных отцов и дядей при дворе князя-епископа или при городских властях. Они округляют свою недвижимость: в перечне принадлежащих им имений до XVIII века числится Форви; в 1545 году к ним прибавляется Флемаль, но только в 1714 Луи-Жозеф де К. (будем писать его через французское «С» — так это выглядит более благопристойно1), владелец еще и Суксона, местности под названием Монс и округа Керкраде, получает от тетки сеньориальные права на деревню Флемаль-Гранд, которой в свое время владел орден Святого Иоанна Иерусалимского.

Члены этой семьи поочередно, а иногда одновременно занимают официальные должности: эшевен2 от дворянства,

эшевен высшего, низшего и среднего суда, высший магистрат, постоянный депутат Льежских Штатов, секретарь по финансовой части, личный советник Монсеньера епископа Максимильяна-Генриха Баварского, личный советник и казначей Монсеньера епископа Иоанна-Клементия Баварского, каноник-бенефициат капитульной церкви Святого Иоанна и церкви Богоматери. Пятеро из них побывали в XVIII веке бургомистрами, трое по два раза. Веком ранее такая честь была сопряжена с опасностью: пятеро льежских бургомистров в XVII веке погибли на эшафоте, шестой был убит. Все они принадлежали к партии реформистов. Но предки Фернанды были сторонниками митры. Впрочем, и для таких людей официальные должности были отнюдь не синекурой. Около 1637 года некий эшевен от знати, которого заподозрили в соучастии в убийстве бургомистра Ла Рюэля, был растерзан толпой: по преданию, она пила кровь несчастного и терзала зубами его плоть.

Воскрешать историю некой семьи было бы почти совсем неинтересно, если бы эта семья не являла собой окно, через которое нашему взгляду открывается история маленького государства старой Европы. Духовное владение, основанное, как уверяют, Святым Губертом, семейная колыбель Карла Великого, которого мы, справедливо или нет, причислили к своим соотечественникам, город, принимавший горячее участие в первом, воистину французском крестовом походе, обогатившем своими легендами наши эпические поэмы, Льеж из некоторого отдаления рисуется нам одним из крупных городов Франции. Все внушает нам эту мысль: валлонский говор, столь близкий нашему языку ойль3 (льежцы напрасно обижались, когда я говорила им, что, обменявшись несколькими словами с местной фермершей, чувствовала себя так, словно перенеслась в XIII век), «сумасбродный народ», о котором пишет Комин4, холерический и веселый, богомольный и антиклерикальный, гордый своим городом, «где служат столько же обеден в день, сколько в Риме», но пять лет преспокойно проживший с клеймом отлучения, которому его предал епископ; чисто французские ансамбли прекрасных особняков XVIII века, музыка Гретри, а позднее Сезара Франка; пылкий энтузиазм, вызванный Декларацией прав человека и даже эскапады Теруань де Мерикур5. Мы склонны видеть в демократических кварталах Льежа продолжение Сент-Антуанского предместья, да и в самом Льеже — главный город департамента Урт, каким его объявила Революция.

Но это лишь одна часть диптиха. На заднем плане другой части — районы Рейна и Мозеля, которым Льеж обязан своим ранним, на рубеже второго тысячелетия расцветом, своей резной

слоновой костью, своими эмалями, своими церковными книгами, величайшим расцветом Ренессанса при Каролингах и Оттоне. Это искусство, которое через Экс-Ла-Шапель сообщается с античностью и далее с Византией, без всякого сомнения — искусство имперское. Большой стиль купели в церкви Святого Варфоломея, созданной около 1110 года, не то опережает современность на четыре века, не то отстает от нее на тысячелетие. С одной стороны, он предвосхищает искусных ню и драпировки Гиберти6; с другой стороны, мускулистая спина принимающего крещение легендарного философа Кратона возвращает нас к римским барельефам эпохи Августа. Это произведение некого Ренье де Уи, который лепил на античный манер, невольно приводит на ум льежского философа, пантеиста Давида Динантского, который мыслил на античный лад и был сожжен в Париже в 1210 году на том месте, где теперь находится Рынок, за то, что вдохновлялся Анаксимандром и Сенекой. Quis est Deus? Mens universi [Что есть Бог? Всемирный разум (лат.).]. Почти наверняка отдаленные предки семейства Картье не имели ничего общего ни с упомянутым скульптором, ни с гениальным еретиком; в лучшем случае они восхищались прекрасной работой первого и возмущались идеями второго, если эти идеи до них дошли. Я упоминаю здесь, однако, это замечательное творение и эту замечательную судьбу, потому что мы слишком часто забываем о мощных токах, струящихся по сосудам из античности и пульсирующих в том, что мы напрасно считаем монолитным Средневековьем. Расположенный между Кельном Альберта Великого8 и Парижем Абеляра9, постоянно поддерживающий связь с Римом и Клерво, благодаря ездящим туда и обратно клеркам и служителям церкви, Льеж до конца XIII века остается вехой на дорогах мысли. Затем истощенный двумя столетиями гражданских войн, уже чреватый социальными потрясениями своего XVII века, город умудряется прозевать свой Ренессанс: Льеж связывает с Возрождением лишь тоненькая нить — несколько итальянизированных художников. Влияние французской изысканности очень рано налагает свою печать на льежскую знать, как позднее Просвещение найдет своих пылких приверженцев в среде постепенно складывающейся либеральной буржуазии. Но хотя Жан-Луи, Луи-Жозеф, Жан-Арну и Пьер-Робер при дворе князей-епископов Баварского дома говорят на французском языке Версаля не без легкого валлонского акцента, весь уклад, вся атмосфера вокруг них до самой Революции останутся такими же уютно старорежимными, как в маленьких немецких княжествах.

Эти родовитые люди, которых унизила бы коммерческая или

банковская деятельность, принадлежат исключительно к числу землевладельцев, военных или духовных лиц или, что еще важнее, желают быть таковыми: в Средние века Комин возмущался тем, что местные каноники из дворян носят шпагу. Как все дворяне Священной Римской империи, они тщеславятся своими титулами, гербами, генеалогическим древом, красивыми побрякушками, которыми в равной мере дорожит, конечно, и французский дворянин, но льежцы не научились говорить об этом с улыбкой, что считается хорошим тоном во Франции. Несмотря на браки с богатой буржуазией, мечтающей об одном — раствориться в них, они образуют касту, которой выгода диктует приверженность некому статус-кво, и, как войско перед лицом противника, маневрируют по отношению к «низшим». Когда смотришь на другие бельгийские города, создается впечатление, отчасти, впрочем, ложное, что, несмотря на яростную борьбу партий и классов, дворянство, патриции, буржуазия и ремесленники иногда выступают единым фронтом: восставших знатных сеньоров, гёзов, поддерживает простонародная Фландрия, и они этим гордятся; графа Эгмонта оплакивает брюссельская чернь. Владение князей-епископов не знает подобных кратких вспышек священного единения. Борьба, с переменным успехом ведущаяся между знатью и простонародьем, постоянные обращения той и другой стороны к зарубежным союзникам, пустая трата ума и энергии, направленных на ничтожные или разрушительные цели, превращают льежскую хронику в типичный пример того беспорядочного политического возбуждения, которое характеризует три четверти политической истории всех городов-государств, не исключая истории Флоренции и Афин, пользующейся незаслуженным почтением.

В 1312 году ремесленники Льежа запирают и заживо сжигают в церкви Святого Мартина двести рыцарей, свершая таким образом свой Орадур10. В 1408 году после множества перипетий епископ Иоанн Баварский бросает в Маас главарей ремесленников, их жен, а с ними и священников, принявших сторону бунтарей. Дворяне опираются на герцогов Бургундских, чья феодальная власть уже отмечена фантастической роскошью заката, ностальгию по которой они передадут Габсбургам. Простолюдины, наоборот, станут пешками для Людовика XI, пешками, которые он может двинуть вперед на шахматной доске Европы, а при необходимости ими пожертвовать. Когда Карл Смелый заставил французского лиса участвовать в разграблении взбунтовавшегося Льежа и бежавшие в дикое безлюдье Арденн простолюдины погибли там «от холода, голода и сонливости» или были перерезаны восставшими сеньорами, которые желали снова

войти в милость, Либер де Картье и его жена Иветта де Рютинган, без сомнении, одобрили такую решительную расправу. Но зато они, быть может, сожалели, что бургундцы уничтожили разбросанные по лесу и приносившие доход «железные мельницы», прообраз в этих краях будущей тяжелой промышленности.

Во время потрясений следующего столетия духовное княжество сохраняет верность чужеземному хозяину и таким образом обделывает выгодные дела. Весьма вероятно, что именно в Льеже были выкопаны пики валлонских гвардейцев, а пики солдат Вильгельма Оранского — в Валлонии, ведь контрабанда во все времена была почти официальным промыслом оружейников. Заваленные работой ремесленники, сами ни во что не вмешиваясь, похоже, неустанно подбивали к мятежам народ в других районах Нидерландов: впрочем, судьба фламандцев наводила на размышления. Бацилла ереси, судя по всему, в Льеже оказалась не такой тлетворной, как в других местах: здесь без труда избавляются от смутьянов-анабаптистов, чье учение повсюду пленяет отверженных; вдова одного из бунтовщиков, отправившись в Страсбург, вышла там замуж за некого Кальвина. Когда в 1585 году Жан де Картье сочетался браком с дочерью городского советника Бар-бой дю Шато, мужская часть свадебных гостей без сомнения радостно откликнулась на сообщение о том, что испанские войска вновь захватили Антверпен и Слейс; женщин, думается мне, больше интересовал туалет новобрачной. Зато лет тридцать спустя, когда сын Жана женился на Изабель Склессен, тоже дочери городского советника, дороговизна и интриги иностранцев, наоборот, вызвали в городе волнения; протестанты Соединенных провинций и христианнейший король в желании нанести ущерб Священной Римской империи поддержали требования простых людей, но вожаки этих бедолаг кончили плохо: те, кто заключил договор в Нимвегене11, отказались принять их посланцев. Наконец епископ одержал окончательную победу — то есть победу на целое столетие.

Под эгидой князя и его функционеров Льеж эпохи рококо, как и вся Европа погрязший в абсолютизме и в наслаждениях, проводит свои дни деятельно и относительно спокойно, пусть даже «гриньу» в узорчатых камзолах или в рабочих блузах иногда вышучивают элегантных «ширу»12 в шляпах, похожих на крылья ласточек и в черных атласных штанах до колен. Прежний предсиндикалистский пыл ремесленников, которые, кстати, и между собой боролись не на жизнь, а на смерть, угас, да и самих цеховых мастеров сменил пролетариат, еще не знающий, что его так зовут. Единственными вспышками, которые приходилось

предотвращать или гасить бургомистрам из семьи Фернанды, были обыкновенные пожары, всегда представлявшие реальную опасность в городе кузнецов и оружейников. Этим, вероятно, и объясняется, что эмблему бургомистерских обязанностей видели в бочках из вываренной кожи, украшенных гербом города и фамильным гербом; выполнены эти бочки были по образцу тех, что передавали по цепочке, когда огонь опустошал мастерские и хижины, грозя перекинуться и на жилье господ. В одном из фамильных замков мне показали такие бочки — легко представить себе, что Луи-Жозеф, Франсуа-Дени, Жан-Арну, Пьер-Робер и Жан-Луи, не щадя своих сил, гасили также все очаги пришедших из Франции новых идей, которые вспыхивали в простонародье.

Впрочем, как и повсюду, соображения выгоды волей-неволей вынуждают знать и простолюдинов существовать в своего рода враждебном симбиозе. Без изделий своих оружейных мастерских епископ был бы всего-навсего жалким князьком, и его казначей Жан-Арну не знал бы, каким способом набить деньгами епископские сундуки. Но и благополучие мастеровых тоже зависит от того, насколько хорошо идут дела, то есть им нужно, чтобы в мире все шло заведенным порядком и не переводились покупатели на мушкеты для Семилетней войны, на седельные пистолеты, которыми Картуш13 простреливает головы путешественников и которыми Вертер воспользуется, чтобы покончить с собой, и на тонкие шпаги с резной рукояткой, которыми в гостиных Брюсселя позвякивают дворяне. В эпоху, когда уже считается, что возросшая троица — население, мануфактурное производство и денежное обращение — способна оградить от всех бед, а Вольтер, выражающий общественное мнение, протестует против Церкви, которая, устанавливая праздники, лишает рабочих трудовых заработков, уверенность в благотворной роли производства, в том числе производства огнестрельного оружия, становится мирской догмой, которой суждена долгая жизнь — Жан-Арну и Пьер-Робер не станут ее оспаривать.

Но тем временем силою вещей эти чиновники благородных кровей начинают все меньше отличаться от богатых буржуа. Ветер, принесенный из Франции, сметет их феодальные права; впрочем, благоденствие собственников и так уже давно зависит не столько от давних и устаревших повинностей, сколько от договоров, заключенных с арендаторами. Уже давно также светские франты вкладывают деньги в коммерцию и промышленность и через своих банкиров участвуют в спекуляциях. Каменный уголь, с XVIII века все более входящий в

обиход, преобразовал полукустарные фабрики в мощную индустрию. Нет сомнения, первые дворяне, обнаружившие под своими идиллическими, но мало прибыльными пашнями и пастбищами богатые залежи угля, радовались этому не меньше, чем сегодня техасский фермер или арабский принц, узнавшие, что владеют нефтяной скважиной. Недалек тот день, когда в Бельгии, очертя голову ринувшейся в деловую жизнь, барон де К. д'И станет промышленником, г-н де К. де М. будет гордиться дипломом инженера, а дворянские титулы, которые навсегда останутся в цене, самым ловким обеспечат теплое местечко в административных советах.

В самые первые годы XVIII века один из моих отдаленных пращуров по имени Луи-Жозеф де К. при поддержке жены Маргерит-Петрониллы, дочери Жиля Дюзара, главного секретаря суда эшевенов и верховного секретаря города Льежа, преобразил останки старинного здания, принадлежавшего ордену Св. Иоанна Иерусалимского во Флемале, в приятное современное жилище. Любопытно проследить, как эта чета, подобно животным, которые заняли опустелую нору, где прежде обитали четвероногие другого вида, отдаленно им родственного, устраивается в пустой скорлупе одного из великих и воинственных монашеских орденов, чье могущество уже кануло в незапамятное прошлое. Тьери де Флемаль, Конрад де Лоншен, Гийом де Флемаль по прозвищу Храбрец, орден Св. Иоанна и капитул церкви Сен-Дени отдалены от Луи-Жозефа более, чем он от нас. Эпоха, когда в моду вошло нечто вроде предромантического интереса к Средневековью и термин «готика», в свое время звучавший презрительно, начал волновать воображение современников, еще не до конца вступила в свои права. Вряд ли сон Луи-Жозефа и Маргерит-Петрониллы когда-нибудь тревожили призраки рыцарей с красным крестом на плаще.

Вид Флемаля, который какой-то вандал вырезал из прекрасной книги «Красоты Льежа», изданной в 1718 году, и вставил в старинную рамку позолоченного стекла, был частью пестрого наследства, оставшегося после Фернанды. Я вижу на нем замок с башенками, который, как это часто бывает в Нидерландах, кажется построенным на сто лет раньше, чем это было на самом деле, — местные каменщики отставали от французских. Зато сад, наоборот, как все сады того времени, копирует партеры Версаля. На крепостной стене, ограничивающей его с севера и, возможно, оставшейся от командорства, еще видны угловые сторожевые башенки; в других направлениях он раскинулся по холму, и сельская череда фруктовых садов, пашен и виноградников соединяет его с

берегом Мааса. Большое гумно, часовня, сохранившая свой средневековый облик, подпирают замок или соседствуют с ним. К реке ведет совершенно прямая аллея: десятка два высоких домов с покатыми крышами, некоторые — с фахверками, образуют по берегу деревню Флемаль-Гранд. На воде покачиваются две-три лодки: ими пользуются для переправы на другой берег те, кто держит путь в аббатство Валь Сен-Ламбер, которое, само собой, еще не окружено нынешним громадным фабричным комплексом. Лодками пользуются также, чтобы порыбачить или пострелять перелетных птиц у лесистого островка, прозванного Вороньим островом. Если же пройти несколько лье по поросшим травой и кустарником холмам, которые защищают замок и деревню с севера, можно добраться до Тонгра, древней столицы бельгийской Галлии, и дальше — до лимбургской границы владений князя-епископа.

Вглядимся на миг в эту кучку домов на берегу реки, которая для гравера XVIII века была всего лишь живописной деталью. Возраста более почтенного, нежели замок Луи-Жозефа и командорство, ему предшествовавшее, эта деревушка (только с более низенькими, крытыми соломой домишками) существовала уже в начале второго века нашей эры, еще не знавшей, что она эра христианская; вот тогда-то и вернулся сюда доживать свои дни ветеран, чье выгравированное на бронзе свидетельство об отставке позднее всплыло из волн Мааса. Этот легионер из племени тонгров служил в одном из гарнизонов на острове, который потом стал называться Англией; в отставку он вышел в первые месяцы правления Траяна. Мне хочется думать, что его вернувшийся из-за моря отряд высадился в Кельне, центре расположения войск в Нижней Германии, как раз тогда, когда военачальник получил известие о своем избрании императором; привез известие прискакавший во весь опор гонец, племянник полководца, Публий Элий Адриан, молодой офицер, которому суждено блестящее будущее. Легко представить себе на берегу среди голых ребятишек, устроившихся в высокой траве, старика, в который раз описывающего эту сцену: как аплодировали войска, разгоряченные положенной в таких случаях раздачей пива и денег, как офицер, еще опьяненный скачкой, рассказывал о засаде, которую ему устроили возле Трира, на берегу Мозеля, враги и от которой он ускользнул благодаря силе и лихости своих двадцати лет... Если верить путешественникам, которые по дороге в Кельн порой заворачивают во Флемаль, молодой офицер сам стал теперь императором; его профиль видели на монетах, недавно отчеканенных в Риме. А Траян, одержавший столько побед, умер... Быть может, по случаю победы над другими

варварами, врагами его племени, этот тонгр побывал в Городе... Тогда он описал, приукрашивая их, дома с плоскими крышами, большие храмы, дороги, загроможденные повозками, лавки, где можно купить все на свете, красивых девушек, слишком дорогих для его солдатского кошелька, свирепые игры, в которых люди борются с хищниками, или люди с людьми, или хищники с хищниками — самое прекрасное зрелище из всех, что ему довелось повидать на своем веку. Ветеран с трудом поднимает свое затекшее тело, думая, что теперь не смог бы носить тяжелое снаряжение легионера; он позабыл начатки латыни, которой научился у своих центурионов. Скоро он услышит, как темной ночью по волоку с лающей сворой скачет Охотник, который уносит мертвых в загробный мир...

Я фантазирую в гораздо меньшей степени, чем можно предположить: отдавая порой дань увлечению стариной, как это было принято в ту пору в светском кругу, Луи-Жозеф и его наследники, наверно, с интересом вглядывались в скудные следы того, что извлекали из земли лопаты их садовников. Они почтительно вертели в руках ржавые монеты и красные глиняные черепки — осколки сосудов со стереотипным, но изысканным рельефом, из которых галло-римские бедняки ели бобы или ячменную кашу. Глядя на них, они наизусть цитировали выученные в коллеже латинские стихи, опуская выпавшие из памяти строки и приводя иногда избитые сентенции насчет того, как бежит время, как рушатся империи и даже княжества. Вот и я, в свою очередь, следую теперь их примеру, но лучше высказать избитые суждения на эту тему, чем обойти ее молчанием, закрыв на нее глаза.

Если Маргерит-Петронилла должным образом исполняет обязанности владелицы замка, она время от времени спускается в деревню, чтобы отнести туда старое белье, немного вина или крепкий бульон для больного или для роженицы — на грязных улочках, где свиньи пожирают отбросы, а куры сидят на кучах навоза, она высоко поднимает юбки. Луи-Жозеф иногда постукивает палкой с серебряным набалдашником о порог дома одного из наиболее почтенных крестьян, который в маленьком масштабе Флемаля играет ту же роль, что этот благородный господин в большом масштабе Льежа: оказать крестьянину честь своим визитом — дипломатический ход. Во Флемале в ожидании крупной промышленности делает первые шаги мелкое производство — Жан-Луи вложил деньги в фабрику иголок и дал разрешение на разработку карьеров. Между деревней и замком ткутся нити обид, ненависти (скоро мы увидим тому пример), но иногда также нити выгоды, благосклонности, даже симпатии,

выходящей за кастовые рамки, когда, например, хозяйка поверяет свои горести горничным, а то и нити более пылкой приверженности, порожденной самой плотью, когда хозяин переспит с хорошенькой девушкой. В церкви молятся сообща, хотя, само собой, Луи-Жозеф и его жена сидят на отдельной скамье, украшенной их гербами.

Сообща идут, каждый в том ряду процессии, где ему приличествует и надлежит, по усыпанным душистыми венками дорогам в день праздника Тела Господня. Летом внизу, как и наверху, изобилуют зелень и фрукты, потом наступает время сбора винограда и потребления местного вина, которому хозяин предпочитает бургундское. Осенью из хлева, как в замке, так и в деревне, слышится одинаковый визг — это режут свиней и на всех кухнях от очага поднимается аппетитный запах окорока. Дичь — плод охотничьих подвигов, питающих застольную беседу, подается у хозяина на серебряных блюдах; ею же, правда, не с серебряной посуды, набивают желудки в домах на берегу — там ее добывают браконьерством, и она также служит поводом для хвастовства и забавных историй. Мы в стране Святого Губерта14, но убийца, который обратился к Богу, потому что увидел, как к нему приближается олень, весь в слезах и с распятием между рогами, стал в результате метаморфозы, иронии которой никто не замечает, покровителем охотников и их свор — сходным образом распятие в зале суда переместилось на сторону судей. Хороший тон требует, чтобы еду хозяевам готовил повар-француз, искусный мастер разных соусов, но поварята и кухарки — местного происхождения, и лакомые куски, приготовленные наверху, частенько перепадают тем, кто живет внизу. За столом в замке кюре сетует, что ему пришлось распустить духовное братство Богоматери со свечой, чьи доходы, целиком уходившие на насыщение утробы, порождали уже только распутство и скандалы, и хозяин с хозяйкой дружно подпевают ему, сокрушаясь о деревенской прожорливости.

Князь-епископ наверняка не однажды снимался с места, чтобы нанести визит своему личному советнику — эта любезность тем более не стоит ему труда, что его собственная летняя резиденция Серен, где ныне находятся фабрики Кокрил, совсем рядом; не пройдет и столетия, как здесь родится первый на континенте локомотив. Ни монсеньор, ни птицы и деревья его парка, где вскоре день и ночь будут пылать доменные печи, не подозревают об этом, как и о том, что здесь, оставляя в речной грязи свои отпечатки и кости, бродили доисторические животные — на наш сегодняшний взгляд не намного более ископаемые, чем этот локомотив 1835 года. Впрочем, в годы, когда Спа, Монако

этого государства эпохи рококо, привлекает светскую публику своими водными лечебницами и, в особенности, игорными залами, с которых Монсеньор снимает дань, в этих краях вообще бывает немало почтенных гостей. Можно предположить, что тот или иной знатный путешественник, ехавший из Парижа или державший путь в Париж через Намюр, останавливался во Флемале, чтобы дать отдых лошадям, и хозяин, отправлявший в те годы должность бургомистра и личного советника князя-епископа, предлагал гостю угощение и оказывал ему любезный прием.

Самые известные из этих гостей путешествуют более или менее инкогнито. В 1718 году это Петр Великий, прогрессивный государь, сохраняющий царственную осанку даже в темном костюме без воротника и манжет и в непудренном парике; но лицо его по временам перекашивает тик — в такие минуты взгляд его становится странным и страшным; ему бургомистр, вероятно, показал городские мастерские, не упустив ни малейших подробностей. Петр использует путешествия, чтобы содействовать развитию промышленности своей страны. Плотник-автократ, который пошлет на смерть собственного сына, сочтя его чрезмерным ретроградом, больше смахивает на людей серпа и молота, нежели на своих робких наследников, которые погибнут в одном из подвалов Екатеринбурга. В 1778 году это граф Фалькенштейн, то есть Иосиф II15, либеральный монарх, еще один посетитель фабрик и приютов, тоже вероятно доставивший немало хлопот местным хозяевам, хотя его самого больше заботят шалости его сестры Марии-Антуанетты и бездеятельность толстяка-зятя. А чуть раньше это граф Хага, который «molto compra e poco paga» [«который много покупает и мало платит» (итал.).], как сокрушаются его итальянские поставщики, иначе говоря, Густав III17, большой ценитель искусства и наслаждений, который, куда бы он ни держал путь, движется к тому маскараду в Стокгольмской опере, где ему суждено, рухнув на руки своего фаворита фон Эссена, погибнуть от пули Анкарстрёма, ранившей его в живот под маскарадным домино. Среди путешественников, хотя бы приостановившихся во Флемале, чтобы полюбоваться красотой здешнего вида, мне хотелось бы назвать по-своему царственного шевалье де Сенгаля, то есть Джакомо Казанову, который неоднократно проезжал через Льеж сначала лихим галопом, поскольку подцепил венерическую болезнь и спешил поскорее попасть в Германию к хорошему врачу, а впоследствии торопясь еще больше, чтобы укрыть свою любовницу, семнадцатилетнюю уроженку Льежа, от родственников, пустившихся за ней в погоню.

Но оставим в покое этих путешественников, всего лишь вероятных. Утверждают, что в XVIII веке замок был дважды занят иностранными войсками, не уточняя, было ли это во время войны за Испанское наследство, за наследство Польское, Австрийское или во время Семилетней войны и кто были захватчики — австрийцы, пруссаки, ганноверцы на службе у Его Британского величества или французы. Но то была эпоха войны в кружевах: господа, расположившиеся в замке, несомненно, вели себя прилично. Вполне возможно, что кто-то из ганноверцев аккомпанировал на клавесине хозяйке, разбиравшей клавир Рамп, а галантные серые мушкетеры кружили в танце дочерей хозяина в аллеях, проложенных по приказу какого-нибудь Луи-Жозефа или Жана-Дени, которые мечтали о том, как однажды деревья станут вековыми. Что до жителей низины, в эту эпоху Фанфана Тюльпана они приникли к тому, что их грабят, а девушек в той или иной мере насилуют.

О другом Луи-Жозефе, а может, Жане-Батисте, сыне или внуке того, который перестроил Флемаль (тексты, которыми я располагаю, противоречат друг другу — чтобы их примирить, потребовалось бы заняться исследованиями, которые не стоит предпринимать ради этих уточнений), предание сообщает нам три факта: овдовев, он принял сан и стал каноником-бенефициатом, то есть получал доход от церкви Св. Иоанна; крестьяне его ненавидели и узнав, что он умирает, шумно праздновали несколько дней подряд. Любовь к книгам против ожидания мало что говорит об этом человеке. Конечно, не так трудно попытаться воссоздать библиотеку Жана-Батиста (если именно таково было его имя) во Флемале или в городском обиталище, которое наверняка находилось поблизости от его церкви. Все латинские, а может, и некоторые греческие авторы, хотя последние скорее всего в переводах г-жи Дасье18, все теологи и отцы церкви, которых положено иметь канонику; Лейбниц19 и Мальбранш20, если Жан-Батист отличался глубоким умом, но, конечно, ни в коем случае не Спиноза, который был бы сочтен слишком большим нечестивцем; все великие писатели эпохи Людовика XIV, а рядом с ними труды по геральдике и кое-какие описания путешествий. Из современных авторов, вероятно, Фонтенель21 и «Оды» Жана-Батиста Руссо22, благопристойные произведения Вольтера, такие, как «Храм вкуса» или «История Карла XII», и, без сомнения, его трагедии. Если канонику нравилась фривольная литература, а Катулл и Марциал его не удовлетворяли, то непременно — Пирон и «Орлеанская девственница» в хорошем переплете, на корешке которого вытеснено какое-нибудь серьезное название, но едва ли «Кандид»,

решительно переходящий всякие границы. Само собой, все эти хорошие книги, в том числе эротические, часто формировали умы, свободные от предрассудков своего времени, приучавшиеся мыслить самостоятельно и, в случае надобности, вопреки собственным интересам. Кое-кто из этих наделенных вкусом людей искал утешения в своих несчастьях у Сенеки, а «тонкостям человеческих чувств» учился у Расина — лучше не придумаешь. Но чаще всего чтение этих книг было просто признаком хорошего воспитания, которое давало возможность процитировать за столом Горация или Мольера, подавить чье-то здравое суждение мнением непререкаемого авторитета и тоном знатока рассуждать о генеалогии и местной истории.

Впрочем, ненависть крестьян к Жану-Батисту также мало что доказывает. Быть может, он был хозяином прижимистым и грубым, чья дворянская спесь подкреплялась спокойной наглостью священнослужителя, а может, наоборот, был человеком честным, но сдержанным и лишенным той любезности, которая привлекает сердца к обходительным негодяям. Как бы там ни было, мне жаль умирающего, который через открытое окно слышал, как люди смеются и поют в ожидании его близкой кончины. По-видимому, этот Жан-Батист не ладил не только со своими крестьянами, но и со своими родными, потому что Флемаль он завещал двум своим экономкам. Слово «экономка», упомянутое в связи с каноником XVIII века, вызывает в воображении приятную особу в косынке, скромно приоткрывающей ее грудь, и в туго обтянутых чулках, которая по утрам подает хозяину шоколад, но обе мадемуазель Полларт были, вероятно, возраста более чем канонического и неколебимы в своей добродетели. Так или иначе их имена только на краткий миг возникают в списках владельцев Флемаля: кровные наследники тем или иным способом вновь вступили во владение замком. Хочется думать, что девицы Полларт получили взамен то, на что могли купить увитый жимолостью беленький домик или найти себе мужей среди своих прежних вздыхателей. Впрочем, об этом ничего неизвестно.

Но вскоре семейное владение перешло к другим хозяевам. У Франсуа-Дени, состоявшего в 1753 году бургомистром Льежа, не было детей от жены Жанны-Жозефы, дочери председателя Высшего Совета Гелдры. Умирая, он то ли из филантропических побуждений, то ли из неприязни к младшей ветви семьи, завещал замок «Обществу Благотворения детям Провидения и Михаила Архангела». Настала Революция — имущество «Детей Провидения и Михаила Архангела» растворилось в имуществе гражданских приютов, а те имение перепродали. Оно принадлежало

поочередно двум семьям, а потом мощная Угольная компания, отныне ставшая хозяйкой округи, скупила то немногое, что от него сохранилось. Говорят, в 1945 году беженцы из восточных районов целую зиму провели в заброшенном замке, спали на паркетном полу, дрожали от холода возле украшенных гербами, но погасших каминов или, в крайнем случае, обогревались охапкой валежника, подобранного среди того, что осталось от сада.

Когда в 1956 году я приехала в Бельгию, я вспомнила о сохранившейся у меня гравюре и захотела увидеть Флемаль. Такси, привезшее меня из Льежа, катило по одной из бесконечных улиц рабочего предместья, серой и черной, без единой травинки, без единого деревца, по одной из тех улиц, которые мы только по привычке и равнодушию считаем пригодными для обитания (не нашего — других) и подобные которой я, конечно, встречала в десятках других стран — сопутствующая труду обстановка, с которой мирится XX век. Прекрасный вид на Маас был перекрыт. Тяжелая промышленность проложила между рекой и рабочим поселком свою адскую топографию. Ноябрьское небо служило ей грязной крышкой. Расспросив местных жителей, шофер остановился у открытых ворот того, что когда-то было садом. Посредине громоздилась куча камней и щебня, указывавшая на то, что здесь недавно снесли дом. От него уцелел только один удивительный фрагмент. Опираясь на кусок пола, который в свою очередь повис на шаткой опорной стене, ввысь, к исчезнувшему второму этажу, устремлялась изящная лестница. Некоторых ступенек не хватало, но перила с их литьем XVIII века сохранились полностью. За несколько дней до моего приезда замок перешел в руки разрушителя; то, что можно было продать или унести, исчезло; перила очевидно оставались на месте в ожидании, что их увезет приобретший их антиквар. Я оказалась здесь в день закрытия, и ждала меня декорация Пиранезе — не имеющая конца лестница, легко взлетающая к небу. Каноник, если ему был свойствен склад ума, присущий его сословию, несомненно усмотрел бы в этом символ.

Большая часть имений умирает некрасиво. Замок, лишенный своих клумб и парка, был похож на тех чистокровных рысаков, которых успевают превратить в кляч, прежде чем послать на живодерню. Говорили, что на месте сада будет разбит сквер, но все скверы, за создание которых голосует современный муниципалитет, имеют свойство превращаться в место парковки. Я сожалела не о гибели дома и насаждений вокруг него, но о гибели земли, убитой промышленностью, ведущей с ней войну на измор, о смерти воды и воздуха, загрязненных во Флемале так же,

как в Питтсбурге, Сиднее или Токио. Я думала о жителях старинной деревни, которым в свое время угрожали внезапные разливы реки, еще не взятой в тиски запруд. По невежеству они тоже портили землю и истощали ее, но отсутствие усовершенствованной техники не давало им зайти слишком далеко. Они сбрасывали в реку содержимое своих ночных горшков, кости животных, которых сами же закалывали, и мусор от дубильного производства, но они не сливали в нее тонны вредных и даже смертоносных отходов; они не знали меры в истреблении диких зверей и в вырубке деревьев, но это хищничество было пустяком в сравнении с тем, что творим мы, создавшие мир, где животные и деревья больше не могут жить. Конечно, в те времена люди страдали от бед, которые, по мнению наивных прогрессистов XIX столетия, отныне исчезли навсегда: в годы недорода они голодали, зато в изобильные годы нажирались так, как нам трудно и вообразить; но они не питались лишенными их природных свойств продуктами, внутри которых бродят коварные яды. Процент детей, которых они теряли в младенческом возрасте, был трагичен, но между естественной средой и количеством народонаселения поддерживалось своего рода равновесие; люди не прозябали в тесноте, порождающей тотальные войны, обесценивающей отдельную личность и разлагающей род человеческий. Они регулярно подвергались страшным нашествиям, но они не жили под постоянной атомной угрозой. Подвластные силе вещей, они еще не подчинялись циклу оголтелого производства и дурацкого потребления. Всего пятьдесят, а может, и тридцать лет назад этот переход от хрупкого существования полевых животных к существованию насекомых, снующих в своих термитниках, представлялся всем безусловным прогрессом. Сегодня мы начинаем думать по-другому.

В 1971 году мне пришло в голову посмотреть выставленное в Льежском музее свидетельство Флемальского ветерана, а заодно вновь посетить эти места. На сей раз дело было майским днем, уже предвосхищавшим летнюю жару. В пятнадцати минутах езды от промышленной зоны шофер посоветовал мне поднять стекла машины, чтобы избежать неприятных последствий от вонючих желтых облаков, которые застилают небо и, как известно, угнетающе действуют на непривычных людей. Дорожные работы помешали нам добраться до Флемаля, но мне сообщили, что в нем разрабатывают проект разгрузки района от промышленности. Экология была тут ни при чем — происходило одно из тех слияний, которые в наше время играют ту же роль, что в Средние века концентрация земель в руках феодалов. Изрыгающие пламя

драконы с другого берега пожирали более слабых на этом берегу. Угольные шахты Вьей-Монтань неподалеку от Флемаля были закрыты, и покинутые корпуса напоминали разрушающийся замок злого волшебника в конце одного из актов «Парсифаля». Издалека общий вид этого места, разоренного жадностью и недальновидностью четырех или пяти поколений дельцов XIX и XX веков, оставался таким же, как во времена старой гравюры из «Красот Льежа» и даже наверняка как в эпоху ветерана-тонгра — полоска хрупкого человеческого бытия между рекой и высокими холмами, но на всем лежали почти неизгладимые следы истребительной индустриализации.

Решение до конца использовать некоторые горючие вещества в течение двух последних веков толкало людей на необратимый путь, поставив им на службу источники энергии, которыми тотчас стали злоупотреблять человеческая жадность и необузданность. Уголь, происшедший от лесов, которые погибли за миллионы веков до того, как человек начал мыслить, нефть, порожденная разложением битуминозных минералов или медленно творимая микрофлорой и микрофауной, которые насчитывают многие миллионы лет, преобразили нашу неторопливую историю в оголтелую скачку апокалиптических всадников. Из двух этих опасных катализаторов победу первым одержал уголь. По воле случая родина моего отца, область Лилля, и два места, связанные с памятью моей материнской родни, — Флемаль-Гранд и Маршьенн, были изуродованы им очень рано. Флемаль, когда-то одна из «красот Льежа», дал мне увидеть в тот день образчик ошибки, которую совершили мы, ученики чародея.

В начале того же XVIII века мой далекий предок, двоюродный брат владельца Флемаля, некий Жан-Луи де К. заключил брачный союз, который дал ему во владение землю в Эно. Он женился на наследнице Гийома Билькена или де Билькена (на надгробном камне частица «де» отсутствует), старейшины кузнечного цеха, бальи23 лесов района между Самброй и Маасом и владельца Маршьенн-о-Пон, Мон-сюр-Маршьенн, а также Биуля. На портрете, который, возможно, ему польстил и где он изображен в пышном парике и в складчатом атласе Великого столетия, этот богач очень хорош собой. Семейное предание утверждает, что его предки также занимались благородным кузнечным ремеслом, а один из них выковал латы и шпагу Карлу V24. Вполне возможно. Карл Гентский большей частью пользовался услугами поставщиков из Аугсбурга, но, наверно, время от времени обращался к нидерландским оружейникам. Жена этого Билькена, Мари-Аньес, грузноватая в своем парчовом платье, происходила из семьи, имевшей прочные корни в Эно и в Артуа еще в эпоху

раннего Средневековья. Имя Байенкуров, сеньоров Ланды, еще со времен Лотаря25 фигурирует в некоторых картуляриях26 и грамотах об основании церквей. Предок, живший во времена более поздние, прибавил к этому имени прозвище Курколь27, полученное, по рассказам, на поле битвы в Креси28 — маленькой кровавой и грязной луже, которая смутно видится нам в дали Семилетней войны. Название этого места, где французы потерпели поражение, когда их конница по ошибке разгромила собственную пехоту, у французского обывателя вызывает сегодня в памяти только одноименную похлебку. Однако эти забытые битвы вновь обретают жизнь и краски, стоит увидеть в аббатстве Тьюксбери в Глостершире гробницу сэра Хью Ле Деспенсера, участника битвы при Креси, и коленопреклоненную фигуру его сына Эдварда, участника битвы при Пуатье, вот уже шестьсот лет складывающего руки в молитве. С нарисованными на камне живыми черными глазами и с усами в рамке кольчужного шлема этот Эдвард, образ которого, по справедливому замечанию Сашеверела Ситуелла29, вызывает у нас «шок от вдруг ожившего прошлого», отличается свирепой веселостью дикой кошки, характерной для физиономий многих феодалов. Именно в окружении этих хищников следует представлять себе Бодуэна де Байенкура по прозвищу Курколь, который видится мне мужчиной скорее плотным и голубоглазым.

Наследница Билькенов и Байенкур-Курколей принесла в приданое не только обширные земли, но еще и почти новехонький замок, построенный, а может быть, перестроенный в Маршьенне в XVII веке. Это жилье Жан-Луи, льежский бургомистр и советник, в силу семейной традиции навещал только изредка. Но его потомки обосновались в нем и, в конце концов, присоединили название замка к своему имени. Жану-Франсуа-Арну, который сменил Жана-Луи и был женат на дочери главного судьи из Бенша, до конца жизни всего важнее было знать, пригласят его или нет в Белей к принцу де Линю30, самому изысканному человеку во всех бельгийских провинциях, и будет ли он зван правителем Нидерландов, Его Высочеством Шарлем Лотарингским, в его резиденцию Маримон принять участие в истреблении птиц. В последнем случае Жану-Франсуа-Арну будет дозволено выразить свое почтение старой любовнице доброго Шарля, г-же де Мёз, по прозвищу Толстушка, которая украшала своим присутствием Маримон и получала на содержание сорок тысяч ливров в ту пору, когда каменщик зарабатывал в год две сотни. Славный принц, проявлявший жестокость только в отношении перепелок и певчих дроздов, страдал от нарывов на ягодице и на ноге, о чем свидетельствует его дневник. От нарыва

на ноге он и скончался, оплаканный всеми, в 1870 году. Этот конец эпохи рококо в австрийских Нидерландах оставляет тот же вязкий привкус, что и натюрморты современных ей малых фламандцев с их фруктами, запеченными паштетами и трупами животных на вермелевых блюдах и турецких коврах.

В 1792 году хозяином Маршьенна был сорокалетний Пьер-Луи-Александр, женатый на Анн-Мари де Филиппар, которая была моложе его лет на десять и к тому времени уже родила ему пятерых детей. Армия Дюмурье, возбужденная победой при Вальми, перешла границу. Занимавший стратегическое положение замок был незамедлительно захвачен. Именно отсюда комиссар Северной армии Сен-Жюст посылал большинство своих донесений и писем Робеспьеру. Санкюлоты, патриотическое сознание которых подкрепляла суровость молодого комиссара, шли по этим равнинам и вдоль этих рек, лишь повторяя те самые пути, по которым перемещались здесь то в одну, то в другую сторону в течение многих веков армии французских королей и их противников, но республиканская идеология вносила в нынешнее вторжение нечто новое. Старый мир рушился; Его Преосвященство епископ Льежский осмотрительно перебрался из городского дворца в крепость Юи на Маасе; те, кого чувства или выгода привязывали к старому режиму, бледнели от парижских новостей; Пьер Луи и Анн-Мари два года прожили беспокойной жизнью хозяев, чей дом оккупирован врагами. За одной из панелей часовни был тайник, где прятался не присягнувший на верность Конституции священник, которому надо было незаметно передавать еду, опорожняя в то же время его ночную посуду, и к которому под покровом темноты приходили помолиться. Гражданин Декартье, должно быть, иногда решался обратить внимание французских офицеров и их грозного комиссара на грабежи, чинимые войсками; Анн-Мари, наверно, из кожи лезла вон, предотвращая неосторожные выходки детей, по мере сил защищая горничных от предприимчивых французов и, может быть, украдкой с помощью одной из служанок выхаживая какого-нибудь немецкого солдата, раненого в Жемепе или во Флерюсе и спрятанного на гумне.

Как многие французы и француженки моего поколения, в юности я поклонялась Сен-Жюсту. Немало часов провела я в музее Карнавале, рассматривая портрет этого карающего ангела кисти неизвестного художника, который придал модели несколько томное очарование, свойственное моделям Грёза. Красота этого лица, обрамленного волнистыми кудрями, женственная шея, словно бы из целомудрия окутанная тонким полотном пышного галстука, несомненно играла некоторую роль

в моем восхищении суровым другом Робеспьера. С тех пор я переменилась: восторг уступил место трагической жалости к человеку, который, судя по всему, разрушился прежде чем состоялся. В 18 лет Сен-Жюст совершает классические проделки молодого провинциала, вырвавшегося на волю, в Париж, потом по требованию встревоженной матери попадает под крылышко францисканской конгрегации Пети Пикпюс, пишет там «Органта» — самое бесцветное эротическое произведение своего времени, неуклюжий сколок со всех запретных книг, тайком прочитанных в коллеже. В двадцать два года он с замиранием сердца следит из своего захолустного Блеранкура за первыми шагами Революции; в двадцать четыре он в интеллектуальном смысле слова становится инфернальным супругом Неподкупного, тем, кто советует, подталкивает, призывает и поддерживает, молния рядом с облаком дыма — Максимильяном Аррасским. Сухие благовидные аргументы Сен-Жюста помогают скатиться голове Людовика XVI; он отправляет в корзину головы жирондистов, сторонников Дантона и Эбера; он убирает Камила Демулена, парижского сорванца, бывшего когда-то его другом и во многих отношениях его антипода. Ему, комиссару Рейнской и Северной армий, поручено устранять подозрительных и недостаточно рьяных, и он разит хладнокровно и беспощадно, точно попадая в цель, так же, как он говорит. В двадцать шесть лет, элегантный, несмотря на тридцатишестичасовую агонию, безупречный в своем хорошо скроенном фраке и светлосерых брюках (только зловещий предвестник — исчезли длинные ниспадающие кудри и серьги да открыта красивая шея, с которой сорван неизменный белый галстук), он стоически ждет очереди к эшафоту между своим коллегой, паралитиком Кутоном, и своим божеством Робеспьером, у которого раздроблена челюсть.

Эти демонические фигуры заслуживают нашего внимания, но демонизм не всегда равнозначен гению и высшей человечности. Ни одна черта этого на редкость одаренного молодого человека не говорит о его способности хоть в чем-то выйти за пределы сектантства не только своего века, но даже своего десятилетия. Его речи, облеченные в броские парадоксы, в которых проступает жесткий каркас формул, вместе с его красотой творят из него идеальный образ молодого политического гения для литераторов. Но проповедует он то, чего мы до тошноты насмотрелись во всех так называемых авторитарных государствах, свирепствовавших, а потом рухнувших, а именно: ловко нагнетать подозрительность, благоприятствующую состоянию войны, которая в свою очередь необходима для введения чрезвычайных мер (вот почему Сен-Жюст цинично советовал Робеспьеру «не слишком хвалиться

победами»); использовать концентрационные методы, чтобы унизить и погубить врагов режима; упразднить даже те ничтожные гарантии, которые общество дает себе против своей же несправедливости, и сопровождать свои действия уверениями, всегда принимаемыми на веру глупцами, будто эти чудовищные меры полезны. Когда во время процесса Марии-Антуанетты автор «Органта» за ужином у «Братьев провансальцев» между прочим замечает, что в конечном счете грязные обвинения против королевы послужат «улучшению общественных нравов», из его молодого рта несет той притворной добродетелью, которая и есть гнилостное дыхание Революции. На идеальное человечество, которому, по словам одного из его друзей, он готов «принести в жертву семь тысяч голов, в том числе и свою», он смотрит, конечно, сквозь призму республиканских героев Плутарха, увиденных с весьма далекого расстояния и воспринятых весьма обобщенно, но также сквозь призму античных драм Мари-Жозефа Шенье и римских романов г-на де Флориана31. Всякий человек, умерший ранней, смертью, как маской скрыт от глаз истории своей молодостью. Никому не дано узнать, мог ли Сен-Жюст из подростка, отравленного идеологией насилия и риторикой Конвента, превратиться в государственного мужа; ведь и в маленьком корсиканском капитане, который 13 вандемьера стрелял в толпу со ступенек церкви Св. Роха, не так легко угадать будущего консула и автора Кодекса, участника Тильзита и изгнанника Св. Елены. Но Бонапарт в этом возрасте, несмотря на некоторые неизбежные компромиссы, политически еще почти девственен; перед ним будущность во всем ее размахе. Сен-Жюст, наоборот, умирает уже испепеленным.

Это вовсе не означает, что за ним нельзя признать никакого величия. С точки зрения мифа, более глубокой, чем точка зрения истории, величие Сен-Жюста состоит в том, что в нем воплотилась карающая Немезида, которая в конце концов истребляет и тот человеческий образ, который приняла, чтобы вершить казни. Высшая добродетель Сен-Жюста, мужество — не самая редкая и не самая высокая человеческая добродетель, но без нее все прочие раскисают или рассыпаются прахом. Смелость игрока особенно ярко проявилась в нем той душной летней ночью, когда в Комитете общественного спасения он без устали правил на глазах у своих коллег обвинительную речь против них, похваляясь этим, и никто не решился заколоть его кинжалом или размозжить ему голову стулом. Бесстрашие, с которым он, комиссар, подставлял себя под австрийские пули, пригодилось ему во время паники сторонников Робеспьера, загнанных в Ратушу; мелодраматическая гравюра, на которой Сен-Жюст

поддерживает раненого Робеспьера, возможно, соответствует действительности. В конце концов, взаимная мужская привязанность всегда выглядит особенно благородно, даже если речь идет о союзе двух дополняющих друг друга фанатизмов; нельзя не восхищаться, глядя, как этот блестящий юноша, высокомерный до дерзости, соглашается занять и сохраняет, и при том, похоже, добровольно, второе место рядом с педантичным, нерешительным и упрямым Максимильяном, окруженным, однако, почтением, которое всегда внушают неколебимые убеждения.

«Вас, как Бога, я знаю только по чудесам», — написал Сен-Жюст Максимильяну в начале их дружбы. Во время краткого, но бесконечного промежутка, который отделяет их арест от смерти, Сен-Жюст молчал — несомненно, ему больше нечего было сказать. Судил ли он с высоты своего молчания маленькую группу окружавших его людей, характерную в своей пестроте для всякой диктатуры? Гнусный Симон, бывший сапожник и бывший тюремщик; честный Леба, коллега Сен-Жюста по Рейнской армии, уже мертвый, нашедший спасение в самоубийстве; пьяница Анрио, отчасти повинный в конечном поражении — то ли от вина, то ли от ран он погружен в полусознательное состояние; Кутон, калека, еще сильнее покалеченный солдатами, которые грубо выволокли его из шкафа, где он прятался; Огюстен Робеспьер, тоже умирающий, который вырвал у Сен-Жюста пальму первенства в преданности Максимильяну, добровольно согласившись, чтобы его взяли под стражу вместе с братом; и еще пятнадцать других, безвестных соратников, которые погибнут вслед за лицами на первых ролях. «Вас, как Бога, я знаю только по чудесам...». Усомнился ли Сен-Жюст в Максимильяне, впервые поняв, что его идол повержен? Или остался до конца апостолом Иоанном этого туманного Мессии и страдал, видя, как тот лежит скрючившись на столе того самого Комитета общественного спасения, откуда они правили Францией, и неловко собирая листки бумаги, засовывает их в рот, чтобы извлечь сгустки крови и выбитые зубы? Сожалел ли он о мире, радостей которого не познал, и где честолюбие и личные цели, может быть, однажды восстановили бы его против сухого и неподкупного друга? Когда-то Сен-Жюст написал, что смерть — единственное прибежище подлинного республиканца; выспренность этих слов не должна заслонить от нас глубину чувства, которое их продиктовало. Сен-Жюст предпочитал кровавые решения судьбы, не делая для себя исключения, и это пристрастие роднит его не столько с Робеспьером, сколько с Садом. Мы представляем его себе среди несчастной кучки сторонников, утвердившегося и

замуровавшегося в том презрении к людям, которое просвечивает в нем сквозь революционную декламацию; он холодно оберегает свое мужество и отвергает одну за другой всякую мысль, всякое чувство, которые могли бы помешать ему держаться до конца.

В возрасте, когда все мы романтики, я, право же, была не прочь вообразить нежное чувство, которое могло возникнуть между красавцем Сен-Жюстом и моей прабабкой Анн-Мари. Но крупица хорошего вкуса меня удержала. Не потому, что я на веру принимаю сегодня легенду о целомудрии Сен-Жюста, столь дорогую левым идеалистам всех времен: тому, кто был когда-то любителем наслаждений, не так-то легко от них отказаться; в своей бурной жизни молодой проконсул мог по временам искать возможности расслабиться, отдаваясь плотским утехам, как отдавался верховой езде. Но даже если у Анн-Мари были достаточно красивые для провинциалки глаза, едва ли эта жена одного из «бывших» в австрийских Нидерландах внушила бы Сен-Жюсту сладострастное волнение, которое развратникам той эпохи обычно внушали молодые матери, окруженные детьми. С другой стороны, и моей прабабке наверняка казалось, что этот щеголь опоясанный трехцветным шарфом, забрызган кровью, как и впрямь случилось, когда его в повозке везли на казнь, а гнусные шутники, явившиеся к мяснику с улицы Сент-Оноре, наполнили ведро кровью и окропили ею Робеспьера. Если у Анн-Мари и возникло когда-нибудь желание обмануть своего Пьера-Луи, это скорее произошло бы с белым мундиром. Но в Маршьене Сен-Жюст мне ближе, чем мои отдаленные пращуры. Мне нравится воображать, как со всем неистовством своей безграничной молодой энергии он скачет на лошади, реквизированной у гражданина Декартье. Так он скакал по Булонскому лесу утром 9 термидора, чтобы прийти в себя после бессонной ночи, а в кармане у него лежали сложенные листки речи, в которой он ставил на карту все, не думая, или, наоборот, думая, что, быть может, назавтра, разрубленный надвое, будет лежать на кладбище Эранси.

Едва пришли к концу смутные времена, Анн-Мари снова принялась рожать одного ребенка за другим. Перерыв в этой череде родов, пожалуй, наводит на мысль, что Пьер-Луи отослал жену из занятого врагами замка и некоторые штрихи жизни моей прабабки при санкюлотах, которые я пыталась вообразить — чистой воды вымысел. Как бы там ни было, к пяти детям, которые у Анн-Мари уже были, прибавились еще четверо; один из них — Жозеф-Гислен, родившийся в 1799 году, был моим прадедом. Его старший сын, мой дед, навсегда уехал из Маршьенна около 1855 года, но дети от второго брака остались там, и к концу Второй

мировой войны их потомки еще обитали в этом замке.

Ребенком я всего один раз была в Маршьенне, и запомнились мне только цветники и крикливые павлины. Вновь я приехала туда в 1929 году во время длительной поездки в Бельгию, где я не была 20 лет и где возобновила связь с моими родственниками по матери, которых знала только по рассказам. Моя двоюродная бабка Луиза приняла меня с той немного застенчивой доброжелательностью, какая часто отличала хорошо воспитанных англичанок ее поколения. Родившаяся в Лондоне Луиза Браун О'Мира по крови была частично или даже полностью ирландкой; любившие ее говорили, что она из хорошей семьи; недоброжелатели утверждали — впрочем, это второе утверждение отнюдь не обязательно противоречит первому, — что мой двоюродный дед Эмиль-Поль-Гислен познакомился с Луизой и женился на ней в Брайтоне, где она была всего лишь молоденькой гувернанткой. Даты, указанные в документе (разве что в силу необходимости они были указаны весьма неточно) опровергают прочие измышления, еще более злонамеренные, которые касаются рождения их первого ребенка. «Человек чести, он женился на той, кого любил», — говорит, заходя почти так же далеко, наивный биограф семьи. Первые годы этого романтического супружества прошли в имении Эмиля-Поля в Голландии, откуда, на время разлученный с родными, он посылал своему двоюродному брату Октаву Пирме, который был в некоторой степени женоненавистником, письма, прославлявшие его супружеское счастье.

Его сын Эмиль стал карьерным дипломатом. Консерватор в силу темперамента и потому даже не имевший нужды подкреплять свой консерватизм политическими принципами, он был представителем старой гвардии зиждителей Протокола, которого весьма ценили в гостиных Вашингтона, где он два раза весьма удачно женился, но не имел детей ни от одной из жен. Можно подумать, что я описываю еще одного Норпуа32, но у этого валлонца с примесью ирландской крови был вкус к жизни, который не ощущается за хорошими манерами прустовского дипломата. Эмиль любил миловидных девушек, вкусную еду и хорошую живопись. Два последних пристрастия превратили его лондонское жилье в приятное убежище для членов бельгийского правительства в изгнании между 1940 и 1945 годами. Человек довольно резкий, он не пользовался любовью родственников, по крайней мере некоторых, и отличался причудами, свойственными тем, кто делает только то, что им нравится. Будучи послом в Китае сразу после восстания Боксеров, когда правительство Цзу Хси33 согласилось выплатить возмещение за разрушенные здания

дипломатических миссий, он добился, чтобы его посольство было построено по образцу Маршьенна; из Бельгии нумерованными посылками были доставлены не только планы, но кирпичи и черепица. Удивительное здание сохранилось по сей день и, кажется, сдано Бельгией посольству Бирмы до тех пор, пока оно не перейдет во владение Китайского государства. Внутри эта диковинка была вполне современной. Однажды Эмилю де К. де М. удалось добиться, чтобы две молоденькие принцессы императорской крови, до той поры никогда не покидавшие пределов Запретного города, приняли приглашение отужинать в его доме; за кофе возникла минутная тревога — высоким особам понадобилось незаметно отлучиться, но больше они не вернулись. Их стали искать: они без устали спускали воду в одном усовершенствованном заведении, каждый раз вызывая маленькие шумные водопады, которым вторили взрывы их звонкого смеха. Описанный вечер стал одним из светских триумфов дяди Эмиля.

Этот удачливый человек умер в 1950 году дуайеном дипломатического корпуса в Лондоне, где ему устроили пышные похороны, воздав почести одновременно исчезающему человеческому типу и растерзанной двумя войнами стране, которую он так долго представлял. От одного из его коллег я знаю, что в месяцы, предшествовавшие его смерти, Эмиля мучили горькие сожаления; ему казалось, что всю свою жизнь он был всего лишь официальной куклой, увешанной орденами марионеткой, которую дергал за ниточки Протокол и которая двигалась на фоне декораций, обреченных вскоре исчезнуть. Сами эти сожаления доказывают, что на самом деле он был чем-то большим.

Его младший брат Арнольд, который желал одного — спустя рукава управлять своим имением в Маршьенне и другим, в Нидерландах, был любезным светским человеком. Он разъехался с женой, женщиной своего круга, наделенной, а может быть, ушибленной даром ясновидения. Жан, их сын, на несколько лет меня моложе, очаровал меня своим пристрастием к диким животным. Он приручил лисицу, которую водил на поводке в ошейнике из синего бархата; животное с умными глазами, с густой шерстью цвета осеннего клена, послушно следовало за ним, сохраняя однако ту ползучую наискосок походку, какая бывает у щенков, когда их учат ходить на поводке.

Бедекер 1907 года уверяет путешественника, что прекрасная коллекция живописи в Маршьенне заслуживает, чтобы ее посмотрели. В 1929 году ее уже не было в замке — полагаю, она украшала в то время посольство Эмиля. На стенах гостиной в

стиле Второй Империи были развешаны большие портреты в духе весьма романтизированного реализма на манер Курбе: мужчины с тросточкой, бродящие по лесным аллеям, амазонки, грациозно опирающиеся о бок своей лошади. В углу один из Байенкур-Курколей XVIII века, бывший епископом Брюгге, воскрешал дореволюционные времена. Тетя Луиза положила мне на колени картонную коробку с миниатюрами. Мое внимание привлек портрет молодой женщины в белом муслиновом платье с короткой талией — у нее была бледная кожа португалки или бразильянки и черные вьющиеся волосы под прозрачным белым чепцом. На обороте выцветшими буквами было выведено имя модели — Мария Лиссабонская. Хозяйка дома ничего не знала об этой женщине, кроме того, что она не принадлежит к числу моих прямых предков, а, кажется, к потомкам от второго брака. Я упоминаю ее здесь только потому, что мне иногда хотелось использовать ее имя и облик в каком-нибудь романе или поэме.

Тетя Луиза сервировала на террасе чай с изысканностью, напоминавшей Англию. Вокруг по-прежнему были павлины и розарии, виденные мной в детстве. Не стану возвращаться здесь к теме, уже оркестрованной мной в связи с Флемалем: загазованный воздух, загрязненная вода, земля, изуродованная тем, что наши предки искренно считали прогрессом — оправдание, которого у нас уже нет. Но участь Флемаль-Гранд грозила и Маршьенну. По ту сторону пруда, позади уже сократившегося пространства парка, фабричные трубы изрыгали свою дань индустриальному владычеству, доходы от закладки которого пополняли кошельки Эмиля и Арнольда. Прежде чем разлить чай, тетя Луиза краешком вышитой салфетки незаметно отерла севрскую чашечку, на которую осело несколько черных молекул.

В 1956 году я включила Маршьенн в список мест, которые хотела вновь увидеть в Бельгии. Мне показалось, что парк, превращенный в городской, стал меньше — но надо делать скидку на то, что воспоминания многое преувеличивают. Парк поддерживали в хорошем состоянии, хотя и с долей холодноватой официальности. Замку была уготована одна из самых счастливых судеб, какие могут выпасть на долю покинутых жилищ: с некоторых пор в нем разместилась муниципальная библиотека. Комнаты первого этажа содержались в том убогом виде, который присущ местам, взятым на попечение муниципалитетом; но, пожалуй, картотеки и полки с пронумерованными книгами уродовали их меньше, чем в свое время роскошная мебель Второй Империи. Я не увидела ни китайского будуара, раззолоченного и лакированного, ни часовни — здесь когда-то, отодвинув снятые с

надгробий и расставленные вдоль стен плиты, Жан показал мне тайник, где скрывался священник. Эти гравированные или скульптурные памятники были теперь водворены в приходскую церковь. Они присоединились там к памятникам более позднего времени, которые еще сохранились на своих местах: я увидела надгробие Гийома Билькена и его вдовы, урожденной Байенкур-Курколь, выполненное с суховатой элегантностью XVIII века — его украшали маленькие колонны и белые урны на черном фоне. Одна или две затесавшиеся сюда плиты были отмечены величавым и строгим стилем начала XV века; другие — поздней орнаментальной готикой, а может, имитирующим готику Ренессансом. Маленькие собачки, лежащие у дамских ног, придавали прелесть этим своеобразным обломкам. Надпись на надгробии некой Иды де К. навела меня на мысль, что оно попало сюда из старинной часовни во Флемале, но мои геральдические познания были слишком скудны, чтобы разобраться в выщербленных знаках и щитах.

Пожилая женщина, которая пришла вернуть книгу в библиотеку, узнала меня, а может, услышала мое имя. Это была старая горничная тети Луизы. Она сообщила мне последние — в полном смысле слова — новости о семье: хозяйка умерла до войны, и я остереглась упомянуть кое-какие подробности, которые недоброжелатели, явно продолжавшие травить ирландку, сообщили мне о ее закате. Если верить им, тетя Луиза воспылала пристрастием к напитку своей родной страны — виски. Находясь под присмотром Арнольда и Жана, когда они бывали дома, а в остальное время под присмотром старых служанок, Которые пресекали недозволенные покупки, она обратилась к более скромным стимуляторам: мятной водке и ванильной настойке, бесчисленные бутылки из-под которых будто бы были найдены в ее комнате. Моя собеседница несомненно отвергла бы с негодованием эти сплетни. Но даже если это правда, только тупой ригорист станет возмущаться тем, что старая женщина, чувствуя приближающийся конец, пытается, как умеет, подкрепить свои силы, пусть даже не самым лучшим с медицинской точки зрения способом. Холодная, как лезвие кинжала, мятная водка, черная ванильная эссенция и даже терпкое виски, из всех трех самое, на мой вкус, противное, становятся тогда талисманом против смерти, бесполезным, как все талисманы.

Сидя рядом со мной на скамейке в парке, моя собеседница продолжала свой рассказ, впрочем, очень короткий. Г-н Жан оставил дипломатический пост, который занимал в 1940 году, и записался в Royal Air Force34 — этот окольный путь часто

выбирали патриоты, когда их родина раздиралась между нейтралитетом и участием в войне. Вступив позднее в одну из групп Сопротивления, он в 1944 году был убит шальной пулей. В живых осталась его дочь. Позднее я узнала, что примерно в ту пору, когда состоялась эта беседа, она вышла замуж и вскоре погибла в автомобильной катастрофе. Эта ветвь и с нею имя угасли бы со смертью Жана, если бы дядя Эмиль перед смертью не узаконил передачу своего имени отдаленным родственникам. Оно встречается и теперь.

Незадолго до своей смерти Арнольд, уже изрядно одряхлевший, вновь сошелся с матерью Жана. За время их разлуки она стала профессиональной прорицательницей. Овдовев, она вновь вернулась к этой профессии, и мне говорили, что она распространяла карточки, где внизу слева указывались часы, когда она дает консультации. Последнюю деталь мне сообщил на приеме в одном из бельгийских городов модный молодой литератор, который прыскал со смеху, излагая эту развязку. Я же, задаваясь вопросом, не приходила ли в те годы плакать у стен Маршьенна ирландская Бенши35, жалела эту наделенную даром провидения мать, которая, быть может, разделила участь всех пророчиц — знать грядущее, не будучи в силах его предотвратить.

В 1824 году мой прадед, двадцатипятилетний Жозеф-Гислен получил от Вильгельма I Голландского, которому Венский конгресс вверил Бельгию, чтобы надежнее защитить ее от постоянных притязаний французов, подтверждение своих дворянских грамот. К этой мере, ставшей необходимой в эпоху непрерывной смены государственной власти, прибегали многие бельгийцы. Шесть лет спустя, когда революция 1830 года развела Бельгию с Голландией, Жозеф-Гислен предстает перед нами полковником городской милиции и бургомистром Маршьенна, где он и умер в возрасте восьмидесяти лет, успев жениться дважды — нас здесь интересует лишь его первый брак. В начале того же бурного 1830 года он сочетался браком в замке Бовери, что в Сюарле, неподалеку от Намюра, с наследницей замка, двадцатилетней Флорой Дрион. От этого союза, который очень скоро оборвала смерть, родился мой дед Артур.

Только совсем недавно мне удалось собрать кое-какие сведения об истории Дрионов, хорошей семьи из местного патриархата, полуаристократической, полубуржуазной. «В нашем роду нет людей, подвизавшихся на военной стезе», — сказал мне нынешний представитель семьи, подвизающийся на стезе литературной. И однако в роду насчитывается четверо или пятеро лейтенантов и прапорщиков, служивших Испании. Есть также

один францисканец-реколет, которого Клемент XI послал миссионером в Китай, где он, как и подобало человеку в его рясе, принял сторону францисканцев в Споре об обрядах36 и, говорят, был убит по наущению иезуитов. В 1692 году, когда Людовик XIV с пышной свитой отправился в Намюр, осада которого бесцветно воспета Буало, тогдашний представитель семейства Дрион удостоился чести предоставить королю кров на одну ночь в своем имении Жилли. Эпоха оголтелого национализма еще не настала: для этого лояльного подданного короля Карла II37 было совершенно естественным почтительно принять у себя монарха вражеской страны. Французский король, вероятно, не желавший давать аудиенцию провинциальным гостям, потребовал, чтобы при его вечерней трапезе присутствовали только члены хозяйской семьи. Спустившись в гостиную, он увидел большую толпу. «Государь, здесь только мои дети и внуки», — пояснил патриарх-хозяин. Другой патриарх, его внук Адриен, удостоился более неприятного отличия — он оказался одним из шестерых жителей Шарлеруа, каждому из которых захватившие в 1793 году город якобинцы вменили в обязанность заплатить, и притом в течение двух часов, десять тысяч ливров контрибуции — обязанность почти такая же тяжкая, как лечь под нож гильотины.

Несколько позже, согласно семейному преданию, один из членов семьи дал накануне битвы при Ватерлоо обед в честь маршала Нея; маленькая девочка, сидевшая в тот вечер в конце большого стола, уверяла, что на всю жизнь запомнила, как потные гонцы на взмыленных лошадях то и дело доставляли маршалу нетерпеливые депеши Наполеона. Нынешний Дрион с добросовестностью историка замечает, что в ту пору Наполеон не сомневался в победе, и у него не было причин посылать Нею противоречивые приказы; но я всегда склонна доверять детским воспоминаниям и потому охотно допускаю, что император, даже уверенный в завтрашнем дне, тем не менее передал Нею с нарочным, как он это часто делал, несколько повелительных указаний. Еще менее возможным представляется сегодняшнему Дриону-эрудиту, будто винные пары его предка могли слегка одурманить Нея в день битвы. Но все равно эти рассказы по-своему ценны — они дают нам почувствовать, в какой мере каждая семья в этой стране, непрестанно бывшей ареной сражений, из века в век чувствовала себя причастной к превратностям войны.

Почти все эти старые семьи при заключении браков явно или тайно придерживались определенной политики. Более честолюбивые старались по возможности брать жен выше их самих по социальному положению, облегчая таким образом

следующему поколению путь вверх по общественной лестнице; другие, как, например, семейство Картье, похоже, выбирали супругов в узком кругу, в котором непрестанно пересекались одни и те же фамилии. Сыновья Дрионов, видимо, часто останавливали свой выбор на невестах из буржуазной или даже почти деревенской среды, однако несомненно с хорошим приданым, и, наверно, наделенных горячей кровью и известной долей простонародного здоровья: во всяком случае долголетие членов этой ветви контрастирует с довольно короткой жизнью носителей фамилии Картье. У меня такое чувство, что через всех этих Мари или Мари-Катрин, дочерей Пьера Жоржи и Маргерит Дельпор или Никола Тибо и Изабель Мэтр-Пьер, через всех этих Барб Ле Верже и Жанн Мазюр, я прикасаюсь к мощным деревенским корням провинции Эно.

Эта среда была отнюдь не чужда любви к литературе и науке, и, по рассказам, отличалась известной независимостью ума. «Все плохое в потомках Пирме идет от Дрионов», — заявил в недалеком прошлом член первой из этих семей, обращаясь к представителю второй во время охоты, происходившей, по-видимому, в обстановке, далекой от сердечности. Если он имел в виду опасную любовь к литературе и искусству, то он несколько преувеличивал. Моя двоюродная прабабка Ирене Дрион, мать романтичного Октава Пирме и его брата Фернана, по прозвищу Ремо, который отдал дань радикализму и пал его жертвой в лоне приверженной традициям семьи, всю свою жизнь славилась жесткими принципами; с другой стороны, среди предков Октава и Ремо по отцу мы найдем здравых людей, открытых идеям Просвещения, и даже несколько беспокойных душ, тяготевших к индийским сутрам38 и к Сведенборгу.

В 1829 году некий Фердинанд Дрион, владелец стекольных, гвоздильных заводов и угольных копей, вдовевший уже лет пятнадцать, умер, не дожив до шестидесяти в своем поместье Сюарле. Незадолго до кончины этот добрый отец сам разделил свои бриллианты между четырьмя дочерьми в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет. Сестра покойного, некая г-жа Робо, трижды выходившая замуж за французов, последний из которых, двадцатипятилетний молодой человек, взял ее в жены, когда ей было уже за шестьдесят, стала опекуншей девушек. Эта женщина, несомненно не лишенная привлекательности, отдала своих племянниц на воспитание в отель Марникс в Брюсселе, где помещался пансион Французских дам, изгнанных революцией из Парижа. Благочестивые наставницы, почти все принадлежавшие к миру «бывших» (многие из них притом потеряли родных на эшафоте), привили девушкам собственные хорошие манеры

дореволюционных времен. Четыре мадемуазель Дрион считались выгодной партией — за каждой в приданое давали угольную шахту. В эту осень и в начале зимы в Сюарле, где под присмотром г-жи Робо жили молодые девушки, вероятно, велось много разговоров о нарядах. В самом деле, надо было позаботиться не только о трауре, поскольку в октябре умер отец, но и о подвенечных платьях или о туалетах для подружек невесты. В феврале в Сюарле Флора вышла замуж за Жозефа-Гислена де К. де М. В июне она несомненно танцевала на свадьбе своей сестры Амели, сочетавшейся браком с Виктором Пирме, сыном крупного местного землевладельца и бывшим лейб-гвардейцем короля Вильгельма39. В апреле следующего года замуж в свою очередь вышла Ирене; она стала женой Бенжамена Пирме, брата Виктора, и таким образом приготовилась войти в историю бельгийской литературы, не столько благодаря подписанным позднее ее именем эссе, сколько благодаря двум своим сыновьям. В этот раз Флора на свадьбе не танцевала. Четырьмя днями ранее в Маршьенне она произвела на свет сына Артура, моего будущего деда. И три дня спустя умерла. Ирене, находившейся в свадебном путешествии в Париже, той ночью приснился кошмар, возвестивший ей кончину сестры.

Следующей осенью в ноябре младшая из сестер, Зоэ, только-только снявшая траур по сестре, вышла замуж за молодого Луи Труа, мирового судью, сына Шарля-Станислава, бывшего депутата Генеральных Штатов Нидерландов. Луи Труа предстояла блестящая административная карьера: с 1849 по 1870 год он был губернатором Эно. Одна из дочерей этой четы, Матильда, двадцать лет спустя вышла за своего двоюродного брата Артура — таким образом две из сестер Дрион стали моими прабабками.

Весной или в начале лета 1856 года Артур де К. де М., проведя, по-видимому, несколько месяцев в Монсе у своего тестя, губернатора Труа, окончательно водворился в Сюарле со своей женой Матильдой и их первенцем — маленькой Изабель. Матильда снова была в положении: в ноябре она родила в Сюарле мальчика, нареченного Фердинандом, который умер в младенчестве. Если судить по тем обычаям, которые еще сохранились в пору моего детства, г-н Артур и г-жа Матильда, приехав в усадьбу, прошли под аркой, которую украшали гирлянды, перевитые лентой с надписью «Добро пожаловать!» — так, по крайней мере, встречали во французской Фландрии в начале десятых годов даже тех, кто вернулся после трехмесячного отсутствия. От этих времен сохранился парадный портрет Артура, большого франта, во фраке с галстуком тонкого полотна; портрет этот, как и парный к нему, на котором изображена тоненькая

Матильда в сильно декольтированном платье с кринолином, ничего о них не говорит. Другой, довольно хороший портрет Матильды, написанный несколькими годами позже, являет нам не столь расфранченную и довольно привлекательную молодую женщину, белолицую и румяную с пышными рыжеватыми локонами — я узнала в них свитые в браслеты волосы, от которых когда-то избавилась. Выражение у Матильды веселое и почти шаловливое. В тот первый вечер молодые супруги, наверно, рано отправились в хозяйскую спальню, где, несмотря на теплое время года, очевидно, развели огонь, чтобы разогнать ледяной холод, присущий домам, в которых долгое время никто не жил: Артур унаследовал Сюарле от своей матери Флоры, и дом, вероятно, оставался необитаемым со времени Флориной свадьбы, и уж во всяком случае с тех пор, как она умерла. Слуги наверняка долго возились, открывая шляпные картонки и дорожные сумки или выгружая содержимое корзинок с провизией в той атмосфере пикника, которая свойственна всякому новоселью; маленькая Изабель спала крепким сном. Г-ну Артуру предстояло прожить в Сюарле тридцать четыре года. Матильда умерла семнадцать лет спустя, через четырнадцать месяцев после рождения своего десятого ребенка.

Сюарле, или, вернее, замок Бовери, где прошла жизнь моих деда и бабки, не существует уже три четверти века. По выцветшей фотографии я представляю себе его главный корпус с башенками по бокам и службами, образующими угол справа. Судя по некоторым сохранившимся по сей день предметам, Артур и Матильда щедро оснастили дом современной обстановкой, палисандровыми ширмами и мебелью черного дерева, перегруженной резьбой. Но всякое старое жилище дарит нам сюрпризы: когда лет пятнадцать тому назад я поднялась по цементным ступеням виллы в стиле морских купален, построенной на месте старого дворянского гнезда, встретившая меня дочь хозяина, любезная особа, жаловавшаяся на плохой вкус, который воцарился в конце XIX века, нашла в альбоме фотографию верхнего этажа старого дома, снятую, когда дом сносили. Брусья чердака напоминали двускатную крышу собора. Под этими переплетенными, словно ветви, брусьями, останками дубовых рощ, в которых в Средние века прогуливались стада свиней, дождливыми днями наверняка прятались от своих нянек дети Артура и Матильды, а до них маленькие Дрионы в обшитых кружевом панталончиках; они пугали друг друга, воображая, будто заблудились в лесу, где их голоса перекликаются, словно крики птиц. Я вернула альбом мадемуазель де Д., вместе с ней сожалея о том, что прекрасный старый дом был снесен.

Попробуем представить себе этот дом в период между 1856 и 1873 годами не только для того, чтобы довести до конца всегда оправданный опыт, суть которого в том, чтобы вновь, так сказать, заселить какую-то частицу прошлого, но прежде всего для того, чтобы разглядеть в этом господине в рединготе и даме в кринолине, в которых мы видим всего лишь образчик человечества своей эпохи, то, что отличает их от нас, или то, что вопреки поверхностному впечатлению с нами схоже, разглядеть тот запутанный клубок причин, следствия которых мы все еще ощущаем. Прежде всего Артур и Матильда — добрые католики в том смысле, как это понимали в эпоху долгого папства Пия IX40 в стране, где все еще процветало иезуитское благочестие в духе рококо, отличавшееся в одно и то же время догматическим ригоризмом и почти светской обходительностью контрреформации. Газету выписывают католическую; Адвент и пост, Рождество и Пасха, День всех Святых и День поминовения определяют годичный ритм и ритм семейных празднеств. Утром ранняя литургия, дневная служба после полудня и вечерня на склоне дня в деревенской церкви, а также переодевание к каждой из этих церемоний отнимают у обитателей замка большую часть времени по воскресеньям, если только они не велят закладывать лошадей, чтобы ехать в Намюр, узнав, что там состоится какая-нибудь красивая служба с музыкой. Этот католицизм еще не стал тем, чем он стал позднее для имущих классов — паролем, а подчас и наступательным оружием; тем не менее католиками себя чувствуют так же, как чувствуют себя консерваторами, — два эти термина неразделимы. Соблюдение церковных обрядов смешивается с уважением к существующим институтам и зачастую уживается с равнодушием к вере или с затаенным и смутным скептицизмом. Умирать полагается благочестивой смертью, причастившись Святых даров; в семьях так хорошо это понимают, что упоминание об этом присутствует во всех оповещениях о смерти, даже если покойный умер внезапно и священника позвать не успели, или — впрочем, подобные скандальные происшествия редки — если он отказался от последнего покаяния. Женщины, как мы увидим далее, с большим постоянством ищут отрады в сладости молитвы.

Однако религиозное образование и теологические познания остаются на самом низком уровне, впрочем, духовенство не поощряет последние, как не поощряет и мистические порывы. Г-н Артур и г-жа Матильда, вероятнее всего, ни разу в жизни не встречали ни протестанта, ни еврея, но издалека с подозрением относятся к этим представителям рода человеческого. То же касается и вольнодумцев, в которых видят не только нечестивцев,

но прежде всего неотесанных грубиянов. Это обыкновенные бахвалы, которые раскаются, когда придет их смертный час, потому что допустить, будто человек вообще не верит, невозможно. Евангелие читают мало, зная из него только те отрывки, которые произносятся — зачастую довольно невнятно — у алтаря, зато в изобилии потребляют бесцветные благочестивые опусы, которые составляют почти единственную духовную пищу Матильды. О Милосердном Господе говорят часто, о Боге редко. Милосердный Господь сконструирован из воспоминаний детской и отголосков первобытной семьи, в которой старейшина распоряжается жизнью и смертью своих сыновей, и грозен, когда он в гневе; он заботится о хороших и карает дурных, хотя опыт доказывает совершенно обратное; с другой стороны, его воля служит объяснением и мелких домашних неприятностей, и катастроф. Он сотворил мир таким, какой он есть, что, кстати, почти совсем лишает этих христиан от буржуазии какого бы то ни было предрасположения к социальному прогрессу или реформам. Нечто среднее между фольклорным и мифическим образом, немного страшный, немного простодушный, в глазах детей Милосердный Господь почти не отличается от Санта Клауса, который тоже носит широкополый плащ, тиару и бороду, и шестого декабря, если дети хорошо себя ведут, приносит им конфеты.

Христа представляют себе почти исключительно в двух образах: это либо очаровательный малыш в яслях, или распятый на серебряном или слоновой кости кресте Иисус, в котором почти нет следов физических страданий, потрясающих на средневековых распятиях. Это чистенький мученик, никаких кровоподтеков или предсмертных конвульсий, про него знают, что он умер во спасение мира, но только особенно благочестивые души, склонные к медитации и бдительно опекаемые своими духовными наставниками, пытаются понять, что же означает трагическая жертва Христа. Детям постоянно напоминают о том, что существует Ангел Хранитель, он бережет их сон, его огорчают их шалости, и он плачет, если маленькие мальчики вдруг вздумают «трогать друг друга»; но с этой большой расплывчатой формой из света и белизны происходит то же, что с молочными зубами, слюнявками и школьными передниками — став взрослым, никто больше не вспоминает о безмолвном присутствии рядом с собой того, кто чище тебя самого. Принято считать, что умершие дети г-жи Матильды стали маленькими ангелочками, но ее сочли бы сумасшедшей, если бы она слишком уж всерьез верила, что они могут явиться утешить мать и остаются ее заступниками на небесах. Из всех небожителей самый

любимый и постоянно поминаемый образ — Святая Дева; в эти годы много толкуют о непорочном зачатии, но для девяносто девяти процентов верующих эта догма свидетельствует только о физической девственности Марии, и лишь немногие просвещенные служители церкви стараются объяснить, что речь идет о другом, о невосприимчивости к злу, которое заложено в самом факте существования, или которому это существование открывает пути. Прозаический здравый смысл, тупое буквоедство в понимании Священного Писания, как прежде непробиваемый скептицизм или ирония, постепенно опошляют эти великие понятия. Родители охотно посвящают Богу дочерей (всех выдать замуж все равно не удастся), но если священником становится сын, это почти всегда рассматривают, как тяжелую жертву. Только простолюдины видят для себя в сане священника и духовное преимущество, но также и своего рода продвижение по социальной лестнице; в семинариях, с учетом всех условий, учится больше сыновей арендаторов, чем крупных землевладельцев. В деревенской иерархии местный кюре занимает двусмысленное положение: чуть выше доктора, но иногда и ниже; по воскресеньям его всегда приглашают к обеду, однако относятся к человеку, из рук которого принимают Святые Дары, снисходительно: в конце концов, его отец — всего лишь папаша такой-то.

Но настоящие боги — это те, которым служат инстинктивно, вынужденно, днем и ночью, не имея возможности преступить их законы, хотя возводить им храмы и верить в них нужды нет. Эти подлинные боги: властитель несгораемых шкафов Плутон; владыка кадастров бог Термин, который печется о межевых границах; неумолимый Приап, тайный бог новобрачных, законно восстающий для исполнения своих обязанностей; добрая Луцина, царящая в спальнях рожениц, и, наконец, та, кого стараются отодвинуть как можно дальше, но которая всегда присутствует при семейном трауре и при передаче наследства, — замыкающая шествие богиня похорон Либитина. Если мы вспомним, что в многодетных семействах в череду родов обычно вклиниваются несколько выкидышей, если, с другой стороны, учесть, что в эту эпоху дамы после родов проводят шесть недель в полулежачем положении (только крестьянки возвращаются к работе через несколько дней, что говорит о грубости женщин из простонародья), выходит, что г-жа Матильда более десяти из восемнадцати лет своей замужней жизни отдала служению богам деторождения. Десять лет подсчитывать дни, вычисляя, «попалась» ты или нет, терпеть недомогания беременности, которые ее русская современница, героиня романа «Анна

Каренина» Долли считала более мучительными, нежели сами родовые муки, готовить будущему младенцу приданое, используя то, что осталось от тех, кто появился на свет раньше, умерших или живых, и незаметно для окружающих складывать в один из ящиков комода части своего собственного смертного наряда, к которому пришпилены робкие последние пожелания на случай, если Богу угодно будет в этот раз призвать ее к себе; потом, по окончании очередного испытания, снова ждать, «придут или не придут», и бояться или желать, а может, и то и другое вместе, возобновления супружеской близости, которая опять вернет ее к началу цикла. Сила, творящая миры, овладела этой дамой с воланами и зонтиком, чтобы отпустить ее только тогда, когда полностью ее опустошит.

Спальня XIX века — это пещера Таинств. Ночью восковые свечи и масляные лампы освещают ее своим мерцающим, колеблемым пламенем, не проникая в темные углы, точно так, как свет нашего разума не озаряет то, что неизвестно, и то, что необъяснимо. Стекла, затянутые тюлем и задрапированные бархатом, очень скупо пропускают дневной свет и совсем не пропускают ночных ветров и запахов: английский обычай открывать окна на ночь считается вредным и, возможно, в самом деле вреден для слабых бронхов в этих сырых краях; Артур и Матильда спят, укрывшись в своей спальне с высоким потолком, как их предки спали в своих низеньких хижинах. Живая или бывшая живой материя заполняет эту спальню: настоящая шерсть, настоящий шелк, волос, благодаря которому упруго пружинят сиденья кресел, предназначенные для человеческих ягодиц. Тазы и ведра здесь полны «жижей», как кратко обозначают это служанки; выпот, отслоения кожи и животный жир мыла плавают на ее поверхности или осаждаются в ней. Укромные ночные столики красного дерева прячут до утра мочу, яркую или бледную, прозрачную или мутную; на них стоят флаконы с померанцевой водой. Частицы человеческого естества — детские зубы, оправленные в кольца, пряди волос в медальонах проводят ночи в маленьких шкатулках для мелочей. Этажерки заставлены безделушками, подарками или «сувенирами», овеществляя отрезки прошлой жизни: засушенные цветы, купленные в Швейцарии пресс-папье, встряхнув которые можно устроить снегопад, раковины, подобранные летним днем на берегу в Остенде, в которых, говорят, продолжает шуметь море. Чистая вода в кувшине и поленья, приготовленные для вечерней топки, олицетворяют здесь присутствие стихий; святая вода и буксовая веточка-кропильница привносят элемент сакральности; все знают, что этот пузатый, покрытый белой салфеткой комод будет

служить алтарем в час последнего причастия. Хорошо заправленная постель впитала в себя кровь девственниц и рожениц и пот умирающих: свадебные путешествия вошли в моду совсем недавно, а обычай рожать и умирать в клиниках еще впереди. Неудивительно, что перенасыщенная атмосфера этой комнаты благоприятствует призракам. Здесь занимаются любовью, здесь мечтают, уносясь в другие миры, куда нет доступа даже супругу; здесь молятся под пристальным взглядом дагерротипов, на которых изображены отсутствующие или дорогие усопшие; в дни ссор звуки сварливых реплик гаснут в плотных драпировках. Конечно, Артур и Матильда не разбирают на составные части свою комнату, как мы не анализируем нашу — заполненный уличными шумами, воплями радио и изделиями из металла, синтетических тканей и фанеры, спальный гараж, с которым на поприще любви конкурируют пляжи, общественные парки или автомобильные сиденья. Но упомянутые супруги смутно чувствуют значительность этого уединенного уголка, куда детей не пускают, где посетителей принимают только в случае болезни или в торжественные минуты, и которую неудобно и почти непристойно показывать, когда постель не застелена.

Г-жа Матильда не похожа на женщину, которая не любит любовь. Но вот любит ли она — что вовсе не одно и то же — своего Артура? Быть может, она никогда не задавала себе этого вопроса. Как она принимала его — пылко, с невинной чувственностью, покорно, а порой устало или с отвращением, или просто с равнодушием долгой привычки? Вполне вероятно, что за те ночи, что она провела с ним в течение восемнадцати лет, она попеременно испытала все эти чувства. Во всяком случае, если иногда в ней брали верх враждебность или страх, поделать Матильда ничего не могла. Священник, к которому она обратилась бы с полупризнанием, прочел бы ей проповедь, ссылаясь на законы природы, на Божию волю, или на то и на другое вместе. Матильду уверили бы, что эта форма умерщвления плоти ничуть не хуже любой другой. Ее любящая мать Зоэ, вероятно, тревожилась из-за слишком частых беременностей своей дорогой малютки, но решать такие вопросы — дело самих супругов, к тому же Милосердный Господь благословляет многодетные семьи. Что до сексуальной несовместимости, то ни закон, ни церковь, ни родители и знать об этом не хотят: вздумай Матильда пожаловаться матери, что ей не нравится, как Артур ведет себя в постели, Зоэ сочла бы ее бесстыжей и немного смешной, все равно, как если бы она жаловалась на то, что муж храпит.

Но Матильда, без сомнения, любит мужа и, конечно, как

почти все женщины, она любит детей; ее собственные дети, в особенности первые, доставили ей те радости, которые для представительниц ее пола иногда слаще самого сладострастия: блаженство умывать их, причесывать, целовать маленькие тельца удовлетворяет ее потребность в нежности и ее представления о красоте. Возможно, она получает удовольствие от томной праздности беременности и с благодарностью принимает заботы матери, приехавшей помочь ей при родах. По воскресеньям она наслаждается тем, что ее любимые дети почти благонравно сидят рядом с ней на скамье, украшенной семейным гербом слева от хоров. Если только она не совсем уж дура, что, конечно, не исключено, она должна беспокоиться о будущем: стольким надо дать образование, стольких выдать замуж, стольким исхлопотать хорошую должность в администрации, похожую на ту, что у папа, или по части дипломатии, столько приданого дать за дочерьми и получить за невестками, приданого, какое она сама принесла своему Артуру. Но до этого еще далеко: старшая, Изабель, пока еще девочка с длинными локонами. Милосердный Господь поможет. К тому же самой Матильде тридцать семь: может, ребенок, которого она носит, станет последним; в лучшем или в худшем случае она родит еще одного или двоих. И она засыпает с молитвой на устах.

Предположить, каковы были размышления на сей счет г-на Артура, если он вообще размышлял на сей счет, труднее. Считал ли он, что его долг христианина и человека благородного происхождения подать пример создания многодетной семьи? Был ли он образцовым супругом, за все восемнадцать лет брака не переставшим желать Матильду, в которой для него соединились все женщины? Или, если его связь с «особой из Намюра» или с какой-нибудь другой женщиной началась еще до смерти Матильды, не старался ли он найти жене занятие, на долгие годы ввергнув ее в круговерть материнства? Этому человеку, для которого нет ничего священнее семейного и социального status quo, наверняка никто никогда не говорил, что, поступая так, он расшатывает его равновесие. Proles41: начатки выученной Артуром латыни не заставляли его задуматься над первоначальным смыслом слова «пролетарий». Ни Артур, ни Матильда не предвидят, что не пройдет и ста лет, и это серийное, чтобы не сказать массовое воспроизводство человеческих особей превратит нашу планету в термитник, и это несмотря на бойни, подобные которым можно найти только в Священной Истории. Некоторые умы, более проницательные, чем г-н Артур, предсказали однако этот результат, хотя и не представляли себе, насколько он будет ужасен, но имя Мальтуса в ушах Артура

звучит как ругательство; впрочем, он не вполне представляет себе, кто это такой. Да и разве в пользу Артура не говорят добропорядочные нравы и семейные традиции? У его деда, гражданина Декартье, во времена Революции было девять детей. Что до Матильды, то ей в отличие от толстовской Долли, которую она мне определенно напоминает, не пришлось повстречать на своем пути какую-нибудь Анну Каренину, которая объяснила бы ей, как оградить себя от новых родов. Если бы такая встреча произошла, Матильда наверняка, как и Долли, в смятении отшатнулась бы от подобных советов, думая про себя, что это «дурно». И что-то в нас отзывается ее чувствам. Однако еще более дурно перенаселять мир. А поскольку вера запрещает все жалкие ухищрения, к которым человек научился прибегать, чтобы сократить свое потомство, остается единственный выход — целомудрие, чего Артур, а может, даже и сама Матильда не хотят.

Прожитая жизнь — это сухой листок, потрескавшийся, лишенный сока и хлорофилла, рваный и весь в дырочках, и если посмотреть на него на свет, в лучшем случае можно увидеть скелетообразную сетку его ломких и тонких прожилок. Нужны известные усилия, чтобы вернуть ему вид свежего листка, зеленого и сочного, чтобы возвратить событиям и происшествиям ту полноту, которую ощущают те, кто их проживает, и которая избавляет от необходимости что-то придумывать. Жизнь Артура и Матильды полна до краев. Артуру нужно торговаться с фермерами насчет условий арендного договора (фермеры такие требовательные!), соглашаться на просьбы о ремонте или отказывать в них, а если в договоре предусмотрено, что попечение об этом лежит на хозяине, поставлять новые сельскохозяйственные машины или чинить старые (арендаторы так небрежно с ними обращаются!). Усовершенствования в саду, покупка и содержание лошадей, сбруи и карет — все это требует хозяйского догляда, не говоря уже о содержании самого замка и о том, чтобы правильно выбрать вина для пополнения погреба — Артуру было бы стыдно предложить своим гостям бургундское хуже того, которое стареет в бочках его соседа. Хозяин поместья славится роскошью своего охотничьего выезда — он не считал бы себя человеком благородного происхождения, если бы осенью на его земле не совершались гекатомбы; выращивание молодняка, выбор сторожей охотничьих угодий, надзор за тем, чтобы они не стакнулись с браконьерами, составляют предмет его постоянных попечений. Он следит также за курсом ценных бумаг и каждые полгода педантично отрывает очередной купон; поддержка на местных выборах самого благомыслящего кандидата — тоже не последняя из его забот.

Обязанности г-жи Матильды, не считая физиологической работы, которая протекает у нее внутри, еще более разнообразны. Она редко спускается в темную кухню, ступеньки которой опасны для женщины, которая так часто беременеет, но она «сочиняет» меню и проверяет «счета» кухарки; она составляет букеты; от нее зависит, каких слуг нанять и каких рассчитать — впрочем, слуг стараются выпроваживать как можно реже; она вечно озабочена тем, что у детей болят зубы и животы, и как по возможности утаить от отца их страшные маленькие преступления. По счастью эта пчелиная матка нашла себе замечательную помощницу. Молодая фрейлейн, которую наняли гувернанткой для девочек, проявила недюжинные способности домоправительницы; к тому же она замечательно искусно делает из масла тонкие раковины, которые на листьях выкладывают на блюдо, а во время званых обедов складывает салфетки в форме митры, что каждый раз вызывает добродушные шутки Его Священства, когда он разворачивает свою салфетку за трапезой после очередной конфирмации. Есть еще портниха, которая приезжает со своими картонками из Намюра. Сколько усилий надо потратить, чтобы подобрать нужный оттенок ткани! А потом начинаются взволнованные споры о том, не получилось ли платье слишком уж нарядным.

В Сюарле относительно редко принимают гостей. К достоинствам этого степенного круга можно отнести то, что здесь почти совсем не склонны к социальному и светскому карьеризму. Мысль о том, чтобы войти в узкий круг приближенных к принцу де С. или к герцогу де А., которых приглашают к себе или которым наносят визит по большим праздникам, показалась бы Артуру и Матильде столь же нелепой, как мысль пригласить к обеду садовника. Почти такое же равнодушие (скоро ему придет конец) пока еще царит в делах; Артур копит деньги, но не станет пускаться в рискованные спекуляции; свирепые страсти разгораются лишь тогда, когда речь идет о приобретении земли. По самое большое значение здесь придают семейным связям. Каждого дядю, двоюродного деда, свояка, сводного брата, зятя знают, его навещают и почитают ровно в такой мере, какую предписывает степень родства, и точно так же в положенных пределах, но не более и не менее, по нему будут в свое время скорбеть. Если у одного из членов семейного клана обнаружится какой-нибудь изъян, болезнь, которая могла бы зародить сомнения насчет здоровья его родственников и тем самым помешать намеченному браку, если он совершит промах или у него окажется какой-нибудь порок, общая реакция — обойти это молчанием или отрицать, если такое умолчание и отрицание

возможны; если все же разразится скандал, от упомянутого индивидуума отвернутся, он вдруг как бы перестанет существовать. Такой же линии поведения придерживаются в отношении «связи» или глупого брака, который, если он чересчур уж глуп, повергает в небытие того или ту, кто его заключил. Семейные визиты заменяют Матильде увеселительные прогулки, в которых она не может участвовать. Иногда она подолгу живет у своих добрых родителей; так было, во всяком случае, когда родилась первая Жанна, умершая в младенчестве, так что, по-видимому, ту зиму семья провела в Монсе. На большие облавы мужчины съезжаются в пышных каретах.

В гостиных и столовых, которые они посещают, все знакомо, все учтено: каждый предмет меблировки, каждый из портретов общих предков, каждый гость за столом и фирменное блюдо каждой кухарки. Неистощимой темой разговоров служат гастрит тети Амели, очередная беременность Матильды, неожиданный брак единокровного брата Артура с его ирландкой. Впрочем, все так хорошо воспитаны и так осторожны, что злословят мало даже в своем кругу: услышав какую-нибудь сплетню, высказывают сомнение в подлинности слуха и выражают при этом сдержанное сочувствие или оскорбленное удивление, только таким образом изредка выдавая затаенную неприязнь или обиду. Эти люди, которые считаются родством до шестого колена, в глазах друг друга разнятся лишь какими-нибудь невинными маниями и чисто внешними особенностями: дядя такой-то любит сладкое, у кузины такой-то красивый голос. Дальше этого дело не идет: чувственный темперамент, если он кому-то присущ, несогласие с принятыми в их кругу обычаями и мнениями, если кто-нибудь чувствует такое несогласие, скрываются так же тщательно, как в наши дни инакомыслие в тоталитарном государстве; независимость суждений не в моде. Согласие царит во всем: распри возникают, только когда речь заходит о дележе наследства или о правах на охоту.

Понятно, что от этой среды веет запахом застоя, хотя эти люди живут жизнью не худшей, чем другие, и даже в чем-то более осмысленной, чем наша. Эти правящие классы, которые уже вовсе не правят, все более перестают быть просвещенными классами или считать себя таковыми. Художник — для них понятие презрительное. В витражах или в церковных картинах Артур разбирается хуже, чем самый ничтожный еврей-антиквар или искусствовед-англиканец. «Полночь, христиане» — самая красивая часть ночного бдения. Из Мюссе помнят только что-то про «улыбку гнусную» Вольтера. Виктор Гюго — опасный революционер, злоупотребляющий бельгийским

гостеприимством: если его слегка побили камнями на площади Баррикад в Брюсселе, пусть пеняет на себя. Странно, что старый друг губернатора Труа, кипучий Жандебьен42, бывший когда-то членом временного правительства, приглашает к себе французских изгнанников, чьи источники существования и принципы не совсем ясны. После каждого визита в Акоз Артур с некоторым раздражением отмечает радикализм юного кузена Фернана и даже либерализм на розовой воде кузена Октава. Тетя Ирене напрасно потакает двум своим сыновьям, пригласив изгнанника-француза Банселя43 прочесть литературную лекцию — хорошо хоть она оговорила, что лекция будет посвящена Боссюэ.

Общественное сознание, еще живое в некоторых представителях этой среды в предыдущем поколении, очень быстро притупилось: в их глазах государство — враг семейного достояния. Милосердие — добродетель, которую посмертная хвала приписывает всем без исключения, что само по себе уже подозрительно. На самом деле счастливые времена христианского милосердия в этих кругах давно миновали — заботиться о заключенных (кстати, нечего с ними слишком миндальничать), о найденышах и сумасшедших отныне должны общественные институты, на которые возложили эту обязанность, не слишком интересуясь, как они ее выполняют. Красный Крест, который пытается создать идеалистическая Швейцария, — новшество, пока еще вызывающее подозрение хотя бы потому, что оно исходит от протестантов: понадобится война 1914 года, чтобы маленькая внучка г-жи Матильды, которой еще предстоит родиться, посвятила ему часть своей жизни. Оба супруга в строго отмеренных рамках участвуют в католических пожертвованиях, но если бы Матильда вышла за пределы суммы, которую ей выделяет на местное филантропическое общество ее Артур, ей не преминули бы напомнить, с чего начинается разумное милосердие, и ей пришлось бы с этим согласиться. В холодные зимы праведным беднякам раздают дрова и одеяла; неправедные не получают ничего. Всех потрясают катастрофы, случающиеся в шахтах, но Артур и не думает использовать влияние, какое ему дает его часть учредительного капитала, чтобы увеличить скудную пенсию семьям пострадавших и обеспечить хотя бы самую примитивную безопасность труда: это дело директоров компаний, которые прежде всего обязаны думать о том, как приумножить состояние своих акционеров. Некий весьма подозрительный тип, француз, поэмы которого были осуждены за оскорбление нравов, с ужасом описал скворцов с выколотыми глазами — как испускают трели эти слепцы, сидящие в клетках

почти во всех бельгийских лавках и на задних дворах. Если кухарка из Сюарле, что очень вероятно, держит у себя на подоконнике в кухне такого рода клетку, г-жа Матильда, при всем своем добром сердце, вряд ли против этого возражает — такова гнусная сила привычки.

Артур и Матильда принадлежат к числу привилегированных, но они этого не сознают: им и в голову не приходит поздравить себя с тем, что они богаты и волей Божией занимают то положение, какое занимают. Еще менее сознают супруги из Сюарле, что им повезло жить в эпоху и в стране, где в настоящий момент им ничто не угрожает. Их предкам пофартило меньше, а потомкам придется куда хуже. Но они дрожат при мысли о смутной угрозе революций, которые могут произойти у них, как во Франции, и про которые никогда не знаешь, удастся ли их вовремя пресечь. Дня не проходит без разговоров о духе смуты в деревнях. Ведь эта эпоха тоже получила свою квоту войн — ее как раз хватает, чтобы заполнить газетные страницы и снабдить драматическими сюжетами художников из еженедельника «Иллюстрасьон». Но война в Пьемонте кажется на расстоянии удалой военной прогулкой; бойня в Сольферино44 впечатляет больше красным цветом штанов, которые носят зуавы, чем красным цветом пролитой крови. Пушка Войны за независимость гремит на континенте, где ни один из знакомых Артура не бывал и побывать не намерен: это сводят счеты между собой американские протестанты. Экспедиция в Мексику исчерпывается романтической трагедией: судьба казненного эрцгерцога45 и его сошедшей с ума жены, дочери короля Бельгии Шарлотты, трогает всех обитателей Сюарле, начиная от хозяев и кончая подручной кухарки. Война в Шлезвиг-Голштинии46 — местный инцидент, он никого не интересует. Садова47 волнует несколько больше: ужасно, что католическая Австрия побеждена Пруссией, но Фрейлейн не скрывает, что рада возникновению немецкой Конфедерации.

Ее радость станет еще больше, когда в Зеркальной галерее Версаля провозгласят создание Германской Империи; Фрейлейн повесила в классной комнате гравюру, на которой изображен император с черно-бело-красным галстуком; ни у кого не хватило духа заставить ее снять портрет; в конце концов, хозяева Фрейлейн ведь не французы. Нейтралитет Бельгии, гарантированный могущественными державами, вызывает успокоительное ощущение, что находишься вне игры. Но на сей раз страшная реальность подступила очень близко; Артур трясется, слушая рассказы о помещиках, расстрелянных в качестве заложников; Матильда жалеет парижан, страдающих от

голода и холода. Затем на них наводит ужас Коммуна, но они утешают себя, что у беспокойных южных соседей часто происходят такого рода бесчинства. Прекрасными майскими вечерами 1871 года, когда Матильда зачинает своего последнего ребенка — дочь Фернанду, треск версальских расстрелов, справедливое восстановление порядка, почти не привлекают внимания обитателей Сюарле. В эту самую пору в иезуитском коллеже Лилля или Арраса семнадцатилетний юноша, который однажды женится на Фернанде, плача от негодования, сочиняет оду погибшим коммунарам, за что его едва не выгоняют из коллежа.

Я уже говорила, что в этой среде благочестие — удел в первую очередь женский. Каждый день, когда здоровье ей это позволяет, Матильда летом в половине шестого, а зимой в шесть часов утра, тихонько, чтобы не разбудить Артура, выскальзывает из кровати и собирается в деревенскую церковь к ранней литургии. Вставшая еще раньше служанка приготовила в туалетной комнате кувшин с горячей водой. Втыкая в прическу последние шпильки, Матильда лишь мимолетно бросает взгляд в зеркало, тусклое в полутьме рассвета. Хотя ее интерес к моде заметно убавился, она все-таки с сожалением думает, натягивая на себя платье: «Как жаль, что больше не носят кринолины — просторные платья так удобны в некоторых случаях...» Она берет с круглого столика молитвенник и бесшумно выходит из дома, вверенного попечениям слуг, которые стирают пыль и чистят ковры разведенным чаем.

Церковь отделяет от замка только луг: Матильда предпочитает проселочной дороге этот короткий путь. Зимой она осторожно переступает в галошах по свалявшейся бурой траве, старательно избегая ледяных корок и снега. Летом идти этим коротким путем — наслаждение, но Матильда не до конца признается себе, что помимо ранней службы ее притягивает и эта прогулка по деревенскому простору. Часто, хотя и не каждый день, прежде чем войти в церковь, она идет к ограде, в которой покоятся двое ее дорогих малюток. В церкви она из смирения садится не на скамью, принадлежащую хозяевам замка, а в нефе. Впрочем, народа в церкви мало. Матильда, как многие верующие в эту эпоху, не читает по своему молитвеннику перевод латинских молитв, которые, впрочем, она помнит наизусть, — за ходом службы следит, опускаясь на колени или поднимаясь, ее тело. Матильда молится истово, обращаясь, быть может, к одной из гипсовых статуй, украшающих убогую уродливую церквушку. Она молится, чтобы в воскресенье, когда в гости приедет тетя Ирене, была хорошая погода и можно было бы накрыть стол на

площадке под каштанами, и чтобы Артур похвалил ее за то, как она расставила цветы и фрукты; молится о том, чтобы быть здоровой, потому что она часто хворает, и о том, чтобы ей дано было доносить ее бремя, о том, чтобы ей хватило сил исполнять свои повседневные обязанности, а если сил не хватит, ее грех был бы ей прощен. Мольбы пустяковые и мольбы серьезные смешиваются так же, как в ее жизни смешиваются мелочные и серьезные чувства. Первые мольбы отпадают сами собой, это смиренные пожелания, которые быстро забываются. Вторые частично исполняются по мере того, как их возносят; помолившись, Матильда выходит из церкви с душой более спокойной, чем когда она туда вошла.

Она молится за своих близких, а это почти то же, что молиться за самое себя. Она молится о том, чтобы дочери нашли себе хороших мужей и были для них образцовыми женами; чтобы ее дорогой батюшка поскорей излечился на свежем воздухе Ла Пастюр; молится за Фрейлейн, которая недавно пережила сердечное горе; и чтобы Милосердный Господь просветил ее двоюродного брата Фернана, которого называют вольнодумцем (но не может быть, чтобы такой одаренный юноша впал в подобное заблуждение). Она молится о том, чтобы ее малютка Жанна когда-нибудь смогла ходить, чтобы ее Гастон, которому уже тринадцать, наконец выучился читать. Она молится о том, чтобы Артура не покарали за измену, о которой она недавно узнала с негодованием и ужасом, но вообще-то как знать, не на ней ли самой вина? После последних родов она порой не скрывала, как устала от всего этого... И, наконец, подобно многим другим благочестивым католикам в эту пору, она молится за Его Святейшество, заточившего себя в Ватикане, — уверяют, будто так захотел он сам, хотя на деле это франкмасоны принудили его к затворничеству. Улавливаются они или нет, но от нее исходят волны доброй воли, и кто решится утверждать, что они ничего не дают, даже если и не видно, чтобы мир изменился хоть на йоту. Так или иначе, они идут на благо самой Матильде — тех, за кого молишься, любишь еще сильнее.

Месса заканчивается, кюре ее немного скомкал — он думает о полевых работах, которые ждут его паству, а отчасти и о том, что его сад и огород тоже нуждаются в попечении. Г-жа Матильда опускает два су в кружку для пожертвований, здоровается с маленьким певчим — ведь это сын их кучера. Она идет обратно через луг, ступая в собственные следы, чтобы не слишком топтать сено. Передышка в церкви, во время которой, сама того не сознавая, она углубилась в себя, на мгновение вернула ей молодость, с которой она уже распрощалась: жизнь струится в

ней, как в восемнадцать лет. Время от времени Матильда останавливается, чтобы отцепить от юбки приставший к ней колючий колосок, и, как в детстве, пропускает его между пальцами, ссыпая зернышки на ладонь. Она даже решается, вопреки правилам приличия, снять шляпу, чтобы подставить волосы ласковому дуновению ветра. Рогатый скот, от которого пошло название маленького замка Бовери, пасется или дремлет в траве — Матильду отделяет от животных только живая изгородь. Красотка, как зовет арендатор самую удойную в стаде корову, осторожно трется о терновник ограды; всего неделю назад, когда мясник увез на телеге ее теленка, она истошно мычала, но теперь уже все забыла и снова с удовольствием жует сочную траву. Чтобы приласкать телку, Матильда обретает жесты и интонации своих далеких прародительниц — всех этих Изабель Мэтр-Пьер, Жанн Мазюр и Барб Ле Верже. Еще несколько шагов, и она останавливается у дверей конюшни, где кучер начищает цепочку удил; она поздравляет слугу (шляпу она уже снова надела): его сын так хорошо пел нынче во время службы.

Из столовой доносится аромат горячего кофе и свежего хлеба. Матильда кладет молитвенник на столик в передней, аккуратно вешает на вешалку одежду. Все в сборе. Фрейлен говорит с тремя девочками по-немецки, вполголоса, чтобы не мешать хозяину, который читает газету. Матильда с некоторой тревогой бросает взгляд в сторону Гастона — мальчик спокойно ест, никому не мешая. На другом конце стола няня кормит кашей маленькую Жанну, сидящую на высоком детском стульчике. Малыш Октав, увидя мать, бросается к ней, задыхаясь от смеха и что-то невнятно объясняя; Матильда ласково одергивает сына, водворяя его туда, где ему положено сидеть, — возле Теобальда, послушного, в отличие от брата, мальчика. Проходя позади стула, где сидит Артур, она, быть может, робко поглаживает плечо сухого, скуповатого на выражение чувств мужа; этим застенчивым изъявлением нежности она благодарит его за ласковое слово или жест, которым он, вероятно, одарил ее минувшей ночью. Но всему свое время сейчас Артур занят чтением газеты. Впрочем, он тоже чувствует себя обделенным: он только что прочел замечательную статью о немецких таможенных правилах, ему хотелось бы с кем-нибудь поделиться прочитанным, но женщин такие дела не интересуют.

Матильда опускается на свое место за столом, придвигает к себе кофейник и молочник с горячим молоком. Но тут происходит катастрофа: металлическая чашка падает на пол и звеня, катится по паркету, пока не натыкается на ножку стола. Матильда косится на Артура он делает вид, будто ничего не

слышал. Покрасневшая до ушей няня усердно вытирает растекающееся по скатерти молоко. Девушка снова позволила малышке самой взять в руки чашку, а той, как всегда, свело руку, и она выронила прекрасное серебряное изделие... Но девочка еще так мала, может, со временем это пройдет. Говорят, в Брюсселе есть хорошие специалисты, а нет — так Лурд... Да, Лурд. Матильда приподнимает крышку сахарницы. Обычно, ради воздержания, она отказывается от сахара, но надо хорошенько питать ребенка, которого она носит. Один кусок, за ним другой падают в густую жидкость. Матильда про себя произносит benedicite48, берет ломтик пеклеванного хлеба, намазывает его маслом и сосредоточенно предается удовольствию, доставляемому едой.

По-моему, пришла пора представить десятерых детей Матильды не такими, какими их знала она («белокурые головки» — назвала бы их дурная поэзия того времени), но взрослыми, на фоне обстоятельств их жизни. Портреты кое-кого из них несколькими штрихами уже были набросаны на первых страницах этой книги, но, очертив их групповой портрет, я, если и не сумею показать, чем все это кончилось или, наоборот, не кончилось (потому что в мире, находящемся в постоянном движении, конечных результатов вообще не бывает), то, может быть, по крайней мере выявлю в этих персонажах некоторые черты, которые я могла бы обнаружить в себе. Само собой, я забегаю вперед, поскольку страницы, которые описывают этих людей, выходят за рамки Сюарле, но эти довольно призрачные дяди и тетки быстро исчезли из моей жизни, и даже в жизни моей матери играли роль совершенно незначительную — не описав их здесь, я не знала бы, куда их поместить.

Я посвящу лишь несколько строк памяти двух детей, умерших в младенчестве (первый ребенок, Жанна — в возрасте одного года и Фердинанд — в четыре с половиной): более или менее четкую память о них сохранила одна только Матильда. В рамке, складывающейся гармошкой, сохранились портреты пяти выживших дочерей — каждый тщательно отделен от соседних кожаным ободком. И создается впечатление, что каждая из этих женщин живет в своем особенном мире, отмеченном чертами, присущими только ей одной; лица их так непохожи, что их не примешь за сестер. Оставив в стороне Жанну, по обыкновению спокойную и холодноватую (о ней мы поговорим в другом месте), и довольно некрасивую Фернанду, которую сфотографировали очевидно в один из ее неудачных дней, я постараюсь извлечь из их рамок портреты трех старших сестер. Родившаяся первой Изабель, которую называли Иза, прежде всего и притом в высшей

степени — дама. На портрете она уже немолода. Легкая мантилья, обрамляя худенькое, с тонкими чертами лицо, прикрывает волосы, по цвету которых невозможно определить, белокурые они или уже седые. Очень светлые глаза улыбаются с доброжелательной грустинкой. Именно такой я раз или два видела в раннем детстве тетю Изабель, уже страдавшую сердечной слабостью, от которой ей предстояло умереть через несколько лет, и так быстро уставшую, что не успевала я усесться, болтая ножками, в гостиной, как мне приказали встать и подойти к тете, чтобы с ней попрощаться.

Изабель вышла замуж за своего двоюродного брата, барона де К. д'И, который, как мы знаем, подписал свидетельство о моем рождении. Она произвела на свет троих детей, старший из которых продолжил род и семейные традиции; дочь, очень болезненная, умерла на двадцатом году жизни; самая младшая, крепышка Луиза, с ранних лет посвятившая себя благотворительности, стала одной из героических сестер милосердия Первой мировой войны. Эту рослую голубоглазую блондинку, порывистую, жизнерадостную, властную, обожали раненые и боялся, хотя и чтил, весь персонал ее госпиталя. После наступления мира Луиза до конца своих дней возглавляла службу рентгенографии в католическом лечебном заведении для раковых больных. Она умерла от опасных лучей, которыми манипулировала. В 1954 году я нанесла ей Короткий визит — она лежала в одной из палат своего собственного хосписа, как королева, окруженная родными и друзьями, пришедшими засвидетельствовать ей свою любовь; разносившееся по коридорам церковное пение было звуковым фоном этой встречи. За Луизой ухаживала ее любимая медсестра, адъютант, до самого конца верный своему командиру. Успех, незадолго перед тем выпавший на долю одной из моих книг, которых она никогда не читала, чрезвычайно обрадовал Луизу, поскольку, по ее мнению, он делал честь семье. То же самое, и не больше, она сказала бы о собственных медалях и крестах.

Вторая сестра, Жоржина, предстает на фотографии величественной молодой женщиной в тугом корсаже с глубоким вырезом; короткие локоны плотно облегают голову — эта прическа придавала современницам королевы Александры ложное сходство с античными статуями. Черты правильного лица ничего не выражают. Фотография была сделана в Вене эпохи вальсов, где Жоржина находилась вместе с мужем, сыном намюрского банкира, происходившего, говорят, из семьи потомственных нидерландских коммерсантов. Муж был вольнодумцем и каждое воскресенье, проводив жену до порога

церкви, заезжал за ней лишь по окончании службы. Особенно возмущало тех, кто об этом рассказывал, что в промежутке он иногда проводил время в кафе.

Красивая женщина, Жоржина, к сорока восьми годам превратилась в настоящую развалину. Горничная подводила эту сутуловатую, подслеповатую, снедаемую диабетом гостью к одному из плетеных кресел маленького зимнего сада, где принимала Жанна. Расшатанные зубы Жоржины с трудом разжевывали даже самое рассыпчатое печенье; жидкие, хотя все еще черные волосы обрамляли пожелтевшее лицо. Я видела в ней не столько больную, сколько жуткий символ самой Болезни. Только карие глаза, безжизненные на венской фотографии, блестели ласково и в то же время оживленно, поглядывая на людей и на окружающие предметы с каким-то ищущим кокетством. Я не помню ни единого слова из тех, какими обменивались сестры, и поскольку мне ничего неизвестно ни о характере Жоржины, ни о ее интимной жизни, у меня остался в памяти только вот этот еще горячий взгляд на опустошенном лице.

Ее сын Жан поселился с матерью в окрестностях Брюгге, чтобы дать больной возможность подышать воздухом, более полезным, чем намюрский. Он женился на женщине из местного хорошего общества, у которой сегодня столько же крестов и лент, сколько их было у тети Луизы после 1914 года, но полученных за участие уже в другой войне. Жан прожил в Брюгге спокойную жизнь богатого буржуа, если не считать двух вражеских оккупаций, первая из которых бросила его, одетого в форму цвета хаки, на дороги Франции. Вторую он наблюдал уже на одре болезни и умер в 1950 году, не оставив потомства.

Чаще встречалась я с его сестрой Сюзанной, молодой, тяжеловатой Кибелой, унаследовавшей карие глаза матери, — как сейчас вижу ее в гостях у нас на фоне пихт Мон-Нуара; запомнилось мне это во многом потому, что ее сопровождал красавец-сеттер. Лет двадцать спустя я увиделась с Сюзанной, которая поздно вышла замуж, но уже была матерью маленькой дочери, в ее поместье в Арденнах. Она приезжала туда только летом, а все остальное время жила с мужем в Северной Африке, где у г-на де С. была плантация. Мне показалась, что Сюзанна стала жестче; в арденнском доме чувствовалось какая-то смесь алчности и колониальной неряшливости. Привезенная из Африки гиена расхаживала по огромной клетке, подозрительно следя за поведением двуногих, и свирепо хохотала по ночам.

Портреты Зоэ, любимой сестры Фернанды, меня особенно интересовали, потому что я никогда не видела самой модели. На

первом из них изображена молодая женщина в платье из шотландки, что-то крепко сжимающая в руках, вероятно, книгу. Пышные развевающиеся волосы создают впечатление, быть может, ложное, что Зоэ коротко острижена. Взгляд ее устремлен за рамки кадра, словно Зоэ кого-то ждет, без сомнения, некого г-на Д., за которого она вышла в 1833 году и который, судя по всему, был из числа тех, кого ждать не стоит. В резко очерченных плоскостях и выпуклостях этого лица есть что-то от той странности пропорций, которую Леонардо определял как красоту. На более поздней фотографии это сорокалетняя женщина с нервным и принужденным выражением, а в глазах у нее тот стеклянный блеск, который иногда появлялся у Жанны и Теобальда. Дальше мы увидим, как с ней обошлась жизнь.

Не сохранилось ни одной фотографии, которая могла бы мне помочь описать трех мальчиков в их юные годы. Поэтому я не стану пытаться очертить по воображению портрет старшего из моих дядей, умершего за шестнадцать лет до моего рождения. Гастон — загадка, какие довольно часто встречаются в семейных тайниках. Родившийся в Сюарле в 1858 году и в Сюарле же умерший в 1887 в возрасте двадцати девяти лет, он как бы и вовсе не существовал. Между тем этот Гастон, который все же не был призраком, после кончины брата, родившегося лишь немногим раньше его, стал почти еще в колыбели старшим сыном в семье, приверженной традициям; в качестве старшего он должен был быть окружен особыми попечениями, на него должны были возлагать надежды, связывать с ним планы будущего. Однако ничего подобного не найти в нескольких письмах и в устных свидетельствах, которые дошли до меня от этих лет. Никаких детских или школьных воспоминаний, никаких упоминаний о какой-нибудь любовной интрижке, невесте или о несостоявшихся матримониальных планах, ни малейших указаний на карьеру, к которой он себя готовил, или на то, чем занимался этот человек, умерший, как мы видели, почти тридцатилетним. Его братья и сестры, которые, собравшись вместе хоть на один час, сразу начинали вспоминать молодость, Фрейлейн, невыносимо болтливая, когда говорила о тех годах, которые по прошествии времени казались ей счастливыми, никогда ни единым словом не упоминали о Гастоне; только одну довольно мрачную подробность касательно его смерти, уж не знаю правдивую или нет, Фернанда поведала моему отцу. Это молчание кажется тем более странным, что Жанне и Фернанде в ту пору, когда Гастона постиг, судя по всему, довольно жалкий конец, было соответственно девятнадцать и пятнадцать лет, а старший брат, неважно, ненавидимый или любимый, обычно играет большую

роль в жизни младших сестер. Если бы Гастон был калекой, как Жанна, этого наверняка не скрывали бы. Но о нем молчали, потому что (мою гипотезу впоследствии подтвердил надежный источник) Гастон был дурачком.

Теобальда и Октава я помню отчетливо. Первый довольно часто приходил в гости к своей сестре Жанне; я видела его у нее раз двенадцать, но этот дородный ворчун был не из тех мужчин, что нравятся шестилетним девочкам. Я уже говорила выше о том сибаритском существовании, какое он обеспечил себе в Брюсселе. В последние годы жизни он поселился у метрдотеля своего клуба; этот безупречный слуга вместе с женой ублажал своего жильца. Именно в эту пору Теобальд, который безусловно не любил ни в чем себе отказывать, решил, что недурное наследство, оставленное отцом, все же не обеспечивает ему необходимого достатка, и будет удобнее ежегодно отхватывать от основного капитала по куску, с каждым годом все большему, чтобы восполнять соответственно уменьшающиеся проценты. Теобальд погрузился в сложные расчеты, какими наверняка не занимался с тех самых пор, как готовился к экзаменам на инженера, и пришел к выводу, что, соблюдая некоторую осторожность, он может одновременно прийти к концу жизни и к цифре ноль в колонке «состояние».

Он так и сделал. Подтолкнул Теобальда к этому несомненно его диагноз, прогрессивный паралич, скрытое развитие которого он с некоторого времени замечал. Когда мне шел двадцатый год и я уже более десяти лет жила в полном отрыве от родственников с материнской стороны, в один прекрасный вечер между Рождеством и Новым годом мне вдруг пришло в голову поздравить дядю, адрес которого я незадолго перед тем нашла. Он ответил мне поздравлениями на своей визитной карточке, и эта лаконичная, но церемонная переписка продолжалась несколько лет. В верхней части карточки слева стояли всегда почти одни и те же выписанные тонким почерком слова: «Ответные поздравления. Параплегическое состояние без изменений». Однажды в надписи, сделанной почти уже неудобочитаемым почерком, сообщалось о происшедшей перемене: «Паралич достиг последней стадии». Больше я никаких известий, даже сообщения о смерти, не получила.

Но несколько месяцев спустя из письма метрдотеля и его жены я узнала, что верная чета посетила могилу г-на Теобальда на кладбище в Сюарле. Дело было летом, на его могиле они заметили белую, с трепещущими крыльями бабочку. Меня восхитило это невольное возрождение мифа о Психее в применении к старому холостяку из Брюсселя.

Октав произвел такой же подсчет, как и его брат, но с меньшим успехом. В промежутке между двумя путешествиями он часто приходил пить слабый чай к своей сестре Жанне. Этот среднего роста человек с тонкими чертами лица в брюках с безупречной складкой и в перчатках цвета свежего масла, которые он клал на подлокотник кресла, нравился мне больше, чем его старший брат, но в ту пору я была маленькой дикаркой, которая не доверяла до конца никому из взрослых. Тетка с братом обсуждали семейные новости, говорили о погоде, но чаще всего предавались общим воспоминаниям. Если не ошибаюсь, в моем присутствии никогда не говорилось о путешествиях Октава, которые он так бесцветно изложил в маленьком томике, посвященном некоторым из них. Никто уже не ждал ничего особенного от этого человека, без всякого плана колесившего по свету, бледной копии своего дяди и тезки Октава Пирме — тот в отличие от племянника составил себе имя, опубликовав дневники своих путешествий по Италии и Германии и свои размышления о жизни. Но для Жанны и для Фрейлейн этот безобидный посетитель был членом семьи; ему придавали величайшее значение и выказывали безоговорочную любовь, как всему, что было связано с Сюарле; к тому же отсутствие литературного дара этих двух женщин смутить не могло.

Что таилось за белым с черными усиками лицом, напоминавшем мне маски Музея Гревен? Страсть к перемене мест, которую на семейном языке дружески именовали непоседливостью, не лишенная сумасбродства фантазия, забавное словцо, подслушанное в лондонском баре и немного слишком рискованное, чтобы повторить его при Жанне, девицы, подцепленные в зале парижского кафешантана, случайные любовные свидания в меблирашках или в стоге сена, наверняка долги, о которых не могла не знать Жанна, глухая тревога из-за чего-то, чего он сам не мог бы назвать, но что однажды его поглотило, а может, вообще ничего? Меня всегда приводил в изумление огромный зазор между тем, о чем говорят между собой за чайным столом два воспитанных человека, и подспудной жизнью органов чувств, желез, внутренностей, всей массой утаенных забот, мыслей, накопленного опыта. Но я еще не задумывалась над этим, когда сидя на положенной на пол подушке созерцала узкие, начищенные ботинки дяди Октава. Однако слух ребенка необычайно чуток: я то и дело улавливала возникавшую вдруг паузу или, наоборот, обрывок разговора, который чересчур старательно поддерживали. Впрочем, очень скоро, сказав на прощание каждому какую-то любезность, чудаковатый дядя удалялся.

Поскольку путешествия обходились дорого, Октав, чтобы выпутаться из затруднений, именно в эту пору решил использовать метод Теобальда, но он ошибся, не рассчитав, когда отправится в свой последний путь. В 1920 году в два часа ночи его обнаружили на одной из улочек, прилегающих к Большой площади Брюсселя, в плачевном виде, не сознающего, что он делает и кто он такой. Его отвели в полицейский участок, где он назвал себя, но не мог вспомнить свой адрес — а жил он в средней руки гостинице. Его спросили, есть ли него семья — он ответил, что нет, все его родные умерли. Они и в самом деле умерли для него. Но через два дня какой-то полицейский чиновник, держа в руках заключение врача, освидетельствовавшего господина, у которого обнаружили расстройство психики, явился к Жанне, чье имя и адрес нашли в адресной книге; она оповестила Теобальда и всех оставшихся в живых племянников и племянниц, они решили сложиться, чтобы поместить злополучного Октава в лечебницу для душевнобольных в Геле, старинное заведение, освященное благочестивыми и поэтичными легендами, на краю того, что было когда-то живописной равниной Кампин. Неагрессивные помешанные по традиции живут в Геле у местных жителей, деля с ними жизнь и работу. Не знаю, сколько времени прожил там безобидный Октав, заготавливая траву для коров и пропалывая картошку; быть может, ему понравилась такая жизнь, быть может, он почувствовал здесь уверенность в завтрашнем дне, которой ему, без сомнения, так отчаянно не хватало. Я дала себе слово, что если когда-нибудь снова попаду в Бельгию, непременно навещу Октава в его убежище в Геле. Я однако не сделала этого в 1929 году, когда стала собирать сведения о моих бельгийских родственниках. Это упущение не могло быть вызвано тем, что я совсем забыла об Октаве, и по-видимому означает, что в ту пору я побаивалась вступать в общение с сумасшедшим. Впоследствии я часто об этом жалела.

Кто-то из критиков написал, что герои моих книг, как правило, изображены в перспективе близкой смерти, а это лишает жизнь всякого смысла. Но смысл имеет любая жизнь, пусть даже речь идет о насекомом, и ощущение ее значимости, громадной по крайней мере для того, кто эту жизнь прожил, или хотя бы ощущение ее единственности не уменьшается, а усиливается, когда видишь, как делает петлю парабола, или, как в более редких случаях, пламенеющая гипербола, описав кривую, исчезает за горизонтом. Я вовсе не сравниваю жизнь моих дядей и теток по матери с метеорами, и все же траектория их жизни кое-чему меня учит. Само собой, я не нашла у этих людей общих со

мной знаменателей, которых искала. Иногда мне казалось, что я обнаруживаю какое-то сходство, но стоило мне попытаться точнее его определить, оно истончалось и становилось просто тем подобием, какое можно уловить между всеми живыми созданиями, когда-либо существовавшими на земле. Спешу заметить на будущее, что изучение отцовской родни в этом отношении дало мне не больше. Как и всегда, наверх всплывает только чувство бесконечной жалости к нашему ничтожеству и, вопреки ему, уважение и любопытство к хрупким и сложным структурам, которые как бы на сваях водружены над бездной, и каждая из которых чем-то отличается от других.

Но в связи с портретами братьев и сестер из Сюарле я должна высказать кое-какие дополнительные соображения. Прежде всего я вижу, что такая плодовитость, как у Матильды, уже не характерна для следующего поколения: из восьми рожденных ею и выживших детей только четыре дочери, в свою очередь, обзавелись потомством — они произвели на свет в общей сложности девятерых детей и, если не ошибаюсь, только у троих из тех появились наследники. Какова бы ни была причина такого возврата к умеренности, его следует безоговорочно приветствовать. И все же я не могу не отметить в каких-то случаях фиаско, в каких то — упущение. Если взглянуть на плодовитость Матильды под определенным углом зрения, она напоминает чересчур обильное цветение фруктового дерева, которое уже разъедает ржавчина, или невидимые бактерии, или которое уже не питает оскудевшая почва. Может, та же метафора приложима к нынешнему неуместному демографическому взрыву.

Четырнадцать месяцев спустя после рождения Фернанды Матильда скоропостижно умерла, пережив мучительную агонию. Из нескольких неизданных строк Октава Пирме, которые недавно попали мне в руки, я узнала, что бедной женщине, заболевшей крупом, пришлось перенести ларинготомию. Это привело к выкидышу, которого несчастная не пережила. В листке «Блаженной памяти» упоминается только о «короткой и мучительной болезни». Поскольку в документах такого рода упоминание каких бы то ни было физических подробностей, касающихся болезни и смерти, очень редки, эти несколько скупых слов внятно говорят о том, насколько внезапная кончина Матильды взволновала и потрясла ее родных. На листке с траурной каймой, который Артур или Фрейлейн, наверно, заказали у гравера, владевшего писчебумажным магазином в Намюре, изображен Агнец Божий в зловещем окружении орудий Страстей Христовых. Трудно сказать, вдовец или безутешная

гувернантка сочли, что этот образ особенно подходит невинной усопшей.

Тот же листок приписывает умирающей выспренные последние слова — хотелось бы надеяться, что они заимствованы из какого-нибудь благочестивого романа, описывающего кончину матери семейства, а не произнесены перед смертью самой Матильдой: «Прощайте, мой дорогой супруг, мои дорогие дети, которых я так любила, прощайте! Я ухожу так быстро, так внезапно. Все в руке Господа нашего, да исполнится Святая воля Его. Молитесь за меня. Умирая, я оставляю вам два важнейших завета, которыми особенно дорожу: стойкость в вере и стойкость в служении семье… Храните и приумножайте оба эти чувства… Прощайте, я буду молить за вас».

Даже если допустить, что Матильда произнесла эти напыщенные слова, услышать их мог, безусловно, один только Артур. В эти погожие дни начала мая три старшие дочери, Изабель, Жоржина и Зоэ, вероятно, находились в своем пансионе в Брюсселе или у Английских дам в Отейле, старательно набирая хорошие отметки в ожидании наград, которые распределялись в конце июня. Принимая во внимание, что мать их умерла почти внезапно, едва ли их вовремя привезли в Сюарле, чтобы они успели выслушать это наставление. Дурачок Гастон его бы не понял. Теобальд и Октав, которым было, соответственно, девять и семь лет, скорее всего уже находились в коллеже Нотр-Дам де ла Пэ в Намюре; но если в мае они и были в замке, им наверняка приказали поменьше шуметь, чтобы не беспокоить больную матушку. Хочется думать, что не им была адресована эта речь. Жанна, без сомнения, сидела на краю лужайки в детской колясочке, крепко привязанная к ней ремнями, поскольку с находчивым упорством детей-калек она проворно уползала с того места, где ее оставляли. Что до Фернанды, она спала в своей колыбельке, как впоследствии в сходных обстоятельствах ее собственная дочь. Любящие родители Матильды, Луи и Зоэ Труа, никак не могли присутствовать при последних минутах своей дочери; экс-губернатора подтачивала болезнь, которой через каких-нибудь два года предстояло свести его в могилу, и ему было бы нелегко так поспешно проделать немалое расстояние, отделявшее Сюарле от его имения Ла Пастюр, а Зоэ вряд ли поехала бы без него. Можно сказать почти с уверенностью, что Артур и Фрейлейн были единственными свидетелями этой агонии, если не считать слуг замка и двух особ, в силу своей профессии непременных спутников всякой кончины — местного врача и кюре, которые вместе с нотариусом составляли в XIX веке погребальное трио у изголовья умирающих. Впрочем, нотариусу

вряд ли была надобность являться священнодействовать у постели Матильды — все ее имущество принадлежало Артуру.

Зато на погребении, наоборот, должно было присутствовать много народа. Отец и мать умершей на сей раз могли успеть совершить небольшое путешествие; возможно, из Брюсселя приехала сестра усопшей Аликс с мужем Жаном Т'серстевенсом. Из Акоза прибыли тетя Ирене и ее сын Октав, еще носившие траур по любимому сыну и брату Фернану, прозванному Ремо; может быть, явился со своей молодой женой и другой сын Ирене, Эмиль, которого обычно удерживали в столице политика и светская жизнь. Похоже, Артур не поддерживал постоянных сношений с обитателями замка Маршьенн, который он покинул за восемнадцать лет до этого, обосновавшись в Сюарле, но, вероятно, его единокровный брат Эмиль-Поль счел нужным явиться в сопровождении молодой супруги-ирландки. Освобожденная от своих густых рыжих прядей, доставшихся Фернанде, Матильда еще раз проделала путь от замка к деревенской церкви, но на сей раз траурный кортеж доставил ее туда по большаку, а не по привычной тропинке среди трав. Фрейлейн надела траур по хозяйке, который не снимала до собственной смерти.

Мы ничего не знаем о чувствах Артура, но потерять внезапно по другу жизни, с которой прожил двадцать лет, всегда большое потрясение. У вдовца осталось восемь детей. Потребности жениться вторично, как его отец, у него не возникло. Быть может, уже существовали «Дама из Намюра», персонаж почти мифологический, которую Фрейлейн поносила до конца своих дней, и он втайне содержал ее в каком-нибудь скромном домике на подходящей улице этого провинциального города. А если нет, то эта связь не замедлила возникнуть. В тусклом существовании, какое мой дед вел со времени своей женитьбы, это негромкое приключение было единственной данью фантазии, единственным проявлением свободы выбора. У меня, не такой ригористки, как Фрейлейн, не хватает духу его этим попрекнуть.

Два путника по дороге в страну вечности

Доверив прихворнувшую мать заботам брата Эмиля, который осенью приехал на несколько недель в Акоз со своей женой, тоже недомогавшей, Октав Пирме ранним утром приказал оседлать лошадь. Он решил отправиться в Ла Пастюр в окрестностях Тюэна, чтобы повидать, пока еще не поздно, своего тяжелобольного дядю Луи Труа.

На страницах, которые я здесь использую, он сам описал эту поездку. Я постараюсь, восполнив пробелы в коротких заметках Октава с помощью отрывков, извлеченных из других его произведений, проникнуть в мир этого человека, моего отдаленного родственника, чтобы прожить с ним некий день девяносто семь лет тому назад. Навещая моего умирающего прадеда, Октав исполняет семейный долг, что время от времени он вменяет себе в обязанность, а кроме того этот визит отвечает его страстной любви поразмышлять о конце вещей. Пятнадцать лье, которые предстоит проделать этому путешественнику, ставшему теперь домоседом, равнозначны для него, сознает он это или нет, слому рутины, в которой он все больше погрязает; он насытит эти лье таким количеством образов и впечатлений, как если бы совершил поездку в Тироль или прогулку по карнизу Амальфи.

Стараясь держаться подальше от задымленного Шарлеруа, Октав выбирает дорогу через долину Самбры. Проезжая Маршьенн, где он когда-то не раз бывал со своим кузеном Артуром, он с жалостью думает об овдовевшем муже Матильды, который теперь живет в Сюарле один с маленькими детьми. Впрочем, жалость эта несколько натужная — муж Матильды никогда по-настоящему не нравился Октаву. Развалины аббатства, рухнувшие стены посреди голых октябрьских полей наводят его на мысль о религиозном и поэтичном Средневековье, легенды которого всегда глубоко его трогают. В этом месте Ремо... Память о молодом брате, погибшем тому уже три года насильственной смертью в возрасте двадцати восьми лет, никогда не покидает Октава, но под осенним солнцем обычно бледная тень начинает золотиться и снова становится похожей на того Ремо, который возвращался к брату из своих путешествий по Востоку, покрытый великолепным загаром... Три года... Но безвременники в траве, синее пятно астр на фоне серовато-коричневой гаммы, а в небе острый угол стаи перелетных птиц

невольно отвлекают этот подвижный ум, чутко реагирующий на легчайшее дуновение. Октав подыскивает слова, в каких нынче же вечером опишет все увиденное в письме к Жозе де Копену, деревенскому соседу, молодому человеку, которого он выбрал себе в наперсники и компаньоны. На постоялом дворе, где Октав остановился напоить лошадь, его взволновало красивое личико (об этом он Жозе рассказывать не станет); женщина, у которой он спросил, какой дорогой лучше проехать, заинтересовала его своим сочным местным говором, в котором он улавливает обороты старофранцузского языка; девочки, собирающие хворост, напоминают ему о зиме, которая уже не за горами и так тяжела для бедняков. Как всегда, когда он обращается к внешнему миру, жизнь тут как тут со всей своей непредвиденностью, со своей неотъемлемой печалью, со своей обманчивой лаской и почти невыносимой полнотой.

Однако Октав пустился в путь для того, чтобы в последний раз увидеть Луи Труа, и потому он заставляет себя восстановить в памяти один за другим все этапы дядиной карьеры. Двадцати лет лишившись отца, Октав перенес на дядю (который был к тому же его крестным) частицу своих сыновних чувств; он питает к нему почтительную, немного сдержанную, как это принято в семье, привязанность. Октав пытается представить себе дядю Луи ребенком, потом прилежным в учении подростком на берегу этой самой реки, среди этого же самого пейзажа, но только вскоре после орудийной пальбы Ватерлоо. Отец Луи, Станислав Труа, при Наполеоне управляющий департаментом Жемеп, потом депутат Нидерландских Штатов, принадлежал к числу тех чиновников, которые в смутные времена изо дня в день взваливают на себя бремя общественных дел, более важных, нежели смена власти... Но свои прекрасные манеры, в которых проявляется не что иное, как истинная доброжелательность и возвышенность ума, Луи Труа, по-видимому, унаследовал от матери... С меньшим удовольствием вспоминает Октав о язвительных парламентских схватках, бушевавших в Брюсселе в ту пору, когда Бельгия, только что отделенная от Голландии, была еще новичком на карте Европы: Луи Труа, молодой депутат от округа Тюэн, участвовал в этих забытых столкновениях... Существование магистрата и чиновника, каким стал впоследствии его дядя, Октав представляет себе только в общих чертах, зато двадцать один год, что тот провел в Монсе в качестве губернатора Эно, во всех подробностях. Ремо гораздо меньше восхищался этой карьерой крупного государственного чиновника — он всегда чувствовал, какая несправедливость гнездится в том, что мы считаем правосудием, а в самой узаконенной

государственный рутине видел хаос, только снаружи прикрытый порядком. Ремо отстранялся от мира, где двенадцатилетние дети по двенадцать часов работают в копях Боринажа и только по воскресеньям видят дневной свет. Луи Труа, напротив, был из тех, кто, не щадя своих сил, служит обществу, такому, какое оно есть.

И в самом деле, в эпоху, когда всякое решение еще становилось прецедентом, а только начавшаяся индустриализация усугубляла борьбу интересов, всегда острую в этой стране горячих голов, губернатор Эно должен был обладать незаурядным тактом. Соседство Франции превращало Эно в объект воображаемых или реальных территориальных притязаний Наполеона Маленького, который, похоже было, от времени до времени ищет вздорных поводов для ссоры с бельгийцами. В верхах ходили слухи: император Франции тайно-де предложил Голландии поделить Бельгию на две части, одну из которых он оккупирует (недаром он так усердно собирал сведения о численном составе войск в укрепленных фортах на границе). И тем не менее, Наполеон III был гарантией порядка во Франции, а сама эта опасная страна — дружественным государством, и, стало быть, приходилось держаться середины между недоверием и подчеркнутым доброжелательством по отношению к французским либералам в изгнании. О том, что Луи Труа сумел найти правильный курс среди этих опасностей, свидетельствовала лента ордена Почетного легиона.

Случались конфликты и местного характера, например, когда радикалы осадили монастырь в Монсе, или когда бесчинствовала Черная банда, наводившая ужас на деревенских жителей, и когда потом с ней расправились, едва ли не чересчур жестоко. В этих случаях, по общему мнению, Луи Труа проявлял себя как человек ловкий и в то же время гуманный. Но он умел быть и твердым. Самый скандальный процесс во времена его правления произошел в Монсе, то был процесс графа и графини Бокарме, уличенных в убийстве калеки-зятя, наследство которого они хотели прибрать к рукам. Из Парижа защищать их приехал Лашо1, и заседания суда проходили так бурно, что губернатор Эно, президент Палаты и генерал в военной форме посчитали своим долгом сидеть в зале на возвышении рядом с судьями. Бельгийская знать реагировала на происходящее так же, как когда-то французская и нидерландская знать на громкий процесс некого графа Горна в Париже почти за сто лет до этого: речь шла не о том, чтобы спасти несчастного, но о том, чтобы смягчить меру наказания, которую считали позорной для всех именитых семей, состоявших с ним в родстве. Губернатор, как и брюссельские власти, не сдался. Быть может, этому представителю крупной буржуазии

было в какой-то мере приятно устоять против напора страстей, в которых еще сказывался феодальный дух. Граф Бокарме был казнен на центральной площади Монса перед закрытыми окнами и запертыми ставнями Благородного собрания и особняков титулованных особ. В ту пору Ремо был еще ребенком: позднее, несмотря на свое отвращение к смертной казни, он несомненно счел, что дядя поступил правильно.

В Марбе-Ла-Тур, маленькой деревушке по соседству с Ла Пастюр, г-на Октава знают все. Новости, какие ему сообщают о дяде, печальны. По прибытии в замок сердце Октава сжимается: жалюзи в комнате дяди на втором этаже опущены — неужели он опоздал? Но из окна маленькой гостиной, куда она вышла, чтобы немного отдохнуть, его увидела Зоэ и сама открывает ему дверь. Бедняжка Луи очень плох, но, слава Богу, в полном сознании — он будет рад увидеть племянника. Когда-то Зоэ была хороша собой, но от старости, горя и усталости словно бы осела и разбухла; теперь все ее очарование состоит в необычайной кротости. Со времени смерти своей дочери Матильды (тому в минувшем мае исполнилось два года), она носит траур и потому уже заранее похожа на вдову. Зоэ рассказывает гостю, что ее дорогой Луи на минувшей неделе с величайшим благочестием причастился Святых Даров; надеялись, что ему станет лучше, но нет. Господь, как видно, хочет призвать к себе бедного больного. Октав, который верит или старается верить, почтительно слушает тетку, но про себя задается вопросом, соразмерны ли чувства дяди Луи чувствам его жены. Он вспоминает, как сам когда-то написал, что перед лицом смерти хороши только две позиции: христианство и стоицизм. В своем дяде он прежде всего восхищается стоицизмом.

Зоэ вверяет гостя попечению Бувара, который сорок лет состоит камердинером при Луи Труа. Октава всегда трогает преданность одного мужчины другому: он замечает, как изможденно лицо старого слуги, вот уже несколько месяцев бодрствующего по ночам у постели хозяина. Ему кажется, что старый камердинер едва ли не ближе больному Луи, чем сама добрая Зоэ.

Бувар бесшумно поднимает жалюзи на одном из окон, помогает хозяину приподняться на подушках. Потом деликатно выходит из комнаты.

— Я рад, дорогой Октав, увидеться с тобой перед смертью, — оживившись, восклицает больной. *— Да,* — продолжает он уже более слабым голосом, *— я был уверен, что твое сердце ни в чем не уступает уму... Я бы и сам позвал тебя к себе... Но, может, с моей стороны это было бы слишком самонадеянно...*

Смущенный Октав ищет извинений. Как получилось, что он так долго не мог собраться навестить умирающего, который ему дорог и который так хорошо к нему относится? Вдруг дядя хотел дать племяннику последнее напутствие, а теперь у него уже нет для этого сил? Луи Труа, любящий изящную словесность и ценящий в Октаве известного писателя, осознает, что фраза, которой он встретил гостя, может быть воспринята как упрек, и продолжает с той ноткой торжественности, без которой, по-видимому, не мог обойтись XIX век:

— Твой визит, дорогой племянник, мне бесконечно льстит. Как и нежные заботы, которыми меня здесь окружают, он трогает меня гораздо больше, нежели все почести, какие выпали мне в жизни... — Осекшись, он задумывается, потом неуверенно добавляет:

— Потому что, кажется, мне оказывали почести...

Очевидно, Октава поразили эти слова, потому что он счел нужным занести их на бумагу. Мне тоже нравится, что умирающий, в котором близкие видели человека выдающегося, чувствует себя уже настолько далеким или настолько отчужденным от своего прошлого, что сомневается, оказывали ему почести или нет.

— С тех пор, как я лежу в этой постели, — продолжает Луи Труа уже более обыденным тоном, *— смерть не может застигнуть меня врасплох... Она меня больше не пугает... но я хотел бы провести еще несколько лет с моими близкими.*

Гость слышит собственный голос, изрекающий утешительные банальности. Дядя прерывает его:

— Нет, боли на мгновение отпускают меня только для того, чтобы возобновиться с новой силой. Смерть будет избавлением. И потом, быть может, я свижусь с моей дорогой дочерью...

Ни девочка, с которой он играл в старательно расчищенных аллеях, ни почти всегда располневшая от очередной беременности молодая женщина, которая приезжала с мужем в гости навестить тетю Ирене (а он под предлогом того, что хочет собрать для нее букет, старался улизнуть из гостиной), не привлекали особенного внимания Октава. Но то, что надежда встретиться с ней на небесах утешает умирающего, вдруг облагораживает заурядную Матильду. Станет ли Октав, который так часто задавал себе вопрос, суждено ли ему снова увидеть Ремо, уверять дядю Луи, что не сомневается в возможности свидания в другой жизни? «*Мы верим в бессмертие*, — писал он в одной из своих книг. *— Но если бы не верили, то мирно засыпали бы с мыслью, что такова воля Божия*». Фраза типичная для написавшего ее человека, потому что она сначала подтверждает с

убежденностью, которой он, пожалуй, не чувствует, мнение, которого от него ждут, а потом робко завершается гипотезой, высказанной уже безусловно от его собственного имени. Если умереть означает уснуть, возможно ли, что соединение с дорогими существами — это всего лишь греза, навеваемая этим последним сном? По счастью, Лу Труа не ждет, что племянник подтвердит или опровергнет его предположение — он закрыл глаза.

Октав, всегда восхищавшийся представительной внешностью дяди, переводит взгляд на парадный портрет, который висит в углу комнаты, словно зеркало, отразившее умирающего таким, каким он был. Луи Труа, еще молодой, изображен на нем в расшитом мундире, положенном ему по должности. Чистые черты лица выражают ясность духа, почти как у греческих героев. Уносясь мыслью еще на тридцать лет назад, гость с умилением вспоминает прекрасный рисунок, на котором Наве, лучший ученик старика Давида, изгнанный в Брюссель, запечатлел прелестного Луи — мальчик прижимает к себе своего любимого козленка и похож на ребенка с античных барельефов... И все заканчивается вот так... Но поэту, растроганному последним страдальческим образом человека на смертном одре, прекрасным кажется и этот иссохший торс в рубашке, которую Луи надел, чтобы принять племянника и которая уже стала влажной от пота, и лицо, сведенное только к самому существенному, костистый лоб, впалые виски — бастион духа, который не сдается. Луи Труа, снова открывший глаза, учтиво осведомляется о мигренях своей невестки Ирене и о хронической болезни племянницы, жены Эмиля, которая нынешней осенью на несколько недель приехала в Акоз. Гость понимает, что эти пустяковые недомогания не могут интересовать больного на грани агонии. Просто Луи Труа остается верен своему принципу — уделять другим больше внимания, чем самому себе. С чувством, похожим на горькое сожаление, Октав думает о том, что его близость с дядей почти ни в чем не проявилась. Он очень редко пользовался возможностью, да она и представлялась-то нечасто, откровенно поговорить с ним, сопоставить опыт этого прожившего насыщенную жизнь человека со своим. Никогда не поверял он ему своих страхов, сомнений, тревог, угрызений, из которых, по сути дела, и соткана его собственная жизнь. Неужели уже поздно попросить у дяди совета? Если бы хотя бы удалось сказать ему несколько слов о книге, которую Октав пишет о Ремо... Но какое право имеет он докучать больному проблемами, на которые сам до сих пор не смеет взглянуть в упор? В эту минуту, опасаясь, что беседа уже и так слишком затянулась, в комнату входит Зоэ. Она

предлагает племяннику пройтись с ней вдвоем по парку.

— *Consilium abeundi* [Консилиум у смертного одра (лат.)], — с улыбкой замечает Луи, до конца сохраняющий приверженность латыни. — *Тебе советуют удалиться, дорогой Октав. Прими предложение твоей тетушки. А потом, прежде чем уехать, зайди ко мне еще раз.*

Октав и Зоэ гуляют у пруда по берегу, где теперь высятся кучи опавших листьев. Зоэ говорит, не умолкая. Она вспоминает двух своих дочерей, Аликс и Матильду, которые вместе с Октавом играли здесь в серсо. Она воскрешает в памяти бурные дни 1848 года в Брюсселе, незадолго перед тем, как Луи вступил в Монсе в должность губернатора; Октав нашел тогда убежище в доме дяди, потому что добрые пастыри из заведения Михаила Архангела предпочли на случай беспорядков отослать учеников к их родным. По счастью, здешний народ в отличие от парижского не дал себя увлечь опасным главарям... Одно воспоминание тянет за собой другое: Зоэ в который раз рассказывает о тревожных днях 1830 года, которые ей пришлось пережить вместе с сестрой Ирене — та как раз только-только обручилась с отцом Октава. Прогуливаясь по парку Сюарле, девушки услышали пушечные выстрелы со стороны Намюра; пренебрегая опасностью, которую сулила дорога, забитая толпой в блузах, размахивающей пиками, они решили укрыться у своей сестры Амели, — а она, дорогой Октав, незадолго перед тем вышла за твоего дядю Виктора. Кто знает, что может случиться, когда чернь ввязывается в политику? Перед глазами девушек мелькали жуткие образы Жакерии... И как же они удивились, когда, добравшись до сестры, увидели, что сам Виктор, когда-то служивший в лейб-гвардии короля Вильгельма, теперь набивает патроны для восставших... Вскоре порядок был восстановлен, и тогда Жозеф де К. де М., отец того самого Артура, с которым наша бедняжка Матильда, вероятно, не всегда была счастлива, галантно сопроводил девушек в Брюссель, чтобы они могли присутствовать на коронации бельгийского монарха... Наша Флора, которая уже была в интересном положении, осталась в Маршьенне... Превосходная женщина перечисляет своих дорогих усопших: Флора, красивая и добрая, которую Милосердный Господь призвал к себе на двадцать втором году жизни, Амели и ее Виктор, славный Бенжамен, твой отец, прекрасный охотник и замечательный музыкант... И, наконец, так внезапно отнятая у нас наша дорогая Матильда...

Тихий голос старой дамы утомляет Октава — он много раз слышал те же самые рассказы, только с более резкими характеристиками, от своей матери Ирене. «Решится ли Зоэ сама упомянуть Ремо?» — спрашивает он себя. Но нет, как он и

ожидал, она от этого воздерживается. Они возвращаются в замок. Теперь тетя Зоэ описывает Полеона, кота, который был у четырех сестер; она растроганно вспоминает, как сестры каждый год разбивали копилку, чтобы с ног до головы одеть маленькую нищенку из Сюарле. У входа в дом Зоэ благодарит племянника — ей было так приятно с ним поговорить. Она предлагает Октаву перекусить, он соглашается. А немного погодя идет попрощаться с дядей.

Но на сей раз Луи Труа уже даже не пытается приподняться с подушек. Он только долго сжимает руку племянника в своей, и Октаву кажется, что это пожатие вобрало в себя все — были произнесены какие-то слова или нет, значения не имеет. И Октав пускается в обратный путь в Акоз.

Дорога та же, по которой он проезжал утром, но холодный ветреный вечер словно бы изменил пейзаж. Деревья, еще недавно такие прекрасные в своем золотом уборе, стали похожи на нищих: северный ветер, ставший теперь порывистым, срывает с них последние лохмотья. Тень облаков легла на потемневшие поля. Ремо снова едет рядом с братом, но теперь это уже не прекрасный надгробный Гермес с улыбкой на бледных устах, каким он был нынешним утром, а окровавленный призрак немецких баллад. Можно подумать, что агония дяди вдруг сразу вернула Октава к той другой агонии, и перед ним вновь возникают последние минуты брата, такие, как ему описывали слуги. Случилось это в Льеже, в доме, расположенном на окраине города, у набережной; с балкона открывался вид на прекрасные волнистые холмы. На столе в гостиной стояла безделушка, привезенная Ремо из Германии, усовершенствованная музыкальная шкатулка, которая очень точно воспроизводила одну из любимых мелодий молодого человека — отрывок из «Тангейзера». В то утро, вернувшись после долгой прогулки, Ремо тщательно завел шкатулку, потом перешел в спальню, находившуюся рядом, оставив открытой дверь, чтобы не пропустить ни одной из череды изысканных нот. А немного погодя все звуки перекрыл страшный грохот взрыва. Прибежавшие слуги увидели окровавленного хозяина: он стоял перед зеркалом и, опираясь на него, наблюдал, как краска сходит с его лица. Пуля попала в сердце: Ремо рухнул прежде, чем умолкли последние ноты мелодии.

Октав видит в Ремо мученика. Какое горе раздавило это молодое существо, наделенное всем, упоенное путешествиями и книгами, достигшее такой степени свободы, какая оказалась недоступной Октаву, эту «*лучезарную душу*», которую Октав молчаливо сравнивает со своей несколько сумрачной душой? «*Горе, которое испытывают все великие души, поранившиеся о*

грани этого злосчастного мира». Негодование и жалость с ранних лет разрывали душу Ремо. Студент, учившийся в университетах Веймара и Иены, почитатель Фихте и Гегеля, запоем читавший Дарвина, Огюста Конта и Прудона, пылкий подросток, часами рассуждавший с молодым приятелем-врачом об индийских философах и о Сведенборге, увлекался также и Шопенгауэром. «*Я превратился просто в живую мысль*», — говорил он сам, вспоминая свое короткое прошлое. «*Я казался себе путешественником, который взбирается на крутую гору. Оглядываясь, я ей дел безбрежное море слез, пролитых несчастными, которых уже нет на свете*». Именно потребность послужить, пока не поздно, тем, кто еще жив, ввергла Ремо в политику. С самого детства он с жаром принял сторону униженных и оскорбленных. Начав путешествовать, он в отличие от многих стремился не к тому, чтобы выжать из увиденного всю возможную красоту, насладиться пейзажами и людьми в ожидании очередного дилижанса или очередной переправы. В Африке улыбчивый Алжир и величественные пирамиды поразили его меньше, чем ужасы рабства. В Акозе его комнату украшали портреты Уилберфорса3 и Линкольна. В Италии, где Октав опьянялся жизнью и, в особенности, мечтами, унижение средиземноморских районов, страх и хитрость, читавшиеся на лицах обитателей этой «*Земли, распаханной, как поле*», жадная свора нищих, все это загнивание в промежутке между битвами в Аспромонте и в Ментане4, оказались для Ремо важнее того, что вообще было ему так дорого, — важнее поисков мест и пейзажей, описанных Вергилием. «*Мне кажется, ты увидел Землю, распаханную, как поле, только под поэтическим углом зрения, —* строго выговаривал он своему брату, *— и единственным гидом избрал автора «Георгик»5. Тацит послужил бы тебе лучшим проводником*». В этом солнечном краю «*лучезарно все, кроме человека*»

В Греции, куда он отправился, как в Святую землю, Ремо встретил героев Плутарха и участников борьбы за независимость, описанием подвигов которых он когда-то упивался под деревьями Акоза. Однако в лице хозяина баркаса, от которого зависело отправление правосудия, но который сам занимался пиратским промыслом, хотя в свою очередь побаивался бандита в стоящем на отшибе трактире одного из Кикладских островов, Ремо познакомился уже не только с тем, что сохранилось от героев и богов, но и с неистребимым средиземноморским сбродом. Вернувшись в родную страну, он разоблачал эксплуататоров «*ада, созданного руками людей*», тех, кто использует детский труд, «*протестуя против обязательного обучения, но ни словом не*

осуждая обязательную войну». Потом, но только потом, Октав понял, что «*мстительная ненависть*», которую Ремо питал отныне к миру, рождалась «*из его неуемной жажды справедливости»,* была *«оборотной стороной пламенной любви*».

Октав вспоминает дни, когда он с особенной силой почувствовал, как полыхает это темное пламя. Дело было в Париже, где двое братьев встретились вновь. Ремо не очень любил «*этот огромный роскошный город*», в котором подолгу живал. Ему случалось, однако, с наслаждением погружаться, как в волны, в парижскую круговерть, но вскоре шум и толпа становились для него невыносимы, и только возможность услышать хорошую музыку примиряла его с жизнью в этом городе. К тому времени его уже покорил Вагнер; в ранней юности Ремо входил в маленькую группу тех, кто защищал автора «Тангейзера»: члены «Жокей-клуба» сговорились освистать композитора, запасшись для этой благородной цели серебряными свистками, на которых было вытеснено название ненавистной оперы. *«Оркестровые фрагменты навевают скуку, арии выводят из себя». «Быть французом и не смеяться просто невозможно»*. Меднолобая тупость... В своей квартире на улице Матюрен-Сен-Жак возле галло-римских развалин — Октав охотно поверил, что это развалины дворца Юлиана Отступника — пылкий студент Ремо, испещрял пометками любимые партитуры, прежде чем у него появлялась редкая возможность услышать произведения Маэстро. Мелодия из «Тангейзера» снова, в который раз стучится в мозг Октава. Но Ремо, вспоминает он, вырвал из своего сердца страсть, которую считал «предметом роскоши». «*Разве ты не знаешь*, — с укоризной говорил он брату, — *какую жертву я принес, отвернувшись от поэзии и искусства?.. Иногда я пытаюсь утешиться созерцанием прекрасного, но это созерцание пронизывает меня горькой болью; я ношу ее в себе, пока она не разрешается слезами*».

1869 год... Август 1869 года... Еще двое среди приезжих чужестранцев бредут, почти ничего не замечая вокруг, по набережным и мимо колоннады Лувра, а потом под деревьями Тюильри, пока еще заслоненными зданием дворца, который вскоре сгорит дотла. Они с головой ушли в один из тех нескончаемых метафизических споров, которые оставляют после себя иссушенный мозг и угасший пыл. Эти двое валлонцев, затерянные в большом городе, поневоле вписываются в тот вечный Париж, который непрерывно обновляется, начиная с времен средневековых интеллектуалов, дискутировавших об универсалиях6 (а отсюда рукой подать и до Давида Динантского, кричащего в пламени костра), и до сегодняшних молодых людей,

обменивающихся соображениями о Хайдеггере или о Мао; они получили временные права гражданства в городе, где идейные споры, быть может велись чаще, чем в каком бы то ни было другом месте.

Зато Париж, который больше на виду, — Париж Паивы7, Ортанс Шнайдер8 и громогласной Терезы9, пресвятой троицы тротуара, оперетты и кабаре, наоборот, им чужд, как чужды роскошества переживающей эйфорию Второй империи. Братья доходят до ярко освещенных и еще голубых в догорающем свете летних сумерек Елисейских полей, где прогуливается или ест мороженое толпа, которую всего несколько месяцев отделяют от унижения Седана и осадного паштета из крыс, Октав, желающий, быть может, успокоить мятущуюся юную душу, старается привлечь внимание Ремо к атмосфере счастья, которая царит вокруг, к смеси живости и легкости, слитых здесь воедино как нигде в мире — ко всем этим благам цивилизации на хорошо смазанных рессорах, как бы подернутой изысканной патиной, ко всем благам, которые, собственно, и составляют сладость жизни. Ремо качает головой. Он воспринимает это счастье только как бесстыдство и трусливую инерцию, которые ничего не желают знать о горестях мира и не хотят предвидеть неизбежное завтра. Он обращает внимание старшего брата на наглый или дурацкий вид какого-нибудь незнакомца, потягивающего свой абсент или кафе-глясе, на злобу, таящуюся в некоторых милых улыбках, на то, как ничтожны эти люди, которые обо всем судят по внешнему облику и, в зависимости от обстоятельств, или надуваются от спеси, или изо всех сил пытаются скрыть, кто они такие на самом деле. И вдруг Октав видит, как Ремо провожает дружелюбным взглядом промелькнувшего в толпе случайного прохожего, хмурого, несчастного и ободранного — этот грязный и бедный представитель богемы в глазах Ремо куда ближе к действительности, чем все самодовольные буржуа.

«*Чтобы жить, мне надо чувствовать себя полезным*». Понимая, что из-за его слишком либеральных воззрений ни одна из существующих газет не станет печатать его статьи, Ремо при поддержке товарища по борьбе основал в Бельгии еженедельник «*для защиты народного дела*». «*Погибнуть не прежде, чем сделаешь все, что в твоих силах, чтобы уменьшить страдания человечества...*» Само собой, Ремо становится мишенью грубых насмешек. Лицемеры, которых никогда не волновали чужие беды, где бы они ни случались, и которые взвились бы на дыбы, если бы какая-нибудь реформа стала угрожать их интересам в Эно, упрекают Ремо за то, что он принимает близко к сердцу судьбу жи¬телей Карибского побережья или кафров вместо того, чтобы

полностью отдаться местным делам. «*Душа наша достаточно обширна, чтобы вместить в себя весь мир обездоленных, как черных, так и белых; а наш разум достаточно пытлив, чтобы искать способа им помочь*», — возражает им жаждущий действия молодой идеалист. Из той же потребности служить людям Ремо стал одним из основателей «Лиги мира», маленькой изолированной и немного смешной группы, которая пытается удержать от войны Европу 1869 года, уже соскальзывающую к ней по накатанному склону. Ни лукавый Пьемонт Кавура, ни Франция, попавшая в ловушку собственной политики престижа, ни Пруссия с ее бисмарковским кулаком не прислушиваются к голосу этой кучки чудаков. Жертвуя на общее дело часть отцовского наследства, Ремо заказывает переводы пацифистских манифестов, печатает их на свой счет в тысячах экземпляров и распространяет во время своих путешествий. Пустая трата сил. Установление либеральной Империи на мгновение пробуждает надежду, а триумфальная победа на выборах друга Ремо, республиканца Банселя, изгнанного 2 декабря, вызывает короткую вспышку радости. Но тем более трагична последовавшая за этим катастрофа 1870 года и тем более чудовищен кошмар: двести тысяч убитых, оставшихся на полях сражений.

Молодой человек краснеет от стыда за тех бельгийцев, что когда-то осуждали жестокость пруссаков, а теперь готовы, если не содействовать их победе, то уж во всяком случае оправдывать победителей. Ранняя смерть скончавшегося зимой Грозного года Банселя, силы которого истощила «*жизнь оппозиционера и борца*», отняла у Ремо одного из немногих людей, на которых он мог опереться. А в мае 1871 года расстрелян Гюстав Флуранс10, молодой, но уже знаменитый биолог, которого в двадцать семь лет лишили кафедры во Французском Коллеже за атеизм и оскорбление императорской власти. С Гюставом совершил когда-то Ремо поездку из Бухареста в Константинополь, откуда пламенный молодой француз отправился на Крит, чтобы бороться на стороне местных повстанцев. Не без зависти думает Октав о том, какие пылкие разговоры вели между собой два товарища по путешествию. Назначенный начальником оборонительных сооружений, Гюстав был расстрелян версальцами на пороге трактира в Шату, когда он пытался прикрыть отступление федератов. Ремо тем более страдал от этой гибели, что не знал, реабилитируют ли когда-нибудь человека, с которым они на какой-то короткий миг загорелись общей надеждой. Никто из членов семьи Ремо не понимает этих пагубных подрывных идей и не желает даже слышать о них. «*Связь между родными и тобой*, —

печально шепчет Октав, — *была разорвана. Они считали тебя бунтарем, хотя тобой владело благородное негодование, считали, что ты беспощаден, хотя ты просто отказывался свернуть с узкой тропинки справедливости*». Да и сам Ремо, опережая запоздалые мысли брата, замечал: «*Словно тучи мух, слетающихся к телу раненого, сыплются на меня злые слова*». Он, однако, не сдается, решает основать журнал, который сменит провалившийся еженедельник, пишет для провинциальных газет некрологи, посвященные умершим друзьям. Сдержанный свидетель этой одинокой борьбы, приводящей на память борьбу, которую в ту же пору ибсеновский Пер Гюнт вел с Великой Кривой, Октав про себя резюмирует состояние, к какому пришел его младший брат: «*Лучше смерть, чем крах предпринятых усилий*».

Впрочем, в последний год своей жизни Ремо занимался и тем, что не вызывало такого осуждения, — философией, естественными науками, которые он начал изучать еще в Иене. Но и в этих занятиях таилась опасность. Интересуясь жизнью растений, Ремо обращался к скандальному дарвинизму; читатель Гегеля и Шопенгауэра уже не походил на подростка, который молился в акозской часовне и благочестиво причащался в Сен-Жермен-л'Осерруа. Октав и госпожа Ирене, люди начитанные, сразу почуяли, что к ним прокралась беспокойная тень Отступника, склонившегося над своими книгами. Утрата веры — это не только духовная катастрофа, это социальное преступление, извращенный бунт против традиций, впитанных с колыбели. «*Тем, кто окружал это существо, снедаемое самой благородной страстью, не следовало навязывать ему свою мудрость. Своими советами и упреками они доводили до отчаяния эту нервную натуру, а ее следовало успокоить; они понапрасну раздражали эту страждущую душу, указывая ей на ее заблуждения; Ремо сильнее чувствовал свое несчастье, потому что они демонстрировали ему незыблемость своих суждений*». «*Если я могу себя в чем-то упрекнуть*, — довольно невнятно продолжает Октав, как всегда обвиняющий и тут же оправдывающий себя, — *так это в том, что пытался оспорить его доводы; а мне надо было искать путь к его сердцу, чтобы его ободрить. Он надеялся, что в своей социальной борьбе сможет опереться на меня... Его охватило глубокое горе, когда он заметил, что я покидаю его из страха перед его новыми теориями, поскольку по своему характеру я не способен к смелым поступкам, исход которых для меня неясен*».

До конца отдавая дань конформизму, старший брат уверяет себя, что в душе Ремо непременно произошел бы переворот, если бы он «*встретил благочестивую особу, которую можно было бы уважать и в то же время нежно любить*». Такие чувства сам

Октав, смиренно сознающий собственные слабости, уже не надеялся внушить своему пылкому брату. Их мать также наверняка ему их не внушала. Не будучи в должной мере философом или не смея им быть, Октав не понимает, как глубоко пустила корни в душе Ремо драма идей, он видит только некий внутренний разлад, который могут уврачевать более нежные семейные заботы. Материалистические теории и радикальные утопии молодого человека остаются для благомыслящей матери и осторожного старшего брата симптомами болезни, которую они не сумели излечить. Сколько раз в течение прошедших с тех пор лет Октав и госпожа Ирене перебирали в памяти одни и те же эпизоды, спрашивая себя, что надлежало сделать, чтобы спасти Ремо, вернув его на путь истинный, Правда, время от времени «*лучезарная душа*» приоткрывала перед Октавом источник ослепительного света, струящегося с другого горизонта. «*Он увидел новое звено в цепи, которая связывает в бесконечном единстве все живые существа. («Quis est Deus? Mens Universi», —* повторял за шестьсот лет до этого горевший в пламени костра Давид Динантский). И старший брат, предчувствуя самое худшее, выслушивал признания, в которых иногда проявлялось ясновидение младшего: «*Когда я перестаю ощущать свое «я», иными словами, когда я перестаю существовать, я испытываю истинное удовлетворение. Но эти мгновения радости похожи на вспышки молний; в их свете только еще заметнее мрак моего повседневного существования*». Этот безличный мистицизм остается непонятным для Октава, которого поддерживает или, вернее, убаюкивает его католицизм романтического толка. Это в свою очередь раздражает Ремо, живущего уже в других мирах: «*Ты воображаешь, будто воспаряешь в небо на крыльях красоты, а на деле ты, скорее всего, погружен в тлетворные пары своего идеализма*». Братья по-прежнему переписываются, но за время двух коротких пребываний Ремо в уединенном домике, который он построил себе в фамильном поместье, он не подает о себе вестей. Умный и боязливый старший брат принял сторону осуждающих родственников. Ремо в одиночестве продолжает сражаться с грозными ангелами. «*Он не получил поддержки ни от людей, ни от Бога*».

На этой мысли Октав вдруг запнулся — в нем опять начинается душевная борьба: да, именно так он пытается представить дело в своей книге... Водрузить на могиле брата маленькую беломраморную стеллу... Могила Ремо... Но не затемнило ли уже смысл эпитафии то самое лицемерие, бороться с которым до последнего дыхания Ремо считал своим долгом? На первой же странице формула «*роковой несчастный случай*»... И

дальше — «*оружие, заряженное без его ведома...*» Само собой, искушенному эрудиту Октаву известно, что на старомодном французском языке всякое трагическое происшествие, не только шальной выстрел, можно деликатно поименовать «несчастным случаем». Г-жа Ирене, хотя она и сочинила несколько очерков о женщинах Великого столетия, не станет придираться и сочтет, что ее Октав придерживается того, что стало семейным символом веры: Ремо погиб, потому что взял в руки револьвер, не подозревая, что он заряжен, и по рассеянности направил его себе в грудь. И, конечно, слова «*оружие, заряженное без его ведома*» повторяют, на сей раз с большей определенностью, благочестивую ложь. Но можно ли поверить, что молодой человек, влюбленный в Вагнера, завел дорогую и хрупкую музыкальную игрушку, которую привез из Германии, чтобы вслед за этим сразу же перейти в соседнюю комнату и начать наводить там порядок? Быть может, Октав упрекает себя, что написал нелепую фразу, которую он однако не вычеркнет: «*Внимая мелодиям, уносившим его в мир духов, он забыл, что держит в руках страшное оружие*». Не точнее ли было бы сказать, что его брат, так любивший музыку, хотел переступить последний предел под аккомпанемент «*странных и печальных звуков*»? Разве тот Ремо, который, опершись о зеркало, следил за тем, как он сам умирает, тот молодой эрудит, тоже до конца приверженный латыни, который встретил соседа, вызванного перепуганными слугами, меланхолическим вергилиевым: «*En morior!*» Здесь: [«Ну же, смерть!» (лат.)] и с этим отдал последний вздох, выказал хоть малейший признак того, что он потрясен и напуган и еще надеется, что ему окажут помощь, физическую или духовную? Бесспорно, нет... И однако Ремо перед этим сообщил родным, что собирается пробыть у них несколько дней... Как совместить самоубийство с этим его планом, который свидетельствовал о сближении с семьей, может быть, о перемене во взглядах? Что-то в самой глубине души Октава нашептывает ему, что именно ожидание упреков и привычных споров могло ускорить поступок, к которому все склоняло Ремо, и что «*порыв раскаяния*», который он приписывает умирающему, «*сброшенному в бездну*», также ни на чем не основанная гипотеза.

Ремо не оставил никакой прощальной записки, но каждая из пылких бесед, которые братья вели с глазу на глаз, каждая строчка письма молодого человека вопияла о его отвращении к жизни. «*Ты плохо меня знаешь, Козимо... Весь накопленный в течение моей жизни багаж никчемен, если ты, наперсник моих трудов, его не ценишь. Ты обвиняешь меня в материализме — уж не потому ли, что я хочу жить одной только духовной жизнью? И*

в мизантропии — не потому ли, что каждый раз, оказавшись среди обласканных этим миром, я признаю справедливость библейского выражения «гробы повапленные»? Некоторое время тому назад я просил у тебя совета, поддержки. При воспоминании о прошлом моя мука оживает, теперь я пытаюсь доказать, что мои взгляды справедливее твоих; при этом я обнажаю перед тобой свою душу, ты можешь уврачевать ее раны или поразить ее новыми стрелами... Я смирился. Сколько раз, бывало, пробродив в раздумьях целый день, я возвращался к себе в комнату, не находя там ни малейшего утешения. И все же я ни о чем не жалею! Если бы мне пришлось повторить мою юность, я снова прожил бы ее так, как прожил, — я не считаю, что о ней надо сокрушаться. Конечно, определить, чего я стою, можно лишь мерой выпавших мне страданий. Трудно, признаюсь, все время созерцать «темную ясность созвездий». Жестоко умереть непонятым».

Не отнимает ли Октав у этой пламенной, уходящей во тьму траектории всю ее красоту, когда лишает Ремо последнего волеизъявления, подменяя его неловкостью, концом, достойным хроники происшествий? Не предает ли он таким образом брата окончательно и жестоко? И не портит ли тем самым собственное произведение, утрачивающее смысл, который автор хотел в него вложить? Октав так тщательно отбирал цитаты, события, формулировки, способные показать этот путь к миру сумерек: «*Ремо недооценивал жизнь, предъявляя к ней слишком большие требования*»; «*Его душа утратила вкус к бытию*»; «*Лучше смерть, чем крах предпринятых усилий*»... Вот именно: Октав сказал все, имеющий уши да слышит. «Самоубийство» — слово в его кругу непристойное. Издавна привыкший прибегать к литотам, к ораторским оговоркам, писатель в душе Октава успокаивается, полагая, что два-три исправления, к которым его обязывают соображения приличия, ничто в сравнении с этой долгой элегией во славу героической души... Да и по какому праву станет он противоречить носящей траур матери, которая не вынесет мысли, что ее сын, предмет стольких тревог, умер в смертном грехе? Октав думает о том, как много значило для него бдение над засыпанным цветами и окруженным свечами телом усопшего в часовне Акоза среди молящихся доминиканок, в то время как «*деревня, погруженная в полнившееся слухами молчание, обсуждала трагическое событие, которое каждый толковал на свой лад*». Это горестное счастье, эта своего рода прилюдная реабилитация блудного в духовном смысле сына была бы невозможна, если бы семья не отвергла предположения о его добровольном уходе из жизни. Не в характере Октава противоречить общественному мнению и уж тем более стараться

поколебать благочестивые и трогательные иллюзии родных. Впрочем, куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, разве ты не наталкиваешься повсюду на истины, которые приходится замалчивать или хотя бы высказывать осторожно и шепотом и которые было бы преступно не уметь хранить про себя? Октав успокаивается. Такой справедливый человек, как дядя Луи Труа, поступил бы точно так же.

Настала ночь, навалилась усталость, но одно то, что он оказался теперь на своей земле, в своих лесах, успокаивает этого человека-дриаду, которому милее всего на свете густая бархатистость мха и ползучая красота корней. Замок Акоз, вклиненный в семейные владения, был куплен матерью Октава, которая сделала его пригодным для жилья всего лет двадцать назад, но в этих высоких лесах, пересеченных болотистыми равнинами, Октав всегда играл в детстве и мечтал в пору своей меланхолической юности. Потом настало время прекрасных грез — путешествий по Италии, но все равно здешние места — самые любимые. «*Какой жалкой кажется мне земля юга!.. Я люблю гущину, сырость, полумрак могучего леса; бронзовеющие скользкие тропинки, причудливые формы груздей и сморчков, ручеек, вьющийся вокруг какого-нибудь корня, ворон, дерущихся между собой на вершинах дубов, нетерпеливость зеленого дятла, вопрошающего трухлявую кору, и все невнятные крики, оглашающие безлюдье...*» Именно здесь подростком, одержимым страстью, предмета которой Октав не описал и не назвал, вырезал он на древесных стволах инициалы любимого имени; именно здесь уединялся со своими книгами, самостоятельно продолжая учение, когда ему стало невмоготу в многолюдном городе, куда его послали завершать образование. Здесь он видел, как подрастает Ремо; на этих тропинках объяснял брату, как называются те или иные деревья и растения. Мальчику было одиннадцать, а ему самому двадцать два, когда умер отец, о котором у него сохранились не одни только добрые воспоминания. Для Бенжамена Пирме «*охота заполняла пустоту праздного существования. Он держал свору и, бывало, приходилось уничтожать новорожденных щенят. Бедняжку Ремо охватывало тогда страшное волнение: ему хотелось вырвать у смерти приговоренных малышей. Взяв их потихоньку от взрослых, он давал им клички и убегал с ними в лесные заросли, где прятал щенят в заранее выкопанные норки. Как он горевал, когда его хитрость обнаруживалась! Тут были вопли отчаяния, неутешные слезы... А потом он тайком составлял отчет о злосчастной судьбе своих маленьких питомцев, описывал их масть и свойства, которыми их наделяло его юное воображение. Эти трогательные в*

своей наивности рукописи, которые Ремо озаглавил «О горькой доле моих любимых собак», я обнаружил под каким-то шкафом».

Октав слишком начитан в классике, чтобы не представлять себя — а он был в ту пору красавцем, — в образе Гермеса, несущего на руках младенца Диониса. Когда же время и ранняя зрелость Ремо почти стерли разницу в возрасте между братьями, именно здесь, в этих лесах, они самозабвенно читали вдвоем своих любимых поэтов и философов; в их книгах выискали они имена, которыми стали называть друг друга, — юношам казалось, что эти прозвища лучше выражают их подлинное «я», чем имена, данные им при крещении. Таким образом Фернан навсегда превратился в Ремо; он назывался также Аргирос, Славой. Октав именовал себя Козимо, Забой, а чаще всего Эрибер. Выкопав из земли на одной из опушек бронзовые мечи, шлемы и заржавленные фрамы, смешанные с безымянными костями, они вновь благоговейно перезахоронили мертвецов этого варварского кладбища, где, может быть, покоились и их предки. Иногда у холма, где в Средние века была сожжена ведьма, Ремо произносил пылкие речи против фанатизма, не соглашаясь с тем, что невежество, в котором прозябали минувшие века, может служить извинением такого рода преступлениям, ведь во все времена находились здравые, сострадательные люди, которых эти преступления возмущали; Ремо сравнивал жестокость ханжей с жестокостью фанатиков-якобинцев в 1793 году. Октав старался прервать эти речи: г-жа Ирене усмотрела бы в них одно только бесстыдство разнузданной мысли.

Позднее, всего три года и один месяц тому назад, ветреным днем, когда вокруг Октава на землю струились «*блеклые потоки листвы*», именно сюда принес ему деревенский мальчонка ужасную телеграмму: «*Приезжайте немедленно. Страшное несчастье*». Октав бросился к конюшне седлать лошадь, потом во весь опор поскакал к ближайшей станции Шателино, где в продолжение трех мучительных часов ожидал поезда, уже все угадав, боясь, что Ремо не убил, а покалечил себя... Несколько дней спустя при зыбком свете смоляных факелов именно по этим аллеям проехал траурный кортеж... Но хотя Октав уверен, что эти воспоминания будут сопровождать его до самой могилы, их уже стирают наслоившиеся на них впечатления от постоянных утренних прогулок с собаками, от ночных хождений по тропинкам, которые он знает так хорошо, что не боится бродить по ним даже безлунными ночами. А в солнечные или подернутые легким туманом дни судьба еще радует его возможностью именно здесь блуждать вместе с юным Жозе, сыном богатого соседа-помещика, по отношению к которому он любит разыгрывать роль

старшего брата. Но главное, именно здесь он может быть один.

Ветер, который нахлестывал путешественника, пока он ехал по дороге, стих под деревьями, почти давящими своей неподвижностью. Но наверху трещат и, как железные, скрежещут ветки; верхушки гнутся под ветром, который прилетел сюда с востока через весь континент и в нескольких лье, на самом краю Европы ерошит песчаные дюны и вспенивает волны. В подобные ночи тот самый Бенжамен Пирме, чьи отвратительные черты только что вспоминал Октав, говорил с какой-то даже боязливой набожностью: «Сейчас на море тонут корабли». И надолго замолкал. Но умирают не только на море. Октав, вероятно, от отца унаследовавший способность сострадать на расстоянии, думает о том, что Луи Труа весь в поту провел на своей кровати еще несколько часов агонии; а где-то в хижинах Шатолино или Жерпина под дешевыми ветхими одеялами маются другие, не такие состоятельные умирающие. Сквозь прогалину в лесной чаще пробивается красноватый отблеск — это доменные печи, которые, быть может, однажды пожрут весь здешний лес. Когда здесь уже не будет, чтобы их защитить, бедного бессильного прохожего, каким чувствует себя Октав, эта почва, устланная миллиардами живых существ, которые мы называем травой и мхом, будет разъедена, покроется фабричными отходами. Зеленые божества, мощно вросшие в перегной, из которого они черпают свою силу, не могут, подобно животным или людям, бороться или бежать; они беззащитны против топора или пилы. Октаву кажется, что в тени вокруг него теснится толпа осужденных.

Этот человек, не обольщающийся блеском и роскошеством времен года, помнит, что осень, когда обнажившиеся деревья больше не дают приюта животным, это сезон гибели, а зима — сезон голода. Октав думает о пушных зверях, на которых налетает ястреб, о мышах, вгрызающихся в жесткие корни. Как знать, не побывали ли уже здесь мародеры, воспользовавшиеся его однодневной отлучкой? Под кучами этой палой, хрусткой от первых заморозков листвы, быть может, в зубцах капкана агонизирует какой-нибудь зверь, а к этому пню привязан силок... Лесник, конечно, ушел в деревню играть в шары. В это время года отдаленный выстрел не насторожит никого... Как поступит Октав, если встретит бродягу, осторожно волокущего под покровом темноты лань с окровавленными губами? Октав вспоминает вдруг, что, вопреки обыкновению, не вооружен. Гложущая тревога, которая им овладела, вызвана не столько физическим страхом, сколько своего рода мистическим ужасом перед насилием — этот голос говорит в нем так громко, что подавляет

наследственный инстинкт охотника, которому он теперь редко поддается; в нем ненависть не столько собственника к браконьерству, сколько служителя храма к осквернителю святыни. Октав опускает поводья, предоставляя лошади, которая сама знает дорогу, свободно трусить к теплой конюшне.

На повороте аллеи черный на черном фоне выступает замок, погруженный в темноту, словно обитатели внезапно его покинули. Только желтоватый отблеск огонька из подсобного помещения возле кухни подрагивает на воде, которой наполнены рвы. Слышится лай — в нем звучит радостная нота, как всегда при возвращении хозяина. На грудь спешившемуся Октаву волной накатывает белоснежный сенбернар; вокруг толкутся, подавая голос, и другие собаки. Октав успокаивает их одним словом, опасаясь, как бы их шумливый восторг не обеспокоил мать. Да, госпожа отдыхает; она весь день не выходила из комнаты и просит, чтобы мсье подождал до утра с рассказом о своей поездке в Ла Пастюр; г-н Эмиль пожелал откушать наверху со своей супругой, которая, впрочем, чувствует себя лучше. Октав ужинает в одиночестве на краю большого стола, у его ног лежат собаки.

Октав вовсе не прочь на несколько часов сохранить про себя многообразные впечатления дня — он знает, что когда он поделится ими с матерью и братом, они сведутся к отчету о том, что он нанес положенный визит больному родственнику и тетя Зоэ рассказала ему, как тот исполнил последний долг христианина. Почему все, что занимает и волнует нашу душу, питает ее порывы и пламень, почти неизбежно исчезает в беседах с близкими? По мнению семьи и духовного наставника, г-жа Ирене всегда была прекрасной матерью. В своей среде она считается блестяще образованной женщиной. Разве ей не принадлежат несколько сочинений, в том числе замечательный очерк о мадемуазель де Монпансье12, в духе произведений современниц той эпохи (упоминая эти произведения, Сент-Бёв13 неизменно отмечает, что они написаны изящным пером)? Разве она не составляет в назидательных целях сборник, в котором будут описаны прекрасные последние минуты добродетельных знаменитостей и для контраста агонии некоторых нечестивцев, от которых пробирает дрожь? Разве не ведет она дневник собственной духовной жизни, который дает просмотреть своему Октаву, чтобы он выправил небольшие стилистические погрешности? На стороне г-жи Ирене Бог, традиция, принципы, изысканная наука о том, как следует и как не следует поступать; это она в значительной мере начертала образ Октава, которому он старается соответствовать. Мать с сыном уважают друг друга. Она гордится писателем, всегда как бы прячущимся в

меланхолическую тень, писателем, чьи книги выражают одни только добрые чувства. Ремо, рано вырвавшийся из семейного круга, ускользнул от ее влияния; без сомнения, младший брат плохо кончил именно потому, что не получал постоянно материнских советов, Октав это признает. Путешествия самого Октава были менее дерзкими, и если ему еще и теперь случается куда-нибудь уехать, он старается поскорее вернуться домой, чтобы надолго не оставлять в одиночестве мать, которая всегда недомогает и переживет его на одиннадцать лет. Что до Эмиля, второго по старшинству из трех братьев, светского «толстяка-колибри», он почти постоянно живет или в Брюсселе, или в своем собственном замке Анзинель, и Октав его очень любит.

Октав поднимается к себе. Лампа в его руке еще не успела осветить комнату, но ее стены уже розовеют от огня, разгоняющего промозглость октябрьского вечернего воздуха. Октав садится у камина, бросает в него одну за другой сосновые шишки, которые сам набрал в большую корзину на одной из аллей во время очередной одинокой прогулки, и смотрит, как плещется и пляшет пламя. Этот прямоугольник, обрамленный кирпичом и мрамором, принадлежит стихии огня, и Октав, большой почитатель «Зеркала совершенства», думает о Святом Франциске14, который из нежного почтения к огню не позволял разбрасывать еще горящие поленья. От высоких окон, хотя они заперты и задернуты красными занавесями, тянет сквозняком. Еще одно окно, внутреннее, выходит в часовню; Октав не раз говорил себе, что со смертного одра сможет слушать божественную литургию. Но часовни открывают путь не только на небеса. В противовес ангелам здесь присутствуют духи беспокойства: на какое-то время Сведенборг берет верх над Франциском Ассизским. Октав заглядывает в колодец, освещенный снизу одной лампадой, потом почти суеверно задергивает занавеску, возвращая комнате ее человеческий уют. Как когда-то в Льеже Ремо, он на мгновение опирается о каминную полку и, приблизив лицо к зеркалу, рассматривает свое отражение — красивое, пожалуй, даже слишком, лицо молодого, разве чуть-чуть постаревшего человека.

Ему сорок три года и, в отличие от Луи Труа, он не из породы тех, кто доживает до семидесяти. При мысли о краткости времени, которое ему осталось, Октав особенно остро осознает тщету своего существования, не стоящего затрачиваемых усилий. Но не надо падать духом! Его книга, посвященная Ремо, станет лишь преамбулой — он издаст рукописи покойного, и это будет единственным долгом, исполненным им в жизни, которую в остальном он сам считает эгоистичной. Брат в могиле ждет от

него этой услуги. Надо приступить к делу нынче же вечером. Но спор, происходивший в душе Октава по пути к дому, возобновляется с новой силой. «*Нет! Как поверенный мыслей Ремо, я не стану предавать огласке все его скорбные думы: они могли бы быть обнародованы только в том случае, если бы усилия Ремо увенчались успехом*»... Довольно будет нескольких отрывков, что Октав приводит в своей книге... А впрочем, хорошо ли он знает того Ремо, которого не перестает оплакивать? Октав добросовестно подсчитывает дни, недели, месяцы, которые они провели бок о бок. Из двадцати восьми лет, прожитых братом, совместная жизнь в долине Акоз вобрала всего два года, а путешествовали вдвоем они самое большее шесть месяцев... Но что из того? Воспоминания измеряются их интенсивностью. Как хороши были дневные часы, когда Аргирос и Козимо, Славой и Забой, Ремо и Эрибер сидели под переплетенными ветками двух столетних лип, а вокруг на низкой траве их зеленой классной комнаты были разбросаны тетради и книги... «Труды и дни» Гесиода с их священной простонародностью; озаренные солнцем пейзажи и тела Феокрита; Тибулл, Лукреций, чьего мистического материализма не приемлет Октав, но которому пылко отдается Ремо; Бюффон; «Созерцания» Гюго... Реминисценции жужжат, как когда-то в цветущих ветвях истомленные рои пчел... А тот вечер, когда они случайно встретились на почтовой станции на горной дороге из Генуи... Хотя Ремо нездоровилось, он настоял на том, чтобы брат занял единственное свободное место внутри дилижанса, а сам взобрался на империал, подставив себя секущему ночному дождю... «*Не забуду впечатлений этого ночного путешествия. Нам удавалось перебросить несколькими словами только через дверцу по прибытии на очередную почтовую станцию. Новая упряжка тотчас пускалась галопом, и нас снова обступал сумрачный пейзаж. Нас разделяла перегородка, но нам все равно казалось, что мы рядом, настолько мы были уверены, что наши сердца бьются в унисон*».

И, однако, Октав вынужден признаться — приходит забвение. Дорогие воспоминания блекнут, всплески жалости и горя начинают походить на перемежающуюся невралгию. Октав уже больше не слышит по ночам, как в первые месяцы после гибели брата, «*чистый и жалобный голос*» в соседней комнате. Более того: если говорить правду, разве в молодом бородаче-революционере с высоким, уже лысеющим лбом оставалось что-то от былого нежного Ремо? Прежним был только ласковый взгляд... «*Теперь, бывает, много дней подряд любящая тень ушедшего не появляется перед моими глазами. Я редко смотрю на портреты, висящие в его комнате, редко перечитываю его письма, и,*

оставшись в одиночестве, больше этому не удивляюсь. Когда я пишу, я уже не думаю, одобрит ли он меня, если мне плохо, уже не вспоминаю о том, кто всегда спешил меня утешить; одиноко влекусь я навстречу своей судьбе... Должно ли мне бить себя в грудь? Разве я не мог бы посвятить себя брату, павшему раньше меня и как бы оставшемуся без погребения, поскольку он окружен общественным равнодушием? Мог бы! Но мертвые лишены наших слабостей и не стремятся стать помехой на пути тех, кто их пережил... Да, я люблю моего несчастного брата во всех дорогих мне живых существах, я люблю его и в вас, о мои мимолетные друзья!». Так захлопывается, по крайней мере на этот вечер, гробовая доска над умершим героем.

Дружба, любовь, поиск человека... Любовь не имела для Ремо значения. «*Страсть к единственному существу, быть может, зарубцует страшную рану, нанесенную тебе ледяными лучами науки*», — уговаривал старший младшего. А Ремо в ответ горячо и смиренно: «*Я держусь того мнения, конечно ложного, но глубоко во мне укоренившегося, что мы не должны отдавать свою любовь исключительно одному существу. В такой страсти я усматриваю эгоизм и тиранию: она заставляет нас забывать чувство братства со всем человечеством*». Но Октав познал любовь. «*Жажду почестей я презирал, семейных радостей не вкусил сполна; отчизна не предоставила мне возможности защищать ее; зато что такое любовь, я знаю слишком хорошо!*» «*Сказать ли все? Я восторгался красотой, она внушала мне страх. Довольно бывало одного взгляда, чтобы вся кровь прихлы¬нула к моему сердцу*». Октав мысленно возвращается к своим юным увлечениям, потому что на расстоянии они кажутся ему безмятежными. «*Я любил, как дитя, никогда не любившее... Сколько чувств было излито среди этих деревьев и лужаек... Кто их подхватил? Ветер... Рубите, косите, дровосеки, жнецы, чтобы я мог забыть наивность прошлого, которой стыдится мой нынешний опыт*».

От какого запретного плода вкусил Октав, если речь не об интеллектуальном знании, которым напитался Ремо? В двадцать шесть лет вернувшись из Италии, Октав уже сокрушался о том, что воспоминание о многих прелестных созданиях, на мгновение вызвавших его восторг, увеличивает бремя его сожалений. А к чему он пришел теперь, после сорока? «*Жажда новых открытий, бес приключений влек меня в неведомые края. Я устремлялся то туда, то сюда, раздаривая себя мимолетным существам и образам, все больше страдая, но никогда не сдаваясь... О, моя душа, закроем глаза! Да будем слепы к тому, чего мы не должны видеть, это необходимо, чтобы хоть отчасти вкусить покой в любви... Идя проторенной дорогой, посещая города и хижины, мы встречаем*

тысячи губительных взглядов, привлекающих наше внимание, проникновенных, воспламеняющих нас... Правда, многие из этих прозрачных впечатлений гаснут в нашей беспрестанно атакуемой памяти, но некоторые продолжают в ней жить, по прошествии многих лет еще трепеща всей своей тревожной глубиной. Может, это потому, что мое волнение усугубляется жалостью к ним... Я хотел бы сохранить для них это убежище, не зависящее от течения переменчивых дней... Но как эфемерно пристанище моей любви!» Возвышенная таким образом страсть уже не обязательно должна стать — так по крайней мере надеется Октав — препоной на пути «*к той ангельской жизни внутри телесного существования*», к которой он стремится, хотя знает, что для него она недостижима. Какая все-таки бездна ловушек, тайных подкопов, желаний ведет «*к нашей духовной смерти!*». Октав упрекает собственную душу за то, что она не научилась стареть.

Огонь погас. Зябко кутаясь в халат, поэт присел к столу, чтобы написать письмо Жозе, как он это делает почти ежедневно. Но рассказ о визите к Луи Труа, который по замыслу Октава должен быть благородным и трогательным, неожиданно становится напыщенным: он весьма неуместным образом начинает напоминать описания последних минут добродетельных особ, которые коллекционирует г-жа Ирене. Захочет ли и впрямь Жозе читать подобную проповедь? Дружба этого молодого человека из хорошей семьи, хорошо воспитанного, достаточно образованного — дар, за который поэт благодарит небо. На фамильном гербе его друга начертаны два самых чистых символа, какие только существуют на свете, — крест и лебедь. Жозе почти столько же лет, сколько было Ремо. «*Что нам потребно для того, чтобы вкусить часы глубокой радости? Созерцание искреннего лица, пасторального пейзажа...*» Их встречи в лесу — целомудренная греческая идиллия в тусклом христианском Эно. Подчас они настолько волнуют Октава («*я три ночи мучился бессоницей*»), что, оберегая свой покой и не желая отвлекаться от работы, он решает некоторое время реже встречаться с другом. (*«Будем встречаться мысленно, и пусть наши невидимые ангелы-хранители оберегают нас сообща...»*). Но имеет ли все это значение для Жозе? У него есть семья, молодая жена, с которой он обвенчался в минувшем году и о которой в его письмах нет ни слова, быть может, появился новый друг, которому можно «*излить переизбыток чувствований*». И главное, Жозе — обладатель «*счастливой молодости*».

Октав не без смущения вспоминает, как по всегдашнему обыкновению поэтов шантажировал друга: «*Поверьте, благодаря моим книгам вы будете жить, пока буду жить я сам*». Точно так

же, только в выражениях более проникновенных, обещали своим друзьям бессмертие Шекспир и старик Феогнид. Шекспир имел на то право. Но даже и Феогнид исполнил свое дерзкое обещание, ведь некоторые эрудиты, такие, как Октав, все еще его читают... Но сам Октав, бельгийский дворянин, заносящий на бумагу свои одинокие раздумья? «*Я так ясно вижу, какую крохотную точку на земле мы образуем! Я так хорошо понимаю, сколь ничтожны мы в череде веков! Я рушусь в собственное ничто. И когда вы случайно видите меня в черном фраке, помните, я в полной мере ощущаю, сколь смешно так выряжаться, когда у души нет других крыльев, кроме фалд фрака*». Кто вспомнит об Октаве через сто или даже через пятьдесят лет?

И вот он вытянулся на постели и в воображении рисует себе свою будущую агонию, заранее пытаясь ощутить собственную смерть. Нет, не предсмертные муки, о которых с содроганием думает его мать, не разрушение и гниение плоти, которое пугало и притягивало его во фресках Кампо Санто в Пизе, даже не забвение, предполагающее, что остаются живые, которые могут забыть, но тьму, ничто, всеобъемлющее отсутствие. Случалось, Октав признавался своему юному брату, что боится умереть. «*Чего бояться?* — величаво отвечал Ремо, вообще всегда такой нежный. — *Ты — ничто. Существует один только Бог*». Но Бог Ремо, Октав это знает, уже не прежний Милосердный Господь их деревенской церкви и детских лет; это неразличимое Существо, подобное океану своей бесформенной и зыбкой, инертной и яростной массой, перед которой Октав испытывает только что-то вроде священного изумления. Он не любит Существо с большой буквы, он любит живые существа. Октав вспоминает свои лодочные прогулки на Капри, когда в этом опасном плавании он вверял свою жизнь ловкости маленьких гребцов Марина Гранде. Если бы лодка пошла ко дну, течение в конце концов выбросило бы тела детей и его самого на какой-нибудь островной пляж. Как оплакивали бы своих ребятишек итальянские матери, как молились бы за них... А за него стал ли бы кто-нибудь молиться? Но все равно — дети увлекли бы его душу к Господнему престолу... Пожалуй, с таким концом можно примириться. Но чувствовать смерть рядом с собой под пологом собственной кровати... Зажечь что ли лампу, почитать какого-нибудь философа, поэта, сочинения какого-нибудь Святого?.. Октав все их знает наизусть... Лучше перетерпеть, уподобясь обитателям леса, которые сумрачной зимой не нуждаются в охраняемом собаками доме, в комнате, где есть фортепиано и книги... Ухватиться бы за какую-нибудь мысль, за образ, который не был бы отравлен болью или сомнением... Если Жозе приедет завтра,

как обещал, Октав зажжет в его честь бенгальский огонь на опушке леса, на краю болота... Бенгальский огонь... В охваченном дремотой сознании Октава звучит народная мелодия; приходит воспоминание о прогулке — то ли он совершил ее на самом деле, то ли видел во сне... Со двора трактира, где танцуют юноши и девушки, доносится знакомая музыка... Как печально, пустынно, заброшено все вокруг... Серые сумерки... Там и сям разбросаны одинокие домишки, в стеклах которых изредка блеснет запоздалый косой луч, здесь живут старики, которые не танцуют... Холодно, продрогшие собаки, поджав хвост, бегут за ним по пятам. Нищий старик подбирает валяющийся на дороге кремень — наточить косу... Наточить косу... «*Вот и пришел к концу вечер грез!*».

В воскресенье 31 октября, через неделю после своего последнего визита к Луи Труа, при прозаическом свете дня Октав снова пускается в путь по дороге в Марбе-Ла-Тур. Но теперь у него уже нет нужды задаваться вопросом, будут открыты или заперты ставни на окнах комнаты дяди в Ла Пастюр. Уведомленный письмом Октав знает, что его ждет. В прихожей его встречают те, кого он называет «скорбящей семьей», то есть Зоэ, ее дочь Аликс, муж дочери и двое их детей. Артур не упомянут: возможно, он только что уехал или еще не прибыл из Сюарле. Бувар несет свою службу у постели покойного. Октав полагал, что видел Луи Труа, уже пришедшего к концу своих страданий. Он ошибался — лежащий перед ним покойник за неделю постарел на десять лет. Октав преклоняет колени перед этим расплавленным смертью воском, по его щекам текут слезы. С той простодушной верой, которая непрестанно пробивается в нем из глубин его детства, он возносит небесам благодарность за то, что они сподобили дядю благородно прожить прекрасную жизнь; он благодарит небо и за любовь, которую ему дарил покойный.

Вернувшись в гостиную, как всегда преисполненный добрых чувств к семье, он находит печальную отраду в разговоре с кузиной Аликс и кузеном Жаном. На мальчике и девочке черные пояса и шарфы. Октав, наделенный способностью приручать детей, завязывает беседу с маленьким Марком, умиляясь тем, что мальчик, совсем еще юный, как видно, уже понимает, какую утрату он понес в лице своего деда. Вскоре Октав раскланивается и отбывает в Акоз.

Погребение состоялось 3 ноября. Г-жа Ирене, у которой небольшая температура, на похороны не поехала — она не была в Ла Пастюр с тех самых пор, как после смерти Матильды некоторое время жила там, пытаясь утешить сестру и зятя. Но она

вручает Октаву все акозские хризантемы. Эмиль с женой несомненно приехали в Тюэн прямо из Брюсселя. Во время долгого пути Октав с волнением отмечает необычайно большую толпу — вся округа съехалась на похороны губернатора Труа, что придает траурному дню характер некого торжества. В церкви Октав погружается в созерцание высокого катафалка, на котором, словно тонкая позолоченная оболочка большого насекомого, разложены мундир и ордена покойного. Принц де К., который сменил Луи Труа на его посту, произносит надгробное слово. Одетый в такой же мундир, он сверкает такими же галунами и крестами. Этот контраст навевает Октаву мрачные раздумья, которыми он позднее поделится с Жозе. Pulvis et Umbra [Пыль и тень (лат.)].

На этот раз Октав не взял на себя труда перечислить всех членов семьи, преклонивших колена на молитвенную скамеечку, но Артур почти наверняка присутствовал на отпевании вместе с теми из своих детей, кто по возрасту был в состоянии его сопровождать, и по окончании церемонии принял участие в обильной трапезе, которая по обычаю предлагалась гостям и, впрочем, была необходимой, поскольку многим приглашенным пришлось проделать далекий путь. После benedicite присутствующие священники прочли молитву по дорогому усопшему; теперь такт и хороший тон предписывали держаться в поведении золотой середины, не слишком расслабляясь и веселясь, что было бы естественной человеческой реакцией на заупокойную службу и чему весьма способствовали яства и питье, но и не подчеркивая излишней мрачностью участие в семейной скорби. Принц де К. очевидно рассказал о своем предшественнике какие-нибудь анекдоты, милые, однако чересчур непринужденные, чтобы их можно было включить в речь, произнесенную в церкви. Подавляя горе, которому она даст волю позднее, Зоэ потихоньку отдает распоряжения Бувару — принимая во внимание обстоятельства, он согласился прислуживать за столом. Эмиль, «толстяк-колибри» ностальгически описывает Артуру великолепные балы в Тюильри, где он в черных панталонах и белых чулках когда-то вместе с женой представлялся французскому императору и императрице. Оба собеседника согласны, что при Республике Париж уже никогда не будет настоящим Парижем. Октав обещает юному Марку подарить какого-нибудь из своих ручных животных. Колеса жизни возобновляют свое вращение.

Предшествующие страницы — не что иное, как монтаж. Стремясь к достоверности, я старалась как можно чаще предоставлять слово самому Октаву, заимствуя цитаты из его

собственных книг. Даже там, где я не прибегала к кавычкам, я часто резюмировала высказывания поэта, слишком пространные, чтобы их можно было включить в текст в их подлинном виде. Моими собственными фразами я как бы сметывала текст, при этом пытаясь в какой-то мере следовать ритму Октава. Конечно, мне видны изъяны приема, который концентрирует в одном дне мысли и чувства, пережитые в течение долгих лет. Но именно эти чувства, эти ощущения с таким постоянством выражаются в дошедших до нас произведениях Октава, что нет сомнения — этот человек, отличавшийся почти болезненной склонностью к рефлексии, был ими просто одержим. Одну подробность я бесспорно придумала — нет никаких указаний на то, что 23 октября 1875 года поэт ездил верхом из Акоза в Ла Пастюр. Впрочем, он совершал верхом и более далекие прогулки. Но даже если он проделал этот путь в карете, как позднее проделывал дважды, его дорожные раздумья от этого не стали другими.

Я сознаю, насколько странной выглядит моя затея, которая отдает едва ли не некроманией. Но не призрак Октава вызываю я с почти векового расстояния, а самого Октава, того, кто проживает некий день 23 октября 1875 года, не подозревая, что за ним по пятам всюду следует его «внучатая племянница», которой предстоит родиться двадцать лет спустя после его смерти, но которой в тот день, когда она вздумала пуститься по его следам, исполнилось почти столько, сколько в ту пору было г-же Ирене. Так причудливо отражают жизнь зеркала времени.

Должна признаться, что я далеко не сразу заинтересовалась бледной фигурой «дяди Октава». От первого посещения Акоза у меня остались только те воспоминания, которые нам задним числом внушают взрослые и которые лишь запутывают нас, когда мы потом пытаемся оживить нашу детскую память. В библиотеке моего отца не сохранилось никаких произведений этого родственника Фернанды: их тусклый стиль и торжественная риторика скорее всего его раздражали. В устах Мишеля то немногое, что рассказывала о поэте моя мать, очень любившая в детстве «дядю Октава», свелось почти что ни к чему. В истории двух братьев его больше всего поразили умолчания, которыми была окружена смерть Ремо. Он ими возмущался. Судя по всему, этим возмущалась и Фернанда. Негодование против условностей, соблюдаемых в ту эпоху в той среде, отличало не только таких полубунтарей, какими были мои родители. Много лет спустя я получила большую пачку книг в красивых переплетах, завещанных мне дядей Теобальдом; одна из них, маленький томик в сафьяновом переплете, содержала два неизвестно кем написанных очерка, посвященных Октаву Пирме; к одному из них

я вернусь ниже. Во втором упоминалась смерть Ремо, погибшего в результате несчастного случая. Теобальд вычеркнул слова «несчастный случай», а на полях поставил восклицательный знак.

Во время моего пребывания в Бельгии в 1929 году я навестила в Акозе барона и баронессу П. (семья к этому времени приобрела титул), внучатых племянника и племянницу поэта. Их сын и невестка, молодые, здоровые, красивые, довольные жизнью, помогли родителям показать мне старый дом. Прежняя детская и теперь принадлежала детям; за нами по пятам шла целая их стайка. Я увидела гостиную с роскошными гобеленами XVII века на мифологические сюжеты — здесь Октав читал матери «Жизнь Рансе»16. Лицо Октава на маловыразительном портрете кисти его современника, члена Академии Ван Лериуса, при доброжелательном отношении можно было бы назвать ангельским, если бы не тонкие усики и крохотная мушка под нижней губой, напоминающие о том, что перед нами денди 60-х годов; рука была вандейковской белизны. Посмотрела я и часовню. Зато мне не пришлось увидеть комнату, которой Октав благоговейно вернул тот вид, какой у нее был, когда его брат за шесть лет до своей смерти покинул ее, чтобы уже никогда не возвратиться. Оставшийся в живых собрал в ней портреты и рукописи покойного, гравюры и наброски, привезенные им из путешествий, фисгармонию, которая следовала за Ремо повсюду, куда бы он ни уезжал, и телескоп, который летними вечерами он наставлял на небо. На письменном столе, привезенном из Льежа, Октав в продуманном беспорядке разложил последние читанные Ремо книги, на камин поставил музыкальную шкатулку, замершую на последних нотах гибельной мелодии, часы остановил на мгновении, когда брат ушел из жизни... Странный музей... Октав наверняка разместил под стеклом соболезнования, присланные семье Виктором Гюго и Жюлем Мишле17 после «рокового случая», дань мэтров молодому человеку, восхищавшемуся их произведениями. Но полувековой срок давности и война оправдывают многие перемены и забвения. Если даже эта приманка призраков еще и существовала, никто о ней не упомянул.

Впрочем, в тот день было не до литературы. К обеду ждали принца де Л., который должен был принять участие в стрельбе по голубям. Стрельба происходила посреди парка в неком подобии беседки. Если память мне не изменяет и я не путаю гостя с другими деревенскими соседями, принц, низкорослый и довольно плотный, отличался тем простонародным лукавством, которое свойственно многим принцам. Единственный раз в своей жизни я присутствовала при этом спортивном действе. Прекрасных птиц,

шелковисто муаровых и цвета графита, которых по одной вынимали из корзины, сторож помещал в ящик светлого дерева; гость заряжал ружье; птица, считая себя свободной, взлетала, радостно хлопая крыльями, но, мгновенно сраженная выстрелом, камнем падала замертво или, наоборот, долго билась на земле, пока сторож не приканчивал ее ловким ударом, и все начиналось сначала.

На другой день я побывала в Тюэне у Поля Г., сына маленькой Луизы, которую Октав видел в трауре в гостиной Ла Пастюр: Поль был женат на внучке «толстяка-колибри». Обтянутые кретоном комнаты излучали очарование, свойственное старым провинциальным жилищам: по-моему, Луи Труа родился именно в этом доме. На круглом столике лежал альбом с семейными фотографиями; две-три страницы в нем были посвящены «дяде Октаву». Октав, пишущий при свете двух свечей, которые, говорят, он зажигал иногда среди бела дня, отгородившись ставнями от внешнего мира. Октав в черной полумаске, которую он собирается сменить на другую маску; Октав с черепом в руках; Октав с охапкой цветов — так, наверно, он приносил их в канун Троицына дня к реликварию Святой Роланды; Октав со своим ручным кабаном. Эти поэтические фотографии, конечно, разбудили мою фантазию. Я спросила у Поля, есть ли в его библиотеке книги нашего «двоюродного деда». Он нашел только первую, «Лиственный кров», и протянул ее мне вместе со сборником о праведных кончинах, составленным тетушкой Ирене.

Против моей двоюродной прабабки Ирене я испытывала предубеждение. Ирене Дрион, на мой взгляд, принадлежала к породе безупречных и деспотичных матерей, которые часто встречались в ту эпоху и в судьбе своих сыновей играли роль злых демонов. В 1929 году я еще ничего о ней не знала, но меня сразили полное отсутствие критической мысли в книге Ирене и ее назидательная банальность. Чего только ни было в этом творении, был даже, если не ошибаюсь, нечестивец Вольтер, пожирающий собственные экскременты; полистав такого рода опусы, можно понять яростный антиклерикализм радикалов нашего детства и даже жалкий Музей атеизма в Ленинграде, перенявший у них эстафету. И все же я почувствовала некоторое уважение к сочинению моей дальней родственницы. Эта дама в кринолине пыталась взглянуть в глаза последней истине — она обеспечила себя примерами, чтобы совершить великий переход в вечность. Впрочем в ту эпоху люди были озабочены этим вопросом больше, чем в нынешнюю. Благочестивые особы, которые поперхнулись бы любым словом, какое могло быть

сочтено непристойным, охотно обменивались в гостиной жуткими и грязными подробностями, связанными с агонией. У нас все наоборот: любовь мы выставляем на всеобщее обозрение, смерть стараемся как бы замаскировать. Между двумя этими формами стыдливости выбирать не хочется.

Книга сына Ирене с первых же страниц выпала у меня из рук. Ее содержание, составленное из «мыслей», — Октав всегда отдавал предпочтение этой форме, которая ему не давалась, потому что ему не хватало определенности суждений, — огорчило меня не меньше, чем благочестивые общие места в произведении его матери. В юности приверженная классической литературе почти так же пылко, как и «дядя Октав», я вдруг разом открыла для себя своих современников: «В поисках утраченного времени», «Подземелья Ватикана», «Дуинские элегии», «Волшебную гору»18. В сравнении с этими новыми для меня сокровищами произведение отшельника из Акоза показалось мне на редкость бесцветным. Быть может, если бы Поль Г. дал мне в тот вечер прочитать «Ремо, воспоминания брата о брате», я была бы тронута этой книгой: читатель, умеющий читать, чувствует, как в ней в буквальном смысле слова кровоточит каждая страница. Если бы он дал мне «Письма к Жозе» и я открыла бы ее на пронзительных воспоминаниях отрочества, которыми стареющий Октав делился со своим более молодым другом, я бы, конечно, обнаружила, что горе ребенка, внезапно оказавшегося лицом к лицу с рутиной коллежа и жестокостью однокашников, неуспех в учении, бегство в музыку (в эти годы она была великим утешением Октава), его подорванное здоровье, в конце концов, убедившее родителей предоставить мальчика одиночеству, которым он так дорожил, — все это напоминает историю молодого австрийского аристократа, за год до этого рассказанную мной в романе «Алексис». Может, я обнаружила бы и другие, более интимные соответствия между Октавом и студентом из Прессбурга. Однако бедность, так много определявшая в жизни Алексиса, не имела никакого касательства к жизни молодого бельгийца, чья мать унаследовала угольные копи. Мне повезло, что в библиотеке Поля Г. этих двух книг не оказалось, или во всяком случае, что он не нашел их в тот вечер. Не следует слишком рано отягощать себя фамильными призраками.

Мои впечатления такими и остались на сорок лет. Не включать же и самом деле в историю моих попыток понять Октава визит, который я нанесла в Акоз в 1956 году. Меня приняла там внучатая племянница Октава и двое ее детей. Ее муж и старший сын были расстреляны в Дахау. Эти уже отдаленные события были свежи для меня, узнавшей О них с большим запозданием.

Вдова с сыном и дочерью в возрасте около двадцати лет в старинном доме, наводненном октябрьскими сумерками, по праву принадлежат миру поэзии. Октаву и Ремо, вместе читавшим «Молящих» Еврипида, и в особенности Ремо, которого скорбные вопли троянских женщин укрепили в его пацифизме, пришла бы на ум Андромаха, вспоминающая всех своих умерших. Я думала также о подстреленных на лету голубях.

Только в прошлом году, уже несколько месяцев работая над этой своей книгой, я всерьез пустилась на поиски бледной тени. Из пяти книг Октава мне в руки до этих пор попали только две, как раз наименее важные для моего замысла. Благодаря щедрости одного бельгийского друга я получила неразрезанные тома посмертного издания 1900 года, опубликованного «согласно воле автора магазином Академической книги Перрена в Париже и издателем Жаком Годеном в Намюре». Отцу того, кто сделал мне этот подарок, их преподнесла в ту пору, когда он был студентом в Лёвене, тогдашняя владелица Акоза в благодарность за то, что он помог сдать экзамены молодому Пирме, который не унаследовал любви Октава к литературе. (Сопоставляя даты, я думаю, что речь шла о том самом Эрмане, которому было суждено погибнуть от немецкой пули). Не знаю, удастся ли мне с помощью заклинаний вывести «дядю Октава» за пределы пожелтелых страниц упомянутых томов, но я надеюсь хотя бы на некоторое время избавить его от того вежливого равнодушия, какое окружает и в какой-то мере защищает на библиотечных кладбищах известных писателей, которых никогда особенно не читали.

Стиль Октава Пирме мог бы стать примером разрыва, зачастую огромного, между культурой человека и его творчеством. Получивший такое образование, какое уже не встречается в наши дни, да и в те времена было довольно редким, Октав происходил из среды, если не литературной (в этом смысле г-жа Ирене, по-видимому, была исключением), то во всяком случае любившей музыку и наделенной научной жилкой, которую одним поколением раньше довольно часто можно встретить в семьях XVIII века. Бенжамен Пирме, отдыхая от лая своей охотничьей своры, давал вместе с братом Виктором и сестрой Гиацинтой маленькие камерные концерты. Дядя Леонар написал астрономический трактат, вероятно, это он оставил Ремо в наследство свой телескоп и свою любовь к звездам; тетушка Гиацинта познакомила Октава с Бхагавадгитой19. Обширная греко-латинская культура братьев кажется довольно обычной для того времени — на самом деле, она всегда была редкой во франкоязычных странах, если не считать специалистов и преподавателей, но у них она обычно приобретала узко

филологический и школярский характер. Это в Германии, и особенно в Англии, мы встречаем молодых людей, читающих на досуге под деревьями парка Гесиода и Феокрита. Эпиграф к первому произведению Октава — греческий текст Марка Аврелия20, «Мысли» которого, вместе с «Исповедью» Святого Августина21 и «Подражанием»22, навсегда останутся духовным стимулятором для Пирме. Если говорить об итальянском языке, Октав принадлежит еще к тому поколению, которое умело наслаждаться Петраркой, и уже к тому, которое знает Джакопоне да Тоди23 и восхищается им. Среди великих французов он постоянно возвращается к Монтеню и перечитывает Сен-Симона. Трудно найти поводырей более мужественных и способных, как они, учить писателя искусству письма. Но, похоже, с великими классиками дело обстоит так же, как с некоторыми особенно питательными продуктами, — они перевариваются только вместе с другой, более легко усваиваемой пищей, которая их растворяет или смягчает. Произведения Октава изобилуют вялыми длиннотами в духе Телемаха24 и мечтаниями на манер Шатобриана. В ранней юности Пирме видел в Рене25 своего бога и двойника, и эти пышные драпировки до самого конца мешали проявиться его подлинной личности. Точно так же в XX веке подражание Рембо породило целую серию расхристанных Артуров.

Если восхищение героями Плутарха не помогло Октаву решиться взглянуть в глаза самоубийству, а общение с античными поэтами не избавило его от чуть ли не викторианской стыдливости в разговоре о любви, то постоянное чтение великих мастеров прошлого не уберегло его от влияния трех женщин, писавших в сентиментально христианском духе: г-жи де Гаспарен26, г-жи Свечиной27 и Эжени де Герен28, неизменно состоявшей при Морисе, как Ирене при своем сыне. Книги этих дам слишком часто читались в гостиной Акоза наряду с произведениями красноречивых защитников добронравия, таких, в частности, как Монталамбер29, которого особенно ценили, поскольку он женился на представительнице семьи Мерод, или как монсеньер Дюпанлу , «прославленный епископ Орлеана» (так именует его Октав), кого Пруст считал виновным в том, что целое поколение молодых дворян изъяснялось на дурном французском языке. Эти добропорядочные писатели ответственны за тот усредненно правильный язык, подчас вялый и туманный, и за тот жеманно благородный стиль, который губит многие страницы Октава, несмотря на их несомненную искренность. Конечно, мы уже не разделяем мнения Андре Жида, будто плохую литературу создают как раз с добрыми намерениями: мы знаем, что не

меньше плохих произведений создается с намерениями дурными, и ложь царит не только на небе, но и в аду. Тем не менее своим стилем, несколько устарелым уже в ту пору, когда он писал, Октав обязан, вопреки тому, что можно было бы предположить, отнюдь не своему двойному происхождению провинциала и бельгийца. Тот же французский язык, аморфный и напыщенный, был принят в благопристойных и немного чопорных парижских салонах: окружение г-жи Дамбрёз и маркизы де Вильпаризи31 говорило и писало только на таком языке.

Если бы Октав привез из Италии и Германии не «Дни одиночества», в которых рассказал о своих путешествиях, противопоставляя им описания родной страны, а создал бы на тот же сюжет серию холстов, проникнутых томлением и романтической меланхолией, мы оценили бы в них где-то напоминание о Пиранези, где-то перспективу в духе Сальватора Розы и почти во всем трогательное очарование лубка или обезоруживающую торжественность картины лауреата Римской премии. Дело в том, что современного любителя искусства куда меньше раздражает вышедшая из моды картина, чем старомодная книга раздражает нынешнего читателя. И в самом деле, в «Часах философии», из всех произведений Октава притязающем на наибольшую значительность, назойливое жужжание банальностей вскоре отвлекает наше внимание от некоторых хрупких и чистых ростков мысли и, в особенности, чувства, менее избитых, чем можно было ждать. Даже в трогательном «Ремо» преизбыток «братской преданности», «пытливой юности», «печального долга» и «нежной преданности», о которые мы спотыкаемся на первых же страницах, мешают нам увидеть, насколько Октав преуспел в своем замысле создать схожий с оригиналом портрет брата и в то же время произнести над ним трагическое надгробное слово. Если бы наделенный грубой решимостью составитель антологии поступил бы с Октавом так, как мы обычно поступаем с Вергилием (самые образованные из нас едва ли прочитали из него более тридцати страниц), и, вырвав здесь фразу, там строку, а подальше целый отрывок или, наоборот, всего несколько слов, которым именно эта фрагментарность и придает блеск, собрал бы тоненькую тетрадку, она могла бы, как надеялся сам автор, найти себе уголок на книжной полке между Гереном и Сенанкуром32. В такой тетрадке душа, порой превосходная, оказалась бы очищена от всего несущественного.

Учебники литературы довольствуются тем, что уважительно упоминают об Октаве Пирме, который хронологически был первым эссеистом в Бельгии XIX века, что само по себе уже кое-что значит. Отмечали, что, желая найти в этих краях сколько-

нибудь заметного прозаика среди его предшественников, мы должны, перешагнув через две революции, вернуться вспять к принцу де Линю в совершенно иной мир Европы XVIII века. После Октава что-то от его меланхолического ритма и мечтательных раздумий перешло к Метерлинку вместе с некоторыми присущими Октаву недостатками, но и с силой, которой был лишен «акозский отшельник». «Мудрость и судьба», лучшее эссе Метерлинка, вольно или невольно продолжает «Часы философии». Даже в плане поэтико-мистического восторга фламандец, давший новую жизнь «Сестре Беатрисе»33, не так далеко ушел от валлонца, которого волновала история благочестивой любви Святой Роланды.

Если специалисты правы, и суть философии состоит в том, чтобы разрабатывать системы и прояснять понятия, Октав Пирме ни в коей мере не философ. Сам он, впрочем, предвосхищая некоторые распространенные сегодня точки зрения, замечал, что метафизика — это прежде всего семантика. Если же, напротив, философия — это принципиально замедленное проникновение за пределы наших привычных представлений о вещах, терпеливое внутреннее продвижение к цели, находящейся на расстоянии, о котором мы знаем, что оно бесконечно, Октав имеет некоторое право на звание философа. Неприметные признаки указывают на то, что, в конце концов, он выработал свой собственный метод. Он перечисляет, не претендуя, впрочем, на то, что овладел ими, элементы, составляющие основу созерцательной жизни: кротость, спокойствие, чистота, сила... Очень интересно наблюдать, как он, мистик, не смеющий назвать себя таковым, затрагивает, обходясь без соответствующего словаря, великие темы: происхождение души, единство всего живого, судьба («*Наша жизнь — всего лишь долгая ромбовидная перспектива. Линии геометрической фигуры расходятся вплоть до достижения зрелого возраста, потом неприметно сближаются до наступления агонии, которая находится в конце и душит нас...*»); наблюдать, как он робко исследует лабиринты мечтаний, пытается проследить прорастание самой мысли, вырваться за пределы времени («*Настоящее не существует. Есть только перетекание будущего в прошлое...*»); пытается по мере сил определить соотношение подспудных идей и внешней реальности («*Наш ум похож на самку, которая способна зачать только, когда ее оплодотворят чувственные ощущения*»); наконец, проникает в суть состояния, не столь уж далекого от состояния индийских мудрецов; которыми интересовался его юный брат («*Он устремил взгляд в одну точку в пространстве, не воспринимая окружающих предметов... Удивительное зеркало — этот человек, в ком отразилось бренное и*

вечное, изменчивое и незыблемое... Сохраняя неподвижность позы, он охмелен первозданными соками; он кажется мертвее мертвого, а на самом деле живее всех живых существ, он живет сублимированной жизнью... Созерцаемый им предмет под его взглядом расширяется, вырастает до бескрайних размеров, объемля собой бытие, и в то же время эта воображенная им огромность, уменьшаясь, концентрируется в созерцаемой точке. Он сумел расширить свое сердце так, что оно вобрало в себя весь мир и обладает Богом»).

Быть может, сам того не сознавая, Октав ищет некую тайну морфологии. В шестнадцатилетнем юноше, которого родители впервые привезли на берег Северного моря и который шел вперед по молу, закрыв глаза, чтобы, не видя волн, лучше уловить их разноголосие, как мы различаем на концерте звуки разных инструментов оркестра, и пытался решить, каким формам точнее всего соответствуют их рокот и гул, было что-то от ясновидца. Подобно приверженцу орфизма34 или катару35, ему случается говорить о «*душах, быть может проросших где-то еще и заключенных в причудливые материальные формы*». И далее он замечает, что «*все наши мысли находят выражение в земных формах*» и рассуждает об аналогии между человеческими лицами и животными; его намеки на Лафатера36 свидетельствуют о том, что Октав не только фантазировал на эти темы, но и размышлял. Прогулки по полям и лесам в компании не одних собак, но и лисят, и прирученного кабана, наблюдение за временами года, куда более сложно переплетенными друг с другом, чем это представляется горожанину — в разгаре зимы уже чувствуется весна, а зима уже притаилась под покровом лета, — мало-помалу помогли Октаву глубже разобраться в этом синтаксисе форм, во «*фразах этой неумолчной речи*». Защищая от нападок филистеров визионерский гений Гюго, Октав, без сомнения, произносил речь и в свою защиту: подробное описание аквариума в его прозе напоминает те строфы «Созерцаний», где чудовищные животные, населяющие бездну, восприняты поэтом как символ и сгусток человеческого зла. Некоторые штрихи, в которых чувствуется натуралист, придают весомости этим подчас слишком поверхностным умозаключениям. Впрочем, раздумья Октава о свирепости плотоядных растений склоняют его к извечному манихейскому37 выводу: «*Поскольку природа хитра, коварна, расчетлива, не должны ли мы видеть в ней дух зла? Именно эта мысль завлекла меня нынче вечером в бездну размышлений, куда я остерегусь заманивать вас. Довольно с меня и того, что я приоткрыл ее перед вами*». Его страсть к животным отчасти интеллектуального свойства и родилась от пристрастия к

наблюдению за отличными от наших формами жизни — их созерцание дает нам возможность вырваться за пределы представлений, ограниченных человеческой оболочкой. «*Каждое животное видится мне жизнью, заключенной в некую форму. Плененная душа глядит на мир через два отверстия, проделанные природой на вершине ее темницы*». Сочувствие Октава простирается и на мир рептилий. Вынужденный сидеть дома из-за растяжения связок, которое он получил, желая продемонстрировать свою ловкость гулявшему с ним ребенку (ему до конца жизни не избавиться от кокетства), он развлекается, играя со змеями. «*Они такие же, как те, которых я когда-то ловил в лесу Фонтенбло вместе со старым охотником на гадюк. Я предоставляю им ползать по моему столу, обвиваться вокруг корзины с фруктами, поднимать свои хитрые головки и метать раздвоенные язычки, похожие на маленькое черное пламя. Я с интересом наблюдаю за всеми этими движениями, полными сторожкой грации. Я гляжу, как они оплетают ножку какого-нибудь кресла, образуя орнамент, который мог бы вдохновить художника*».

Забавно, что этот любитель кабанов и змей, ощущавший себя членом «*большой семьи всех живых существ*», язвительно критиковал дарвинизм, оскорбляясь мыслью, что может вести свое происхождение от приматов. Он готов был признать существование лестницы, ступени которой ведут от животного сумрака к тому, что, по его мнению, представляет яркий свет дня в развитии человечества, но торжествующий позитивизм дарвинистов оскорблял в нем разом и гуманиста, и христианина. Мы слишком часто забываем, что теория эволюции из области научной гипотезы быстро перекочевала в область аргументации, которой побивали друг друга г-н Оме и кюре Бурнезьен38. Видеть в человеке потомка животных на этом уровне и впрямь оказывалось позицией антидуховной, защитники которой стремились, скорее, принизить человека, чем подчеркнуть мистическую связь живых существ, мало заботившую дарвинистов из Кафе де Коммерс и даже тех, кто трудился в лабораториях. Октав Пирме не мог предвидеть появления Тейяра де Шардена и того, что наступит время, когда самые прогрессивные умы в лоне церкви поддержат теорию эволюции, переставшую к тому времени представлять в науке монолитную догму.

Этот человек, столь чувствительный к величавому долголетию монументальных творений природы, хмурится при известиях о геологических и палеонтологических находках, потому что они противоречат библейской хронологии. Но недаром столько великих умов, к которым в общем он причисляет

и себя, вопреки очевидным доказательствам здравого смысла в течение многих поколений довольствовались жалкими шестью тысячами лет иудео-христианского прошлого — эти шесть тысяч лет в целом соответствуют показаниям человеческой памяти и для большинства людей по-видимому являют собой крайнюю границу осмысления. Миллионы веков геологической драмы ничего не говорят Октаву Пирме, точно так же, как век Просвещения ничего не значит для читателей сегодняшних пухлых газет, которые воображают себя накануне высадки на звезду Альфа в созвездии Кентавра. Сто двадцать поколений, которые по представлениям Октава, отделяли его от Адама, уже и так погружали его в головокружительную бездну. Тем не менее, есть в этом опасная крупица невежества или, вернее, обскурантизма. Тот самый Октав, которого волновала небесная механика, которому случалось, сделав несколько шагов от окна к письменному столу, вспоминать, что за это время земля продвинулась более чем на тысячу лье по своей орбите, не отдавал себе отчета в том, что в XVI веке он оказался бы противником Коперника, как теперь, в XIX веке, был противником Ламарка и Дарвина.

Пылкий Ремо также не лишен предрассудков и пристрастий своей эпохи. Позитивизм, к которому он пришел через самую изнурительную моральную аскезу, отличается жесткостью догмы. Когда путешествуя к устью Дуная, он встретил группу цыган и старуха-цыганка подошла к нему, чтобы прочитать по ладони его будущее, он вырвал у нее руку, возмутившись так, как если бы ему сделали какое-то непристойное предложение, и пробормотал что-то насчет «*суеверий, которые столь часто злоупотребляют доверчивостью робких умов*». Ему и в голову не пришло поглядеть, а не просвечивает ли паутинка истины сквозь профессиональные штампы предсказательницы — еще не наступила эра исследований в области парапсихологии, красивого названия, позволяющего изучать то, что совсем недавно без проверки причисляли к магическому вздору. Но прежде всего прекрасный молодой человек страдает пороком, который в течение двух столетий был характерен для левой идеи — ее оптимизмом. Как и его идолы, Гюго и Мишле, он верит, что человек добр, не только человек в его мифическом и первородном образе, но и человек с улицы, сегодня. Ремо принимает без всяких оговорок постулаты передовых умов своего времени. Велика ли беда, что промышленность пожирает столь милые сердцу его брата леса и поля Акоза, если она решает проблему пауперизма. Ремо считает, и это приводит его в отчаяние, что понадобятся века, чтобы освободить африканских негров, но зато ему кажется, что в

Америке рабство окончательно уничтожено Линкольном; он даже и представить себе не может, что цветных могут продолжать унижать в других формах, под другими названиями. Люди из народа, находящиеся с ним рядом, под пером Ремо приобретают лубочные черты. «*Пойдем со мной*, — говорит он в Париже старшему брату. — *Заглянем вот в эту бедную с виду таверну, где обычно встречаются рабочие. Послушай, как доверительно говорят друг с другом эти сотоварищи, как они пожимают друг другу черные загрубелые руки. В них — сама душа человечества... Можешь ли ты поверить, что эти труженики способны желать зла?*» — «*Увы, да, по невежеству*», — робко бормочет Октав. «*Тогда надо победить это невежество... Надо снабдить эти великодушные сердца мыслящим лбом... Они должны научиться обходиться без поддержки власть имущих и, вооружившись образованием, находить опору в самих себе*».

Эта демагогическая риторика стоит не больше, чем доктринерское красноречие Октава. Ремо не сознает, что страсть, влекущая его к народу, в известной мере вызвана громадной потребностью в дружбе, какую испытывает подросток, чьи человеческие контакты слишком сужены и который издали идеализирует «низшие классы» Его рабочие так же условны, как рыбаки с Капри у Октава, они фигуры легендарные в том же смысле, что и воины славянских баллад и партизаны Колотрониса39, которыми так восхищались братья и которые перед смертью дарили друг другу прощальный поцелуй. Сами того не зная, Октав и Ремо мечтают о мире, полном героической простоты и мужественной энергии, не похожем на буржуазную среду, в которой они выросли. Молодой энтузиаст прав: невежество лежит в основе всех наших заблуждений, и знание — лекарство от них, но здесь речь идет о невежестве куда более страшном, чем простое неумение читать, и с помощью начальной школы его одним махом не устранить. Ремо клещами раздирало противоречие между его верой в доброту человека и несовершенством всех человеческих обществ — так многие христиане мучились тем, что вопреки всемогуществу Бога существует зло. Угнетенный настоящим, Ремо хочет верить в неотвратимость Золотого века. «*Надежда на то, что недалеко время, когда благодаря просвещению, которое будет распространяться все шире, сила и хитрость не смогут более торжествовать — вот моя отрада*». Этот наивный порыв доверия относится ко времени, которое тремя годами отделено от Садовы и Седана, пятьюдесятью годами от траншей 1914 года (когда деревня Акоз будет сожжена, а кюре и трое ее жителей расстреляны) и немногим менее четверти века от концлагерей (когда Эрман и его сын погибнут от рук нацистов), от бомбы, сброшенной на Хиросиму и от лишившихся листвы лесов. Впрочем, этот ученик философов правильно ставил проблему: он верил бы в счастливую будущность человечества, если бы не знал, что оно соткано из пороков и добродетелей, «*если бы, отрицая свободу воли, я не сомневался в возможности добра*».

Октав Пирме как-то заметил, что человек чаще движется от поклонения красоте к поклонению правде, чем наоборот. Он несомненно имел в виду своего брата, но и сам он пережил эволюцию, которая отчасти избавила его от романтического эстетизма, слишком часто превращающего его в глазах тех, кто начитался Пруста, в некое подобие томного Легранден де Мезеглиза40. Не будучи ни борцом, ни реформатором и принадлежа к привилегированным кругам той системы, недостатки которой он видел, Октав достоин похвалы уже за то,

что заметил драму нищеты крестьян и рабочих: многие представители его среды ее отрицали и почти все закрывали на нее глаза. Говорят, в конце жизни Октав опустошал свой кошелек, раздавая милостыню — единственная форма помощи, какую он был в состоянии оказать. Впрочем, следовало бы располагать большей информацией, чем та, что есть у нас, чтобы решить, чего стоит это утверждение, которое родственники или знакомые слишком часто бросают наобум или, наоборот, ради определенных целей, известных им одним. Рассуждения Октава о том, как работает то, что мы называем аппаратом Правосудия, смелы, если принять во внимание, насколько ортодоксальны взгляды его среды на все, что касается охраны социального строя. «*В чудовищных преступлениях*, — пишет он, не подозревая, что перекликается с Достоевским, — *иногда следовало бы находить смягчающие обстоятельства*». В этих словах чувствуется нечто иное, более существенное, чем просто впечатление от нескольких сессий суда в Монсе, где Октав присутствовал в качестве заседателя. «*Следует помнить, что сам ты являешь собой непостижимую смесь множества добродетелей и пороков, в силу какого-то таинственного закона так тесно переплетенных между собой, что добродетели готовы превратиться в пороки, а пороки преобразуются в добродетели*». О себе он выносит вполне христианское суждение: «*В каждом человеке есть пятна ночи*». Здесь мы уже приближаемся к Андре Жиду с его «Не судите».

Достоин похвалы тот, кто говорит о шаткости самой цивилизации в эпоху, когда элиты упиваются материальным прогрессом (и в не меньшей степени барышами, которые он им приносит), утешая себя иллюзией, что ему сопутствует прогресс моральный. «*Того, кто единым взглядом окинет все народы, живущие на земле, напугает человеческая дикость. Цивилизация существует только в отдельных точках, и там, где кажется, что она достигла апогея, ее уничтожает судорога*». Однако Октав, как когда-то Ремо, пытается верить хотя бы «*в неприметное нарастание света*». Но современная жизнь и та, что наступила вскоре, опровергали его мечты. В 1830 году в письме к Жозе он описывает прогулку, которую совершил по одному из рейнских холмов:

«*Взор утопает в плодородных долинах Рейна, там и сям окруженных когда-то укрепленными горами. Я думал о злосчастных временах, принуждавших строить эти грозные крепости, которые нравятся нам только в виде руин. Но мне милее развалины монастырей… В рухнувших твердынях я вижу только следы ненависти и насилия.*

Я как раз размышлял об этом, когда до площади, где я стоял,

долетел мерный стук лошадиных копыт. То был отряд прусских гусар, скачущий по улицам города с саблями наголо. Варварство не умерло, оно дремлет и только ждет минуты пробуждения. Возвращаясь долиной в свою гостиницу, я оказался в деревне Муффендорф, состоящей из одной узкой улицы, окаймленной глинобитными домами, которые инкрустированы чернеющими деревянными балками. Трудно вообразить более бедное и мрачное зрелище, оно удивляет посреди цветущего края».

Сострадание — слово более внятное, чем жалость, потому что оно подчеркивает способность человека мучиться с теми, кто мучается; это не слабость, как часто считают, и не реакция слабого человека, которую можно противопоставить другому, более мужественному чувству — чувству справедливости; вовсе не являясь проявлением сентиментального отношения к жизни, эта раскаленная добела жалость пронзает, как лезвием, только тех, сильных или безвольных, умных или глупых (в данном случае это значения не имеет), кто наделен жестоким даром видеть мир таким, каков он есть. Приобщившись к этому экстатическому с обратным знаком видению, о красоте говорят уже с известными оговорками. Начиная с «Дней одиночества», у Октава среди романтической риторики возникает вдруг то тут то там какая-нибудь пронзительная деталь. Когда двадцатишестилетний автор, страстный любитель Феокрита и Вергилия, встречает пастухов в Римской Кампанье, от него ждешь идиллического описания, из которого будут удалены все не согласующиеся с ним подробности. «*На опушке за деревней, отделенной от нее только живой изгородью из кустов калины, я увидел двух ягнят, подвешенных к веткам ясеня. Пастух только что заколол их своим ножом, и пока бледная кровь стекала на мох, остальные овцы блеяли и, наклонив головы, жались друг к другу. В таком виде предстала передо мной пасторальная Сабина*».

Возвращаясь из Италии во Францию через Альпы, Октав среди снега и льда встречает маленькую группу продрогших путников в лохмотьях и продавленных шляпах. Это бывшие солдаты-гарибальдийцы, покидающие родину в надежде добраться до далекого пакетбота, который доставит их в Аргентину. «*Один из них, бледный от лишений, взобрался на крутой склон и там в помрачении отчаяния запел гортанным голосом: «Dansa, canta, poverello!» [Танцуй, пляши, бедняга! (итал.)]. Его товарищи отвечали ему безнадежным смехом, который терялся в шуме потока*». Романтическая сцена в духе Доре, но она венчает путешествие по Италии не образом соборов, виноградников и освещенных солнцем развалин, а совсем по-иному. Во время того же переезда через Альпы Октав

задумывается о животных, которые тянут дилижанс. «*Мы предоставляем нас тащить четырнадцати мулам, мужественным и терпеливым. Какое странное зрелище являют собой эти несчастные, побелевшие от инея животные, которые звенят своими колокольчиками в студеной пустыне, озаренной печальным светом звезд... Мы добрались до деревушки Гран-Круа. Отсюда мы начали спускаться, отданные на милость уже одной единственной лошади, чья безмерно огромная тень, ложившаяся на берега, сопровождала нас, как призрак муки, а наши полозья скрипели и стонали на льду*». Под вычурным стилем в духе времени жалость и боль обжигают, как самый лед.

В более поздних произведениях эта трещина еще расширилась. И под конец тянутся, падая светлой каплей, несколько строк — песнь жалости, не столько написанный текст, сколько шепот заклинания: «*Не мешайте ползти шелковичному червю. Не забирайте яйцо из-под наседки... Не ходите по льду, пока он еще хрупок. Не топчите молодую поросль. Не пугайте своим свистом перелетную цаплю, когда она ищет гостеприимную обитель. Не вырезайте вашего имени на нежной древесной коре, когда весенний сок поднимается к вершине. Не прыгайте в перегруженную лодку. Не лишайте мха, которому предстоит зазеленеть вновь, снежного покрова...*» За несколько лет до своей смерти поэт признавался Жозе, что его память покрыта шрамами от горестных сцен, свидетелем которых ему пришлось стать. Эта способность страдать за другого, включая в понятие «ближних» не только людей, но и все огромное множество живых существ — качество настолько редкое, что о нем нельзя не упомянуть с уважением.

Можно было бы ожидать, что переписка с Жозе введет нас глубже в интимный мир поэта, но письма были отобраны и просмотрены самим Октавом незадолго до его кончины в расчете на посмертное издание — он желал оставить их своему другу словно букет «Vergissmeinnicht» [Незабудка (нем.)] . В том виде, в каком они дошли до нас, они состоят из более или менее удачных литературных отрывков, но все, что касается повседневной жизни, сведено к минимуму. Дело доходит до того, что радуешься, когда среди чересчур обильных и зачастую книжных мечтаний и размышлений натыкаешься на сообщение о том, что, путешествуя в одиночестве по Германии, Октав выпил бутылку рейнского за здоровье Жозе, или что этот сорокалетний господин мечтает поиграть со своим молодым другом в снежки. Иногда наше внимание останавливают какие-нибудь более реалистические подробности: ностальгически вызывая в памяти прекрасный день, проведенный с Жозе в Акозском лесу, Октав упоминает о том, как

травили собаками зайца и как обрадовались маленькие сыновья егеря неожиданно представившейся возможности устроить импровизированный обед, сварив останки животного на костре из веточек. В тот день наследственные утехи одержали верх над «*ангельской жизнью*».

Отношение Октава к охоте менялось на протяжении всей жизни. В двадцать лет, раздраженный присутствием гостей, приглашенных участвовать в облаве, и, в частности, Артура де К. де М., который прибыл за неделю до облавы со слугами, лошадями и каретами, молодой человек заявляет, что будет участвовать в «повинности», но без ружья. Постаревший Октав, предлагая Жозе прогуляться по лесу, напротив, замечает, что возьмет с собой карабин, с которым теперь не расстается, но при том оговаривает, что животных он трогать не станет и только нарвет немного цветов, хотя и в этом поступке «*какой-нибудь мудрый индус мог бы усмотреть прегрешение*». Октав почти сожалеет, что «*топчет траву*». Но в другие минуты он вновь становится отпрыском того Бенжамена Пирме, который, не зная толком, о чем писать в коллеж своим сыновьям, с гордостью сообщал им, что за текущий сезон подстрелил уже пятьдесят седьмого зайца. Спутник истребителя гадюк, любитель прогулок, в которых его сопровождали кабан и шесть довольно-таки свирепых собак: пойнтер, грифон, овчарка, сеттер, белый, как снег, сенбернар и борзая Шнель (мы увидим далее, что он не без удовольствия натравливал их на незнакомых людей), человек, обламывавший кончики крыльев филинам и совам, чтобы они не могли улететь, не всегда был тем кротким мечтателем, каким его рисует созданная вокруг его имени легенда.

Друг Октава по коллежу, Фелисьен Ропс43, гравюры которого поэт коллекционировал, написал где-то, что «*этот извлекатель квинтэссенций был в глубине души весельчаком, любившим жизнь*», но, желая сохранить «*безупречность маски*» в глазах своих читателей, раскрывал свое истинное «я» только в компании близких друзей. Что подразумевал под этим Ропс? Должны ли мы вообразить себе Октава, который отпускает грубые шуточки за обедом в кругу старых приятелей, а потом идет вместе с ними к женщинам, Октава, завсегдатая изысканных ресторанчиков на Большой площади («*Именно за столом человек ярче всего обнаруживает, хозяин он или раб своих грубых инстинктов*»), Октава, очертя голову пустившегося в интриги на манер Фобласа44, или за закрытой дверью мастерской Ропса в дыму сигары увлеченно комментирующего эротические работы художника? Ропс не учитывал, что робким меланхоликам свойственны иногда вспышки веселья, когда они то ли действуют

вопреки своей натуре, то ли, как это чаще всего бывает, пытаются ввести в заблуждение окружающих. Нельзя также сбрасывать со счетов и чувство облегчения, возможно, испытываемое тем, кто вырывался из чопорной среды, в которой его удерживала г-жа Ирене. К тому же любитель масок вполне мог надевать маску весельчака, непринужденного повесы или просто доброго малого — личины еще более искусственные, нежели черная полумаска молодого романтического принца. Подлинное лицо, каким бы оно ни было, таилось где-то в глубине.

Кисловатые замечания свободомыслящего гравера подтверждает, однако, письмо Октава Фелисьену Ропсу от 20 марта 1874 года. Фелисьен забрал себе в голову опубликовать в одной из маленьких парижских газет свои письма к Октаву, украшенные рисунками и обрамленные виньетками с изображением купидонов. Если верить Октаву, эти послания были выдержаны «*в тоне легкомысленной фантазии*» и были все основания опасаться, что читатели заподозрят: адресат отвечал па них в том же ключе.

«*Я знаю, в твоей власти публиковать страницы, которые ты адресовал твоим друзьям, и с моей стороны было бы неразумно этому противиться, потому что право, а стало быть, и сила на твоей стороне. Но я предоставляю твоему разуму и сердцу принять в соображение следующее:*

Вот уже двадцать лет я терпеливо и упорно стремлюсь создать б своем творчестве нечто цельное, возвышенное и глубоко серьезное, жертвуя ради этого всеми моими умственными фантазиями, чтобы в памяти потомков сохранилась только чувствительная, философская сторона моей натуры, и каждый день, так сказать, расправляю складки моего савана, чтобы ветер времени не мог их разметать.

Мне хотелось бы предстать перед читателем только во всей моей вдумчивости.

...Я провел с тобой прелестные часы, когда мы отдавались нашей природной пылкости и разнообразным прихотям воображения... Но должна ли эта интимная жизнь выплескиваться на страницы публичного листка и входить в кафе и таверны? Прошу тебя, замени мое имя псевдонимом».

Даже с учетом представлений эпохи о правилах благопристойности, сорокадвухлетний мужчина, до такой степени стесняющийся своих юношеских писем и даже их отражения в другом человеке, невольно наводит на мысль о тех «гробах повапленных», присутствие которых в этой среде так беспощадно разоблачал Ремо. Октав в согласии со своей семьей постарался, как мог, разгладить складки погребального покрова

своего младшего брата. По собственному признанию, остаток жизни он посвятил тому, чтобы сделать то же для самого себя. Произведения Ропса таковы, каковы они есть, иногда захватывающие и мрачные, иногда натужные, похотливые и грубые, и потому понятно, что публикация переписки с этим человеком должна была напугать любителя идеализма. Возможно также, что Октав опасался, как бы эта публикация не попалась на глаза г-же Ирене, хотя вряд ли она была постоянной читательницей «Парижской жизни» или другой подобной газеты, в которой Ропс собирался напечатать свои письма. Куда ни глянь, всюду ложь. В XX веке она чаще всего принимает форму надувательства, открытую, наглую и скандальную; в XIX веке она рядилась в более завуалированную форму ханжества.

До нас дошел занятный портрет Октава, сделанный его современником. Парадоксальным образом портрет принадлежит перу инженера путейца, ученого, который на досуге баловался литературой. В 1879 году, за четыре года до смерти поэта, молодому Жаму Вандрунену поручили изучить на месте возможность соединения двух участков железной дороги, которая должна была перерезать Акозский парк. Без сомнения, беспокоясь о том, как владелец парка отнесется к подобному проекту, молодой человек просил доложить о себе Октаву Пирме. Хозяин принял его в прямоугольном дворике, напоминавшем зоопарк, — он был обведен клетками, где ворчало, тявкало, визжало целое стадо диких зверей, которых Октав держал у себя, чтобы, как он любил говорить, «*поучиться гордости*». Свора ощерившихся собак кинулась к пришельцу, и нежный поэт ни словечком не попытался ее успокоить. Молодому Жаму пришлось держать собак на расстоянии с помощью железного кола, который ему протянул пришедший с ним железнодорожник. Слегка выбитый из колеи, он изложил свое ходатайство; Октав слушал вполуха, однако перебил гостя, чтобы сказать, что дела Акоза его не касаются. Растерянный Жам вышел за калитку ограды, украшенную зловещими останками распятой здесь когда-то совы. Как видим, хозяин дома чтил старые традиции своих садовников.

Когда Жам вернулся через несколько дней, его встретил господин в темно серой куртке, в сдвинутой на бок шляпе, с бесполезным ружьем на перевязи и с книгой в руке. На этот раз гостя приняли любезно, и Октав со словоохотливостью человека, старающегося забыться, предложил молодому человеку прогуляться по парку. Испытывая такую же неловкость, с какой современный инженер стал бы слушать того, кто вздумал отрицать пользу автострад, слушал Жам, как хозяин хулит железные дороги, а о промышленности говорит, как о «*наборе*

шума и махинаций», единственная цель которых — получение прибыли. В тот раз Жаму не удалось ничего добиться (проект победил позднее), но сам не зная, каким образом, он покорил своего оппонента. С тех пор, пока он вел работы по разметке участка в открытом поле, к нему очень часто подходил господин в гетрах, чтобы пригласить его на очередную прогулку, во время которой он то взволнованно изливал молодому незнакомцу свою душу, делясь с ним своими сомнениями и метафизическими тревогами, то замолкал, впадая в угрюмую мрачность. Мужчины возбуждают друг в друге взаимное любопытство. Жам на ходу украдкой разглядывает тонкое детское лицо «*с отпечатком тихой усталости*», рот «*с несколько страдальческой улыбкой*», вслушивается в «*тонкий голос*»; он отмечает прорывающиеся вдруг у его собеседника в разговоре раздражение и вспышки гнева, «*как у женщины, когда ей не удается открыть замок*». Акозский отшельник, со своей стороны, с какой-то даже жадностью интересуется собеседником, останавливается, вглядывается в него, задает вопросы, которые тому кажутся совершенно неуместными: «*Вы, вероятно, натура нервная?*».

Нервной натурой был сам Октав, и в его отношениях с братом чувствуется та же импульсивность. Октав начал с того, что, как полагается, покровительствовал мальчику, которого тогда еще не звали Ремо. Когда он предложил маленькому Фернану совместно совершить первое путешествие и спросил, куда бы тот хотел поехать, малыш ответил: «*Далеко-далеко!*» В тот раз Октав повез его в Ганновер. Но Ремо во всех областях шел очень далеко, гораздо дальше старшего брата. Еще даже до своей учебы в Веймаре и в Иене, студент, ставший ангелом-хранителем брата, отложив в сторону занятия в Брюссельском университете, в течение долгих недель просматривал рукопись первого литературного опыта Октава, а потом убедил его оставить половину от пятисот страниц, в которых тот путался годами. Из-за этого Ремо вероятно провалил собственные экзамены. Этот семнадцатилетний юноша с редким в его годы беспристрастием не сделал попыток смягчить те мысли в тексте брата, которые его огорчали («*Поступил ли бы ты так же со мной?*» — с горечью спрашивал он Октава позднее); он боится только, чтобы нерешительный поэт не стал жертвой своего каприза. «*Советую тебе перечитать от начала до конца тетрадь с замечаниями, которые я написал для тебя той зимой*, — скажет он ему позднее. — *Помнишь ли ты еще о них? Поверь, fratello mio [Братец (итал.)], не из глупой гордости вспоминаю я об этом. Я хочу, чтобы наше прошлое принесло тебе пользу в будущем. Я считал бы тогда, что достаточно вознагражден за несколько лет молодости,*

принесенных мной в жертву твоей мысли». Из Греции он снова пишет Октаву об опасениях, какие ему внушают литературные тревоги и колебания Октава, во множестве дает почти материнские советы брату, который старше его на одиннадцать лет. («*Меньше езди верхом, не охоться*»). После смерти Ремо Октав будет вспоминать, как во время их совместных прогулок по какой-нибудь крутой тропинке или по отвесному берегу реки юноша всегда шел с края, боясь, чтобы у брата не закружилась голова или чтобы он по рассеянности не оступился. Октав записал, что ему часто снится один и тот же сон, в котором младший брат спасает его от смерти. «*Но ты же умер!*» — восклицал Октав во сне. «*Не будем говорить обо мне,* — был характерный ответ Ремо. *— Я не знаю*».

Всегда опасно оценивать жизнь человека на основании одного рассказанного им эпизода. Октав прожил двадцать пять лет, прежде чем в его жизнь по-настоящему вошел Ремо. Тот или иной случай, о котором мы ничего не знаем, та или иная встреча во время его путешествий или, наконец, та отроческая страсть, о которой он не устает вспоминать, быть может, повлияли на него больше и заставили больше страдать, чем то, что произошло с Ремо. В этом читателе Феокрита с ранних лет чувствуется влечение к отроческой красоте. Еще совсем молодым на берегах Самбры он любовался удившими рыбу деревенскими ребятишками; очарование поз и полуголых тел заставило его забыть, что мальчики пришли сюда только ради того, чтобы «*подстеречь добычу*» и вызвало в нем «*то же волнение, что позднее фриз Парфенона*». В двадцать лет в большей мере денди, чем студент, он мечтает найти для своего тильбюри грума, прекрасного, как паж Пинтуриккьо или эфеб Праксителя. В двадцать шесть он привез из Италии молодого грума Джованни, который впоследствии доставил ему немало хлопот; верный грум Гийом стал позднее спутником в его лесных прогулках. Постарев, Октав покровительствовал деревенскому мальчугану и, как нас уверяют, понапрасну «*привязывался к некоторым из местных ребятишек, которые порой этого не заслуживали, и проявлял по отношению к ним царскую щедрость*». Октав, когда-то растроганный надписью на античной гробнице, где были похоронены бок о бок хозяин и слуга, несомненно ощущал поэзию этих связей, которые считаются неравными и про которые, во всяком случае, можно сказать, что духовная близость там не ночевала.

Зато она во всей мощи ощущается в дружбе Октава с младшим из двух его братьев. Правда, после «рокового несчастного случая» он сам описал, на этот раз с почти

прустовской проницательностью, первые приметы забвения. Но это забвение подчиняло себе только ясные области сознания — более глубокие впадины по-прежнему затягивало черное покрывало. Октав говорил нам, что любил брата в своих «*мимолетных друзьях*». Похоже, он в особенности сохранил потребность в привязанности, основанной на братском доверии, потребность в беседах, когда два ума соединяются и сталкиваются в своеобразном мужском брачном союзе, вбирая в свои взаимоотношения мир идей, просто мир и мир грез, потребность в том двойственном состоянии, когда покровитель становится одновременно опекаемым. Даже находясь вдали, даже внушая недоверие, Ремо поддерживал Октава своей силой. Впоследствии Жозе стал довольно бледным дублером ушедшего, хотя нельзя забывать об утешении, какое эта дружба могла принести усталому человеку. В описанных выше прогулках Жам Вандрунен замещал Жозе.

Смерть Октава, судя по всему, была настолько банальной, насколько вообще банальной может быть смерть. В течение многих месяцев Октав страдал от удушья, от болей в пояснице и отеков ног. В феврале 1883 года он вызвал к себе деревенского священника, чтобы исповедаться, и попросил прощения у собравшихся слуг за то, что может быть бывал раздражителен. Молодые племянницы Октава решили прочитать девятидневные молитвы о его здравии. Ему стало лучше: в конце апреля он уже оправился настолько, что ездил в гости и сам принимал посетителей; однажды вечером, давая распоряжения садовнику, он позднее обычного вернулся домой. Ночью ему внезапно опять стало плохо: «*Я ничего не вижу, это агония. Прощай, Эмиль! Прости меня. Боже! Матушка, простите!*» Он умер смертью послушного ребенка, которым всегда оставался в силу некоторых черт своего характера.

Записавшая подробности кончины сына г-жа Ирене скорбела о потере, какую Бельгия понесла в лице писателя, «*который своим прекрасным талантом служил только вящей славе Божией*». Она отмечала, что все названия произведений Октава, кроме «Листвы» и «Писем к Жозе», выбраны ею. Это означает, что г-же Ирене принадлежат три названия, которые не требовали больших усилий воображения, но для нее главным было доказать, что она до конца оставалась советницей сына. Она уверена, говорила она, что не надолго его переживет. Но смерть всегда непредсказуема. Г-жа Ирене надолго пережила не только Октава, но и Эмиля, который умер год спустя, а потом и свою младшую сестру Зоэ. Последней из девиц Дрион выпала жестокая судьба. Моя мать еще в 1894 году нанесла короткий почтительный визит своей

двоюродной бабке, на которую легло бремя стольких утрат.

Казалось бы, негромкая кончина Октава не должна была породить легенды. И, однако, они расцвели на его могиле, как всегда на могилах поэтов. Одна из них, просочившаяся в некоторые письменные свидетельства, столь безудержно романтична, что вызывает улыбку: Октав, якобы, простудился прекрасной лунной ночью в лесу, в полном одиночестве играя на скрипке. Тем не менее эта легенда, единственная из всех, отчасти опирается на подлинные факты. С той поры, как музыка утешала Октава от его печалей в коллеже, она навсегда осталась для него, как и для его брата, одной из главных страстей, и он любил смешивать ее с лесными звуками и запахами. В одном из писем Октав упоминает, что каждый вечер в самой гуще леса играл на своем драгоценном Гварнери сонату Мендельсона. Он добавляет, что уже давно поставил крест на такого рода удовольствиях. Однако г-жа Ирене отмечает, что за несколько дней до смерти сына очень беспокоилась, когда сырым апрельским вечером он долго оставался на улице со своей скрипкой. В деревне знали также, что любого ничтожного итальянского гитариста, монотонно наигрывающего на дорогах неаполитанские напевы, любую группу странствующих музыкантов, любого шарманщика дружески принимает в замке тот, кого все еще называли «молодой хозяин», и что ему нравится слушать их, прячась в кустах. Эти фантазии в духе Бекфорда46 и Людвига II47 несомненно запечатлелись в воображении людей.

Другие слухи, уже совсем ни на чем не основанные, утверждали, будто Октаву нанес роковой удар какой-то бродяга или браконьер. Их несомненно породили одинокие прогулки отшельника, всегда вооруженного карабином, и то, что было известно, как легко он принимает у себя первых встречных и раздает милостыню, но главное то, что в деревне всегда безумно, почти панически боятся злоумышленников. Наконец, шепотом поговаривали о несчастном случае, вроде того, который унес когда-то жизнь Ремо, — мол, гуляя с ружьем, хозяин не знал, что оно заряжено. Благочестивая ложь, окружившая смерть младшего сына, объясняет эти фантастические домыслы. К ним примешивается толика поэтического воображения, поскольку все в один голос утверждали, что поэт умер ночью в лесу, месте для него священном, где он вырезал на стволах слова, бывшие, судя по всему, лейтмотивом его лесных грез: NOX-LUX-PAX-AMOR [Ночь-Свет-Мир-Любовь (лат)] .

Но не только точное свидетельство г-жи Ирене и письма больного Октава, сама его натура в случае необходимости опровергли бы возможность попытки самоубийства. Тема эта

естественно интересовала поэта. Он чувствовал, что для некоторых людей, к числу которых он, без сомнения, относил Ремо, добровольная смерть являлась страстным утверждением жизни, плодом избытка сил, отнюдь не свойственного ему самому. Вдобавок христианские убеждения Октава отрицали такой способ ухода. Эту тему не стоило бы затрагивать, если бы мы не знали, с какой легкостью каждый человек, даже более стойкий, чем Октав, совершает поступки, которые сам осуждает или которые ему запрещает его вера, а если и не совершает, то хотя бы приближается к ним до головокружения близко. Желание умереть могло быть одним из «*пятен ночи*» Октава. Характерно, что в двадцать лет он сожалел, что ему уже больше не двенадцать, в сорок четыре говорил, что перестал скорбеть о смерти Мориса Герена, творчеством которого страстно восхищался: «*Хорошо, что он умер; теперь ему было бы шестьдесят шесть*». В пятьдесят Октав, по его собственным словам, колебался между страхом смерти и усталостью от жизни. По крайней мере какая-то часть его «я» хотела вырваться из плена времени, «*бурного моря, по которому плавают формы*». В подобных случаях тело человека часто само по себе принимает решение, которое не смеет принять его дух. Октав допускал такую возможность на психологическом или, скорее, на алхимическом уровне, когда человек словно извне, не понимая этого до конца, наблюдает за разрушительной работой, которую спровоцировал, сам того не ведая. Не было необходимости ни в каком насильственном жесте, ни в каком мелодраматическом эпизоде. «*Такая естественная вещь — метаморфоза*». Смерть торжествовала повсюду, не нуждаясь ни в звучащем при лунном свете Гварнери, ни в кулачном ударе простолюдина, ни в заряженном по рассеянности ружье.

Жизнь Октава, которая, на первый взгляд, кажется нам до неприличия легкой, несомненно стоила ему изнурительных усилий. И в мелочах, и в крупном он сделал немало уступок своим близким, провинциальной среде богатых буржуа, непробиваемость которой он осуждал иногда в выражениях не менее горьких, чем его брат, уступок, наконец, тому благонравию, приверженность которому он сохранил до конца своих дней. В некоторых вопросах Октаву удавалось проявлять мощную силу инерции, свойственную людям слабым. Ведь наверняка его родители, потом его овдовевшая мать мечтали для него об успехах на школьном и университетском поприще, для которых он не был создан; потом его, очевидно, соблазняли блеском какой-нибудь традиционной для семьи карьеры. («*Я не стану управлять нашими землями, не поеду заседать в каком-нибудь*

кресле, я буду цепляться за свою вершину».) То же самое касалось и женитьбы. Этому денди, который признавался, что плохо танцует и не умеет болтать с барышнями о побрякушках, ставили в пример двоюродного брата Артура, который долго противился радостям семейной жизни, но в конце концов женился на своей кузине Матильде, очаровательной молодой особе и к тому же богатой невесте. Позднее г-жу Ирене осчастливил брак Эмиля с сенаторской дочкой («*Это самый прекрасный день в моей жизни*»), который заронил в нее надежду, что Октав последует примеру брата. Но надежда оказалась напрасной. Ригоризм того времени усложнял дело: когда Октав напрямик признался своему старому благомыслящему приятелю, что у него связь «*с блондинкой*», честный малый рвал и метал, умоляя Октава порвать с любовницей или немедля жениться на ней, хотя, вероятно, вопрос так не стоял. В этом благопристойном обществе не было места никаким хитросплетениям чувства и чувственности.

Интеллектуальные заблуждения младшего брата, «*этого несчастного ребенка*», несомненно вызывали в семье нескончаемые споры, отголоски которых можно найти в книгах Октава, если их внимательно читать. Октав слишком часто менял свою точку зрения на этот счет и потому не мог не заслуживать упреков того, кто внезапно ушел из жизни. Книга Октава о Ремо, на наш сегодняшний взгляд, обезображена таким количеством пустых ораторских оговорок, испорчена такими неумелыми попытками исказить правду о последних минутах жизни главного героя, что можно подумать, будто Октав сознательно желал, чтобы читатель его разоблачил. Надо полагать, запреты и подсказки сильно давили на Октава, если даже в 1952 году конформист-биограф поэта постарался уклончиво заметить, что Фернан-Ремо «*гонялся, сам не зная, за какой химерой»,* и ни словом не упомянул ни о его либеральных взглядах, ни о его пацифизме, ни о его позитивизме, затушевывая драму его разногласий с семьей. Тот же биограф презрительно именует «романом» единственное произведение, в котором Октав, опираясь на письма брата, посмел почти что взглянуть в глаза правде. Удивляться не приходится: авторы биографических трудов очень часто либо замалчивают, либо преспокойно отрицают самое главное. То, что вначале Октав опубликовал свой маленький труд без имени автора в десяти экземплярах, потом ободренный несколькими доброжелательными отзывами, — в ста экземплярах, все так же анонимно, показывает, по какому минному полю он шел. Это робкое произведение потребовало от него мужества.

Октав Пирме говорил «*о жизнях, которые сами себя сжигают в пламени странного, неосуществимого желания. Какой бы*

противоестественной ни была надежда, у нее всегда найдутся любовники». Октав считал, что поиски невозможного обречены на трагический исход, независимо от того, что составляет их цель: истина (а именно к ней, по мысли Октава, несомненно стремился Ремо) или красота, которую, по-видимому, в большей мере искал он сам. Паломничество Ремо очень быстро привело к возвращению юного Зигфрида, которого при свете факелов пронесли по лесным аллеям; паломничество самого Октава заканчивалось медленнее, при звуках патетической симфонии. Паллиативом против личных горестей, отягченных вдобавок невыносимым бременем всемирных бед, в какой-то мере могла служить вера в свои литературные способности. Однако Октав судил себя с проницательной строгостью. «*Признаюсь в этих строках*, — писал он в 1867 году Банселю, — *я начисто лишен таланта. Я неповоротлив, я с трудом вырываю из себя мысль, я вял, как переводной текст, и, по правде сказать, язык, которым говорит мое внутреннее «я», еще предстоит найти*». Признаки разочарования с годами не уменьшались, а множились. Октав не скрывал от себя, что принадлежит к той породе одаренных заик, о которых говорил Сент-Бёв. Он подошел к тому тупику, который описал сам, к тому мгновению, когда пленник задыхается в одной из оконечностей ромба.

Бельгийские газеты в почтительных выражениях сообщили о кончине Октава. «Это был хороший писатель», — лаконично отмечает «Эко дю Парлеман» «Это был один из редких у нас писателей» — скупо и справедливо уточняет «Газет де Брюссель». В местной, более сердечной прессе много говорится об «одной из самых благородных и уважаемых семей нашей округи», о «благородной и почтенной матери», о «достойном кюре», руководившем похоронным обрядом, о «славном молодом авторе», которому отдали дань «лучшие представители дворянства, духовенства и вообще населения района». Сообщают нам также, что деревенский орфеон играл на похоронах этого любителя музыки. Октав до конца остался сыном своей семьи, вечным молодым человеком и богатым филантропом, потерю которого оплакивали местные благотворительные общества. Все речи, однако, прежде чем они были произнесены, подверглись семейной цензуре. Родственники опасались, что «*бедняжку Октава*» причислят «*к деистам или даже к материалистам*».

Октава похоронили на хорах старой разрушенной церкви, с помощью г-жи Ирене ему когда-то удалось добиться, чтобы ее превратили в надгробную часовню, и тем предотвратить ее снос. В 1921 году молния сожгла крышу часовни, но памятник, окруженный новыми деревенскими постройками, сохранился до

наших дней. Он уже совсем не напоминает романтическое сооружение, которое, подняв глаза от книг, братья созерцали за высокими деревьями парка, думая о том, что однажды упокоятся там.

Я привожу здесь текст, посвященный «Блаженной памяти» Октава, как за десять лет до своей смерти сам поэт в книге о Ремо привел текст, посвященный памяти канцлера Гете, который его брат, тогда еще студент, получил из Веймара от любезной старой дамы из окружения великого человека. Правда, я не собираюсь сравнивать здесь славу и бренность, как это делает Октав в связи с автором «Фауста». Но эти несколько строк, посвященных Октаву, показывают, как быстро стираются индивидуальные особенности человека, преданного земле.

Счастливы, почившие в Господе.

Блаженной памяти

г-на Октава-Луи-Бенжамена Пирме,

скончавшегося в Акозском замке 1 мая 1883

в возрасте 51 года,

причастившись Святых даров

Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным.

Матф. X. 32

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию.

Иов XIX. 25

Длань свою открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся

Притчи XXXI

Прошу об одном, чтобы Вы поминали меня в своих молитвах.

Блаженный Августин

Кроткое сердце Марии, будь мне приютом

100 дней отпущения грехов

Милосердный Иисус, даруй ему вечный покой

Индульгенция на семь лет

Если не ошибаюсь, Октав, который к концу жизни говорил, что отныне находит прибежище только в молитве, на страницах своих произведений только два раза поминает Иисуса. В «Ремо» он отмечает, что гуманистические мечты его современников восходят к Евангелию; в другом месте он более проникновенно вспоминает слезы Христа, пролитые над Лазарем, Текст, посвященный «Блаженной памяти»

Октава выиграл бы, если бы расхожие цитаты, приведенные выше, были бы заменены прекрасными строками из Евангелия от Св. Иоанна. Но это никому не пришло в голову, а может быть,

родные предпочли им корректную банальность стихов, которые было принято цитировать. Не использовали они и Франциска Ассизского, святого, которого Октав особенно любил.

Но картинка, выбранная для этого ничем не примечательного текста, не лишена прелести. На ней, выполненной в стиле дешевых церковных поделок, в котором в ту пору, однако, еще ощущалась величавая манера XVII века, изображен длиннокудрый Апостол Иоанн в плаще, ниспадающем благородными складками, — он собирает в чашу кровь, стекающую со ступней Христа, распятого на кресте, причем виден не весь крест, а только его подножие. Эта гравюра, наверно, понравилась бы тому, кто подобным образом старался собрать кровь Ремо.

И, однако, на долю Октава выпал триумф, скромный, мимолетный, да и явившийся оттуда, откуда его трудно было ждать. Судя по всему, Октав только издали и как бы свысока следил за направлениями современной ему бельгийской литературы. Де Костеру49, умершему в нищете и забвении за пятнадцать лет до Октава, Пирме дал в свое время несколько полезных советов, соответствовавших странному гению самого творца Тиля Уленшпигеля; говорят, Октав ссудил его также деньгами. Но «Тиль», которому Пирме несправедливо отказывал в какой бы то ни было поэзии, несомненно шокировал его своим мощным реализмом и в еще большей мере бунтарским духом, каким веет от страниц романа. Дань уважения со стороны Жоржа Роденбаха50 и энтузиазм молодого Жюля Дестре51 запоздали: Октав уже умирал. Ему не пришлось стать свидетелем блестящего расцвета бельгийской поэзии, который он скромно подготовил, но при его несколько устарелых классицизме и романтизме едва ли он оценил бы символистов. Романисты натуралистической школы, которые пытались, иногда со скандалом, пробиться в стране, бывшей в ту пору одной из самых филистерских в Европе, наверняка зачастую коробили если не самого Октава, то других обитателей Акоза. Сомнительно, чтобы грубоватая чувственность Камилла Лемонье52 могла прийтись по вкусу этому любителю призраков. И, однако, статья, которую Лемонье посвятил «Ремо», глубоко тронула Октава. Когда романисту, обвиненному в непристойности, из-за его распрей с правосудием отказали в какой-то национальной премии, университетская молодежь Брюсселя решила вознаградить Лемонье, устроив банкет в его честь. На банкет пригласили Октава, который приглашение принял. Он скончался за три недели до назначенной даты. Банкет состоялся 25 мая 1883 года, и на месте, где должен был бы сидеть умерший поэт, лежала громадная охапка полевых цветов. Негромкое слово Октава, которое он сам считал таким

несовершенным, было, стало быть, кем-то услышано и воспринято. Октава тронула бы эта дань уважения от тех, кого он называл «*счастливой молодостью*».

Прежде чем предоставить двум этим теням навсегда исчезнуть за переправой через реку смерти, я хочу задать им несколько вопросов о себе самой. Но сначала я должна сказать им спасибо. После долгой череды предков по прямой и боковой линии, о которых неизвестно ничего, кроме разве что даты рождения и смерти, наконец — две души, два тела, два голоса, которые пылко или, наоборот, сдержанно выражают свои чувства, два существа, чьи вздохи, а иногда крики ты слышишь. Когда с помощью отрывочных семейных воспоминаний я рисую свою бабку Матильду или своего деда Артура, я, чтобы дополнить их образ, сознательно или нет, использую кроме всего прочего то, что мне вообще известно о благочестивой супруге и о добропорядочном помещике XIX века. Наоборот, то, что из сочинений Октава и Ремо я узнала о них самих, выходит, так сказать, за пределы их собственной личности и бросает отсвет на их время.

Чтобы вписать этих двух братьев в соответствующую перспективу, поглядим на небольшую группу людей, более значительных, чем они, и уж безусловно более известных, которые также «*цеплялись за свою вершину*» на том же отрезке века. В 1868, когда Ремо борется с ужасом перед мировым злом, Лев Толстой на постоялом дворе жалкого русского городишки Арзамас проводит в тоске и видениях ночь, которая распахнет перед ним запертые (или уже неосознанно приоткрытые им) двери, и это сделает из него нечто большее, чем просто гения. В сентябре 1872-го, когда Ремо тщательно подготавливает свое самоубийство, Рембо вместе с Верленом отплывает на корабле в Англию, а потом пускается в путь к Харару и навстречу своей смерти в марсельской больнице. Если за два года до этого Октав зашел бы в «Зеленое кабаре» в Шарлеруа, он мог бы оказаться рядом с лохматым юношей, пришедшим пешком из родного Шарлевиля с черновиком «Пьяного корабля» в кармане штанов. Я не пытаюсь набросать здесь сцену из романа: буйный архангел, которого в тот момент больше всего волновали громадные груди служанки, подавшей ему кружку пива, не признал бы в хорошо одетом господине бледного серафима, а последний наверняка отнесся бы к пророку, как к проходимцу. Если в 1873 году слухи о выстреле Верлена53 дошли до ушей Октава, ссора двух сомнительных поэтов показалась бы ему одним из эпизодов газетной хроники, слишком гнусных, чтобы упоминать о них за обеденным столом.

В 1883 году, за три месяца до того, как умер старший брат Ремо, в одном из венецианских дворцов испустил последний вздох сраженный грудной жабой Вагнер, унеся с собой тайну «*странных мелодий*», которые увлекли «*лучезарную душу*» по ту сторону порога. В том же году уходит из жизни Маркс, а за семь лет до него Бакунин. Штарнбергскому отшельнику Людвигу Баварскому еще три года предстоит сражаться с призраками и с собственной плотью («*Больше никаких поцелуев, государь! Никогда никаких поцелуев!*»), прежде чем кануть в воды озера Рудольф Габсбургский, своим рангом кронпринца обреченный на политическое безвластие, чередуя одну охотничью забаву другой и меняя одну любовницу на другую, вступает на путь, который в январе 1889 года приведет его в Майерлинг. Его мать, прекрасная тень по имени Элизабет54, читает Гейне в своих садах на острове Корфу и, прижавшись к мачте, наслаждается бурями греческих морей. Флоренс Найтингейл55, вернувшаяся из Скутари с болезнью сердца, почти пятьдесят лет проведет в Лондоне, прикованная к своему шезлонгу. Основатель Красного Креста Дюнан скитается из страны в страну, пытаясь найти поддержку своему начинанию, к которому люди пока еще относятся равнодушно или с подозрением; нищий, полубезумный, он в 1887 году исхлопочет для себя место в богадельне Аппенцеля, где переживет себя на долгие годы. В Сильс-Мария Ницше, потрясенный посредственностью буржуазной и бисмарковской Германии, примерно с 1883 года начинает вещать голосом Громовержца-Сверхчеловека; в 1888 году в Турине, измученный, побежденный, он бросится на шею исхлестанной лошади и навсегда погрузится в долгий сумрак. Обосновавшись в Риме, Ибсен заканчивает своего пророческого «Врага народа», в котором человек в одиночку борется с физическим и моральным загрязнением мира. До срока сдавшийся Флобер умолкает с 1880 года, растерявшись так же, как и его Бувар и Пекюше56. («*Мне кажется, я иду неведомо куда через бесконечную пустыню… И сам я одновременно и пустыня, и странник, и верблюд*»). В год смерти Октава Джозеф Конрад кочует между Ливерпулем и Австралией. Только в 1887 году он получит в Брюсселе патент капитана на судне, идущем в Конго, и только два года спустя вернется в тот же город с разбитыми телом и душой, потому что ему выпало увидеть «*сердце тьмы*» колониальной эксплуатации. Ремо, который чувствовал бы и страдал так же, как Конрад, к счастью, умер слишком рано, чтобы познать эту сторону африканской драмы. Что до Гюго, восьмидесятилетнего пророка, который умрет в 1885 году, он еще слагает александринские строфы, еще занимается любовью, думает о Боге, задумчиво созерцает

обнаженных женщин. Теннисон57 дотянет до 1892-го и только тогда переступит черту. Рядом с этими прославленными именами кажется смешным упоминать Ремо, который, по выражению его брата, как бы остался без погребения, окруженный общественным равнодушием, и бледного Октава, о котором мимоходом упоминают учебники бельгийской литературы. И, однако, оба брата также были подхвачены вихрями, бушевавшими на громадной высоте над эпохой, издалека кажущейся нам инертной толщей, которая, словно огромная насыпь, нависла над бездной XX века.

Два двоюродных деда (деды, так сказать, на бретонский манер58, а вернее, на манер Эно) — родня не слишком близкая. Однако брак между состоявшими в родственных отношениях Артуром и Матильдой приближает ко мне две эти тени, поскольку четвертинка моей крови и половина их собственной текут из общего источника. Но меры жидкости мало что доказывают. Внимательный к подробностям читатель уже мог отметить черты сходства и различия между, с одной стороны, двумя братьями (такими, впрочем противоположными друг другу) и их внучатой племянницей, с другой. Различия определяются эпохой, судьбой, наконец, в меньшей степени, чем можно подумать, полом, потому что молодой человек в шестидесятые годы XIX века был свободен и стеснен примерно в том же, в чем была свободна и в чем стеснена молодая женщина в двадцатых годах XX века. Сходство чаще всего определяется культурой, но, начиная с определенного уровня, культура предоставляет возможность выбора и невольно приводит нас к более тонкому переплетению подобий. Как и оба брата, я читала Гесиода и Феокрита, повторила, сама того не зная, маршруты их путешествий по миру, уже более истерзанному и изъязвленному, чем в их время, но который сегодня, по прошествии сорока лет, по контрасту кажется нам почти незагрязненным и стабильным. Труднее поддаются определению черты сходства и различия, диктуемые социальным положением и денежными средствами: первое играло, по крайней мере для меня, роль меньшую, чем для сыновей Ирене на полвека раньше. Деньги, *il gran nemico* [великий враг (итал.)], которые порой бывают и великим другом, значили одновременно и больше, и меньше.

По крайней мере в одной области Ремо обошел меня на несколько корпусов. Уже в двадцать лет, вопреки наивным надеждам, которые впоследствии у него развеялись, Ремо, «*неистощимая душа*», как называл его брат, почувствовал контраст между жизнью, божественной по самой своей природе, и тем, во что ее превратил человек или общество, которое есть не

что иное, как человек во множественном числе. В плавание «по морю слез», которое через Шопенгауэра Ремо заимствует из буддийских сутр, я пустилась очень рано — там, где стираются мои воспоминания, мне подтверждают это мои книги. Но только к пятидесяти годам горечь Ремо пропитала мою душу и тело. Я не могу, как он, похвалиться тем, что любила «*только девственницу в грубой рясе — чистую мысль*»; однако мысль, а иногда и то, что выходит за ее пределы, занимала меня с младых ногтей; в отличие от Ремо я не умерла в двадцать восемь лет. В двадцать лет я, подобно ему, полагала, что на вопросы, поставленные человеком, лучший, а может быть, единственно правильный ответ дала Греция. Позднее я поняла, что единого ответа Греции не существует, было множество ответов, данных разными греками, и среди них надо выбирать. Ответ Платона не похож на ответ Аристотеля, а Гераклит отвечает не так, как Эмпедокл. Я убедилась и в том, что условия задачи слишком многообразны, чтобы один-единственный ответ, каким бы он ни был, мог объять все. Но период эллинистского энтузиазма Ремо, который приходится на время между выходом в свет «Пути из Парижа в Иерусалим» и «Молитвы на Акрополе»60, возвращает меня к моей собственной молодости, и я по-прежнему думаю, что, несмотря на все рухнувшие иллюзии, мы были не совсем неправы. «*Среди этих развалин*, — говорит Ремо, — *я вспомнил о том, как древние представляли себе Елисейские поля: места блаженства, где идет беседа с душами мудрецов... Как благородна эта мечта! Сразу представляешь себе людей, которым не чинили препятствий в их нравственном развитии, и чья молодость крепла на свободе. Их не пеленали с колыбели слишком туго... Читая Платона, я был поражен целительной атмосферой, в которой осуществляла себя его мысль... Самым отрадным впечатлением, вынесенным мной из моего путешествия, будет то, что я почувствовал красоту греческого духа, белоснежного и прочного, как паросский мрамор*».

Остановившись по пути в Делосе, который тогда еще не наводняли организованные туристы, молодой путешественник как-то вечером совершил прогулку по лавровой роще, с тех пор наверняка вырубленной во время последующих раскопок; он увидел в ней статую эллинистического периода. «*Медленно всплывала луна, похожая на серебряную медаль... Шумело море, слышен был только его хриплый гул...*».

Ремо хотелось, чтобы получилось красиво, в данном случае это означает, что он хотел передать красоту, которую почувствовал в этих священных местах, но склад ума уводит его далеко от Шатобриана и Ренина, в грезы наяву или в одну из сказок немецких романтиков — наверно, он полюбил их в

Веймаре. При свете луны ему кажется, что мраморное лицо статуи выражает несказанное страдание: ему чудится, что он узнает тройственную Гекату, чья небесная форма — Селена. Он высказывает предположение, что светило воплотило в себе душу богини, образ которой лежит у его ног, оживленный на миг лунным лучом. «*Я, Геката, присутствую при собственном искуплении за кровь стольких невинных жертв*».

Между молодым человеком 1864 года и той, кто случайно стала его внучатой племянницей и бродила в этих же самых местах незадолго до 1930 года, здесь прошли тысячи паломников; позднее им на смену явились толпы других; но многим ли из них приходила мысль о животных, которых каждый день приносили в жертву на этих мраморных алтарях, украшенных чистым ветвистым орнаментом? Эта общая забота роднит нас с Ремо. Однако вопреки тому, что, судя по всему, полагал Ремо, царство Гекаты не пришло к концу. За последнее столетие миллиарды животных были принесены в жертву науке, ставшей богиней, а из богини — кровавым идолом, как это почти неизбежно случается с богами. Животных медленно душат, ослепляют, сжигают, заживо вспарывают, в сравнении с такой смертью жертвоприношения древних кажутся невинными, как в сравнении с нашими бойнями, где живых животных подвешивают так, чтобы облегчить убийство по конвейеру, кажутся относительно чистыми деревянный молоток гекатомб и жертвы, украшенные цветами. Что до человеческих жертв, которые греки относили к легендарным временам, в наши дни во имя родины, расы, класса их более или менее повсюду приносили тысячи людей, убивая миллионы других. Невыразимая печаль мраморного лица должна была усугубиться.

С Октавом, фигурой более расплывчатой, мои связи определить труднее. Я свысока оценила его страстное стремление показать окружающим лишь ту сторону своей натуры, которую он считал лучшей, — в двадцать лет я бы его поняла. Мои честолюбивые мечты выражались тогда в желании остаться анонимным автором (в крайнем случае, автором, которого знают только по имени и двум датам, может быть, даже неточным) пяти-шести сонетов, вызывающих восхищение десятка читателей в каждом поколении. Очень скоро я отказалась от подобных мыслей. Литературное творчество — это поток, который захлестывает все; в этом потоке личные сведения о нас — не более, чем отстой. Тщеславие писателя или его скромность мало что значат перед великим явлением природы, которое в нем разыгрывается. И, однако, в сравнении с болезненным эксгибиционизмом нашего времени скрытность Октава, тоже

болезненная, мне симпатична.

Навострив уши, слушаю я некоторые его рассуждения об истории: в лучшем случае она для него образец, чем она была для многих светлых умов прошлого и чем в тяжелые минуты вновь становится для нас. Однако я улавливаю в его отношении к ней и более личную нотку. Сидя на ступенях Колизея, он думает о юных христианах, которые, говорят, были здесь замучены, и его терзает мысль о том, что страдания множества молодых безымянных жертв, в каком-то смысле объединенных прекрасным образом Святого Себастьяна, навсегда останутся для него предметом обобщенной жалости, ему невозможно прочувствовать каждую из этих давних агоний в отдельности. Сходная волна печали накатывает на него, когда он думает о неизвестных людях, своих современниках, которых мог бы полюбить, но которых ему никогда не встретить среди миллионов обитателей земли. Историк-поэт и романист, каким я пыталась стать, пробивает брешь в этой невозможности. Октав такой попытки не сделал, но мне мил в нем этот жест — протянутые руки.

В каждом совпадении есть элемент чуда. Посетив в 1865 году галерею Уффици, Октав мимоходом отмечает картины, которые произвели на него самое большое впечатление. Его вкусы несколько отличаются от наших, ведь эстетика — это вечные качели. Октав еще восхищается академической живописью, тогда в полной славе: Доминикино, Ле Гверчино, Ле Гвидо и одновременно «*лучезарным реализмом*» Караваджо, всем тем, что будут хулить два-три последующих поколения и что в наше время начинает цениться вновь. Ему уже нравится Боттичелли, перед которым в ближайшие пятьдесят лет люди будут почти до неприличия млеть. Но особенно подробно, посвятив ему целую страницу, он описывает произведение одного из тех примитивов, которых он еще рассматривает как очаровательно неумелых, а именно «Фиваиду Египетскую», в ту пору приписываемую Лаурати, а позднее разным другим художникам. Это та самая картина, с фотографией которой — полуиконой, полуталисманом — я не расставалась лет двадцать. На чистом и пустынном фоне, где, однако, виднеется здесь тосканская роща, а там часовня, отличающаяся скупым флорентийским изяществом, мистические монахи приручают газелей, танцуют с медведями, запрягают тигров, пускают иноходью послушных оленей; они беседуют со львами, которые, когда жизнь монахов придет к концу, погребут их в песке; они живут в повседневном общении с зайцами, цаплями и ангелами. Меня пленяет мысль, быть может, наивная, что этот образ, в моих глазах олицетворяющий совершенную жизнь, для «дяди Октава» олицетворял жизнь ангельскую.

Летом 1879-го, а может быть, 1880 года поэт в элегантном костюме из белого репса и несомненно в соломенной шляпе, привезенной из Италии, идет по берегу Хейста. Именно в этот маленький рыбацкий поселок на побережье Западной Фландрии поместила я эпизод из «Философского камня», когда Зенон, спасаясь от западни, которой стал для него Брюгге, делает попытку перебраться в Англию или Зеландию, но отказывается от нее из отвращения к низости, двойной игре и непробиваемой глупости тех, кто предлагает помочь ему бежать. В свое время, склонившись над дорожной картой Фландрии, я искала точки, наиболее близкие к Брюгге, откуда беглец мог, не опасаясь слишком бдительного надзора, пуститься в плавание и куда было бы под силу дойти пешком хорошему ходоку пятидесяти восьми лет. Мне надо было также избежать названий, которые слух воспринимает, как рекламные объявления о тех местах на берегу моря, где можно недорого провести отпуск: Вендёйне, Бланкенберге, Остенде. Хейст звучал явно по-фламандски и в то же время не вызывал туристических ассоциаций и был, как я и хотела, достаточно близко к Брюгге. Тогда, само собой, я еще не знала, что за восемьдесят лет до того Октав с матерью, презирая рулетку и кокоток с модных пляжей, избрали для летнего отдыха эту захолустную дыру.

В 1880 году это место едва ли изменилось по сравнению с XVI веком. Была, однако, построена плотина, sine qua non [Здесь: непременная принадлежность (лат.)] водного курорта. И нетрудно представить себе там музыкальный павильон. Кокетливые виллы еще не испортили берег. «*Пляж почти безлюден. По вечерам десять-двенадцать рыбачьих лодок бросают в песок свои якоря, выгружая странной формы рыб, которых таит в себе океан. По утрам на пляж выкатывают кабинки, и оттуда спускаются в воду купальщицы. Молодые иностранки, которые только что прогуливались по плотине в своих элегантных туалетах, теперь борются с огромными пенистыми волнами*». Купальщицы чаруют Октава, потому что пугливые детские движения выдают их слабость.

Оставив мать в кресле-кабинке, где она может вкусить положенную — и не более того — дозу целебного морского воздуха, Октав в одиночестве следует за отступившей волной. Он хочет, по его словам, «*услышать, как трепещет водная ширь*». Он печален. Стараясь не замочить обувь, он аккуратно обходит большие сверкающие лужи, оставленные отливом несколько часов назад. Он не любит моря. (Я уверена, что психоаналитики жадно набросятся на это замечание, которое, однако, звучит игрой слов только по-французски, где «море» и «мать» омонимы).

«*О, бедный поселок Хейст! Как ты угрюм, как бледно твое море!*» Октав надеется, что скоро с ним рядом будет Жозе, который обещал приехать через несколько дней — дружеское присутствие поможет ему сносить зрелище волн. «*Природа гложет свою узду; она недовольна своей судьбой; она надеется разбить невидимые ковы, наполняя душу наблюдателя глубокой тревогой. Зрелище этой громады рабства отвлекает человека от страданий его братьев; социальная несправедливость, частные утраты тускнеют в его глазах. В конце концов он может дойти до того, что признает право за силой... Морю приписывают благородство, но я его не вижу. Я вижу только свирепость, горячку и смену дерзких наскоков, падений и отступлений*». Во взбаламученной материи, обрушивающейся на волнолом, Октав угадывает ненасытность толпы, состоящей из множества чудовищ.

Вдруг в недвижном полдневном свете сквозь Октава и сквозь молодых англичанок, не видя их, проходит человек в потрепанной одежде. Aqua permanens [вечная вода (лат.)] . Пугающая Октава громада воды для него очистительна. Волна и ее беззлобная мощь, бесконечность, заключенная в каждой струйке песка, безупречный изгиб каждой раковины являют ему математически совершенный мир, который служит противовесом другому, жестокому миру, в котором он вынужден жить. Он раздевается; в эту минуту он — не человек XVI века, а просто человек, худощавый и сильный, уже немолодой, с мускулистыми руками и ногами, с выступающими ребрами, с седыми волосами внизу живота. Он вскоре умрет жестокой смертью в тюрьме Брюгге, но эта дюна и этот гребень волны — абстрактное место его подлинной смерти, то место, где он вычеркнул из своего сознания мысль о бегстве и о компромиссе. Линии пересечения между этим обнаженным человеком и господином в белом костюме сложнее линий часовых поясов. Зенон оказался в этом месте на земле почти день в день за три века, двенадцать лет и один месяц до Октава, но я создам его на сорок с лишком лет позднее, а эпизод купанья на берегу Хейста придет мне в голову только в 1965 году. Этих двух людей, того, кто невидим, еще не существует, но от кого неотделимы одежда и аксессуары XVI века, и того денди 1880 года, который через три года станет призраком, связывает единственная нить — маленькая девочка, которой Октав любит рассказывать разные истории, и которая носит в себе, только как некоторую микроскопическую возможность, частицу того, что станет однажды мной. Ну а Ремо, он тоже присутствует где-то здесь, в этой сцене, крохотным волоконцем в сознании меланхолического старшего брата. За восемь лет до этого он пережил кровавую агонию, сравнимую с

той, что выпала на долю человека из 1568 года, правда, более короткую, но узнаю я о ней лишь в 1971 году. Время и даты, подобно солнечным лучам отражаются от луж и песчинок. Мои взаимоотношения с этими тремя людьми просты. К Ремо я испытываю чувство пронзительного уважения. «Дядя Октав» иногда раздражает меня, иногда трогает. Но Зенона я люблю, как брата.

Фернанда

Смерть Матильды мало что изменила в повседневном обиходе Сюарле. Фрейлейн уже много лет назад взяла на себя роль воспитательницы и экономки — она продолжала ее исполнять, следуя наставлениям, которые ей когда-то давала хозяйка, или, может быть, наоборот, которые она сама внушила хозяйке. Сообразуясь со вкусами покойной одевали девочек и, когда возникала надобность, обновляли ковер или обои. Возможно, эта регентша некоторое время опасалась, что хозяин женится вторично и его женитьба перевернет семейный уклад. Но, как известно, это не произошло; в сравнении с возможностью подобной ломки жизненного распорядка, Дама из Намюра, которой никто никогда не видел, была вполне приемлемым компромиссом. Трудно было только примириться с тем, что самые лучшие фрукты, самые свежие ранние овощи, сезонная дичь — все отправлялось упомянутой особе. Фрейлейн так и не простила г-ну де К. де М. непрестанного оскорбления, которое ощущалось за каждой трапезой, и это свое негодование передала детям.

Пока я в самых общих чертах представляла себе детство и отрочество Фернанды и ее семерых братьев и сестер, мое воображение рисовало мне стайку детей, такую, как в романах Толстого или Диккенса: веселая ватага, рассыпавшаяся по гостиным и коридорам большого дома, танцы, светские игры, поцелуи, которыми под Рождество обмениваются с кузенами или деревенскими соседями, девочки в шелестящих платьях, поверяющие друг другу свои влюбленности и помолвки. Но помимо того, что Эно — это не Россия и не Англия, условия жизни в Сюарле были, судя по всему, не слишком подходящим фоном для таких изящных картинок. Я забывала, что в многодетных семьях разница в возрасте между детьми часто бывает огромной, в особенности, когда между живыми вклиниваются умершие. Фернанде было два года, когда ее сестра, двадцатилетняя Изабель, вышла замуж Сюарле за своего троюродного брата Жоржа де К. д'И. Хорошая подходящая партия, которая, как все подобные браки, несомненно подготавливалась заблаговременно с учетом точного соотношения ценных бумаг и земельных владений — возможно, Матильда перед смертью успела ее благословить. В день свадьбы Фернанда наверняка появилась только за десертом на руках у Фрейлейн, чтобы дамы, как это принято, могли ее потискать.

Жозефина и Зоэ, соответственно на десять и девять лет

старше маленькой Фернанды, смогли дольше играть по отношению к ней роль миленьких мам и взрослых сестер. Но, как позднее сама Фернанда, они заканчивали образование в монастыре. Зоэ — пансионерка Английских дам в Пасси, откуда она пишет отцу коротенькие благонравные письма о том, что она ест сырое мясо для укрепления сил, и о том, с какими трудностями сталкивается девушка, желающая заниматься верховой ездой: манеж на Елисейских полях слишком дорог, а на манеже в Шато д'О бывают дамы из неподходящего общества. Октав и Теобальд в коллеже. Что до Гастона, уже почти взрослого, с его присутствием в семье, как мы уже видели, просто мирились, похоже, без всякой нежности, но, впрочем, и без той неприязни и смутного отвращения, смешанного с некоторой долей страха, которые умственные калеки зачастую вызывают у своих братьев и сестер. Тем не менее, Фернанда, которая об очень многом откровенно рассказывала мужу, никогда ни словом не обмолвилась об убожестве старшего брата, и это, по-видимому, доказывает, что существование несчастного Гастона было обузой для семьи.

Фрейлейн будит девочек зимой в семь утра, летом — в пять. Жанна, которая одевается медленней других, встает на несколько минут раньше. Сестры бесшумно проходят мимо отцовской спальни. Жанна спускается по лестнице на ягодицах — так она поступала до конца своих дней — что неизменно вызывает добродушные шуточки, произносимые почти шепотом. Фрейлейн и одна из горничных подхватывают калеку под руки. В дождливую погоду маленький кортеж отправляется в церковь под зонтиками в плащах и блестящих галошах; когда выпадает снег, в ход обязательно идут пальто на ватине, капюшоны и гамаши, которые из предосторожности надевают поверх ботинок. Летом картину оживляют платья младших девочек и солнечные зонтики Зоэ и Жоржины. Маленькая Фернанда семенит, замыкая шествие; впоследствии французский зять Фернанды Бодуэн, большой любитель велосипедной езды, прозвал эти мелкие шажки «коротким холостым ходом». Выходя из церкви, Фрейлейн каждый раз почтительно останавливается у могилы хозяйки.

Первый завтрак, всегда в отсутствие хозяина, едят, если можно так выразиться, по-немецки. То же касается и второго завтрака. Промежуток занят уроками, которые прерывает короткая пауза. После дневной еды двадцатиминутный отдых. Фрейлейн, расположившись в маленькой гостиной, делает вид, будто не дремлет в кресле. Старшие барышни занимаются вышиванием, Жанна вскоре обнаруживает замечательные способности в этом искусстве: ее маленькие руки, которые не

могут удержать ни ложку, ни чашку, сноровисто и уверенно орудуют иглой. Девочки занимаются также росписью по фарфору и вырезанием. С двух часов опять уроки, которые длятся до шести с перерывом на прогулку и веселую минуту полдника. В шесть часов Фернанда, старшие девочки, а если это каникулы, то и мальчики поднимаются по лестнице, чтобы умыть лицо и руки теплой водой из маленького кувшина, который горничная уже поставила у каждого умывальника; старшие барышни снимают передники и повязывают волосы лентой. Жанне оказывают те же услуги на нижнем этаже, чтобы избавить ее от необходимости лишний раз подниматься по ступеням. В пятницу и субботу включают аппарат для подогрева ванной, и девочки погружаются в воду во фланелевых рубашках. Фрейлейн, которая по утрам и вечерам обливается ледяной водой, презирает этот слишком барский способ соблюдать гигиену.

За ужином г-н де К. де М. почти всегда восседает во главе стола. Если за едой разговаривают, то только по-французски, но обычно здесь царит монастырское молчание — каждый безмолвно поглощает свою порцию многочисленных блюд, вкусных, обильных и простых; нет здесь только, как мы уже знаем, свежих овощей и скупо представлены фрукты. Дети не имеют права открыть рот, пока папенька не задал им вопрос, чем он нечасто себя утруждает. Разве что время от времени неожиданно спросит, как учатся мальчики и как выполняют свои уроки старшие девочки, — и те и другие от растерянности не всегда сразу находят ответ. Но, похоже, такие безмолвные трапезы были в Сюарле традицией. В дневнике моей двоюродной бабки Ирене отмечено, что на полвека раньше четыре мадемуазель Дрион за столом не обменивались ни словом.

После ужина папенька зимой и летом усаживается у камина. Он распечатывает газету, которую получает из Брюсселя, после чего на полчаса воцаряется молчание, еще более глубокое, чем за едой. Фрейлейн у лампы вышивает на пяльцах и, когда у нее возникает необходимость воспользоваться маленькими ножницами, старается как можно бесшумнее класть их на столик рядом. Дети сидят вдоль стен, прижавшись выпрямленной спиной к спинкам изогнутых стульев и благонравно держа руки на коленях. Этот сеанс неподвижности считается упражнением в хорошей осанке и благопристойных манерах. Маленький Октав, чтобы время шло быстрее, придумал, однако, немую забаву — состязание в гримасах. Щеки надуваются или, наоборот, втягиваются, глаза мигают, скашиваются, вращаются; язык бесстыдно выставляет напоказ свой кончик или свисает как тряпка; рот проваливается, как у беззубого старика, или уродливо

растягивается, придавая юным лицам апоплексический вид. Лоб морщится, нос подергивается, как у жующего кролика. Фрейлейн, которая все видит, сгибается над пяльцами, делая вид, будто... Правила игры требуют сохранять при всех этих кривляньях полную серьезность. Хихиканье, смешок, даже заглушенный, могут заставить г-на де К. де М. отвести свой лорнет от газеты: при мысли о катастрофе, которая тогда разразится, всех бросает в дрожь. От придворных и городских новостей г-н де К. де М. переходит к парламентским прениям, которые прочитывает от строчки до строчки, бросает беглый взгляд на новости из-за границы, смакует, ничего не пропуская, судебную хронику, биржевые сообщения и отчет о спектаклях, которые он не увидит. Потом тщательно складывает газету и кладет ее в корзину с дровами — она пойдет на растопку. Лица вдоль стен уже опять стали гладкими и невинными. Дети один за другим встают и подходят к отцу, чтобы поцеловать его, пожелав спокойной ночи.

Летом детей на четверть часа выпускают на волю, под липы — в чашке у Фрейлейн, которой каждый вечер подают отвар, прошлогодние цветы этих лип. Шумит и трепещет мощная ночная жизнь: шевелятся прихваченные лунной изморозью листья, попискивают, испугавшись хищника, птицы, высиживающие птенцов, во влажной траве хором поют лягушки, колотятся о большую масляную лампу насекомые, рискующие упасть в липовый отвар гувернантки. В конюшне совсем рядом бьет копытом лошадь; кучер с фонарем обходит свой мирок; вдали фермер хлопает тяжелой дверью хлева, где только что отелилась Рыжуха. Но дети из Сюарле — душой горожане: ничто не волнует их в окружающей природной среде. Их внимание скорее привлечет поблескивающий на балконе огонек сигары г-на Артура, чем усеявшие небо звезды. Однако пора возвращаться в дом: Фрейлейн сказала, что уже слишком свежо; каждый берет на консоли в прихожей свою свечу. На смену игре в гримасы приходит другая игра — с тенями на стене, идущей вдоль лестницы. Жанна поднимается по ступенькам тем же способом, каким утром по ним спускалась. У отцовской двери понижают голос — папенька, наверно, уже спит. Перед сном никто не забывает помолиться, по крайней мере, так положено.

Обычай требует, чтобы 31 декабря дети письменно поздравляли отца с Новым годом: письмо, конечно, многократно переписывается, чтобы в нем не осталось ошибок. У меня случайно сохранились письма, написанные по этому случаю Фернандой в возрасте от девяти до двенадцати лет. Вот письмо, написанное в одиннадцать.

Дорогой папенька!

Позвольте по случаю Нового года пожелать Вам всего самого лучшего в этом году, прекрасного здоровья и долгой жизни, и при этом еще раз выразить Вам свою огромную, глубокую благодарность. Я молю Бога, дорогой папенька, чтобы в 1884 году он осенил Вас своим благословением и даровал нам счастье, еще долгие годы храня Вас в добром здравии для искренне любящих Вас детей и внуков и в особенности для почитающей Вас Вашей младшей дочери

Фернанды

Сюарле, 1 января 1884 года.

Нам неизвестно, как отвечал на эти излияния чувств г-н де К. де М. Его новогодние подарки детям наверняка выбирала в Намюре Фрейлейн. Во всяком случае, каждый ребенок получал золотую монету, которую имел право хранить до вечера, после чего ее клали на его имя в банк на счет с процентами — предполагалось, что это должно научить детей бережливости и умению считать доходы.

Такая семейная жизнь кажется в наши дни гротескной, или чудовищной, или даже и той и другой вместе. Но дети из Сюарле не сохранили о ней особенно дурных воспоминаний. Тридцать лет спустя постаревшие Октав, Теобальд, Жоржина и Жанна вспоминали о ней при мне умиленно, с затаенной улыбкой. Молодые хиловатые ростки сумели пробиться и расцвести между камнями.

Физическая ущербность Жанны, умственная ущербность Гастона, быть может, сыграли известную роль в том, что в Сюарле почти не вели светской жизни. Однако на некоторых официальных торжествах присутствовали неукоснительно. Г-н де К. де М. несомненно бывал на приемах у губернатора, а его дочери во время краткого промежутка между пансионом и замужеством — на местных дворянских балах. Они долго готовились к этим балам, а потом долго их вспоминали. Время от времени Фрейлейн вывозит барышень в Намюр, чтобы сделать покупки и нанести визит монахиням доминиканского монастыря. Кучер помогает мадемуазель Жанне взобраться в карету и выйти из нее.

Для визитов к родственникам семья из Сюарле может воспользоваться удобствами, железной дороги. К 1880 году железные дороги множатся, как в наши дни автострады, и кажется, что им суждено ветвиться и развиваться до скончания времен; вокзал становится символом современности и прогресса. Но хотя строгое разделение вагонов на три класса и поездки в купе, отведенных только для дам, позволяют строго соблюдать правила приличия, все-таки молодым особам из Сюарле

приходится сносить вокзальную толчею больших городов, таких, как Намюр и Шарлеруа; на Зоэ и Жоржину глазеют продавцы универсальных магазинов и, поднимаясь на ступеньку вагона, барышни рискуют оказаться предметом слишком настойчивой услужливости престарелых волокит. Впрочем, из-за увечья Жанны передвигаться таким способом вовсе не так удобно. Фрейлейн предпочитает, чтобы ее барышни ездили в доброй старой карете, а если путь слишком длинен, передвигаются на смешанный манер: сюарлеский кучер высаживает молодых хозяек на местном вокзале, а кучер тех, кто пригласил их в гости, приезжает за ними на другой вокзал, таким образом избавляя их от сложных пересадок. Карета — все равно что родной дом: здесь сервируют домашний обед, Фрейлейн проверяет, хорошо ли ее ученицы выучили уроки, и в который раз рассказывает им забавные и поучительные истории — их у нее в запасе несчетное множество, и поколение спустя они будут доводить меня до белого каления.

Есть среди них, например, история о старике, уже немного впавшем в детство, которого сын и невестка кормят отдельно, подавая ему еду в деревянной миске, чтобы она не разбилась, если старик ее уронит. Однажды сын замечает, что его собственный маленький сынишка что-то вырезает ножиком из подобранной деревяшки. «Что ты вырезаешь?» — «Вырезаю миску для тебя, когда ты станешь старым». Или другая история о мальчике, который вместе с отцом возвращается из деревни, где они купили кило вишен. Мальчику неохота нести слишком тяжелую корзину. Тогда отец берет ее у сына и по дороге ест вишни, выплевывая косточки. Каждые пять минут он по доброте душевной бросает на землю нетронутую вишню, которую малыш, нагнувшись, подбирает в пыли. Вот что выигрывает тот, кто не хочет быть услужливым. И, наконец, специально адресованная двум старшим барышням, уже невестам, жуткая история о девушке, которая во что бы то ни стало хотела, чтобы ее ручки в день свадьбы были белоснежными. Накануне венчания она завела их за голову и стоя проспала всю ночь. Наутро ее нашли мертвой. Чтобы поднять дух слушательниц, которые совсем скисли от этой истории, Фрейлейн отпускает одну из своих невинных шуточек, всегда одних и тех же и всегда на редкость дурацких. По складу натуры и из принципа она вечно поддразнивает девочек — в те времена считали, что таким способом можно воспитать силу характера. Время от времени кучера просят остановиться, и та из барышень, которой понадобилось по-маленькому, стыдливо скрывается в высоких овсах.

В Маршьенн ездят довольно редко. Хотя на этот счет никаких документальных свидетельств нет, мне трудно поверить, чтобы г-

н де К. де М. мог без досады смотреть, как имение, название которого он носит в своем имени, переходит к детям от второго брака. Правда, с тех пор, как ему пришлось пережить это разочарование, если то было разочарование, протекло много лет. В семье Фернанды, где имена молодых покойников окружены легендами, никогда, однако, не упоминают о единокровной сестре Артура, Октавии де Поль де Баршифонтен, которая умерла родами в двадцать два года. Ничего неизвестно также о его единокровном брате Феликсе, который живет в Париже. Зато все хорошо знают живущего в Маршьенне Эмиля-Поля и его молодую жену-ирландку. Дети г-на де К. де М. играют с их детьми, Эмилем и Лили, а впоследствии и с Арнольдом, но встречаются они редко. Впрочем, никто не посмеет даже на секунду усомниться в том, что эти две семьи питают друг к другу нежнейшую любовь.

Зато Ла Пастюр — всегда гостеприимно распахнутый рай. Добрая Зоэ, овдовев, чувствует себя очень одинокой и нежно принимает своих внуков. Она немного повторяется, когда рассказывает о своем возлюбленном Луи, каждый раз приглашая полюбоваться его портретом в парадном мундире и не забывая при этом показать парный к нему портрет, на котором изображена она сама в пышном платье темного шелка, оживленного кружевом воротника и манжет, с зажатым в пальцах маленьким платочком. Старая дама демонстрирует детям слегка пожелтевшие оригиналы нарядных кружев. Она балует своих гостей лакомствами — нигде не подают таких красивых и изысканных десертов, как в Ла Пастюр. Запомнятся детям и катанья в лодке на пруду с милой кузиной Луизой и красавцем-кузеном Марком, — правда, если в катанье участвуют Октав и Теобальд, мальчишки немного портят удовольствие, грозя опрокинуть челнок. Зоэ умирает в семидесятилетнем возрасте — в листке, посвященном ее «Блаженной памяти», усопшую сравнивают с праведницами, о которых упоминает Писание. Дочь Зоэ тетя Аликс, умирает почти вслед за матерью, но овдовевший муж Аликс дядя Жан, сенатор и бургомистр Тюэна, продолжает добрые традиции Луи Труа. На фотографии 1885 года, которую мне недавно показали, этот седовласый господин прогуливает по парку Ла Пастюр Фернанду, приехавшую из Брюсселя с братом Октавом и Фрейлейн. Фрейлейн в своем неизменном черном платье с гагатовыми пуговицами сохраняет свой неизменный вид немецкой дуэньи. Фернанда, прехорошенькая и очень кокетливая, прячется от солнца под большим зонтиком. Худое бородатое лицо Октава еще не стало той маской, какой оно станет впоследствии, но в нем уже чувствуется беспокойство, которое в конце концов приведет этого брата Фернанды в больницу в Геле.

Но вернемся к эпохе Сюарле. До 1883 Фернанда больше всего любит навещать Акоз. По приезде девочки сразу же рассаживаются в красивой гобеленовой гостиной; Жанна, устроившись в глубоком кресле, уже его не покидает — в силу ее увечья с ней обращаются, как со взрослой. Любимица хозяйки дома — ее крестница Зоэ, которую среди прочих имен она наградила мужским именем Ирене: из-за его окончания это имя, очевидно, приняли за женское, хотя в Римском календаре так назван Лионский епископ, принявший мученичество при Марке Аврелии. Говорят о предстоящих бракосочетаниях. Г-жа Ирене по достоинству оценивает женихов, выбранных для двух старших девочек и, поскольку будущие мужья не имеют ни титулов, ни дворянской частицы «де», особенно подчеркивает, что они происходят из хороших семей. В жилах Ирене, ее покойного мужа и девочек течет кровь Труа и Дрионов, так что они сами принадлежат к этой буржуазной аристократии. Но разговоры с благочестивой родственницей непременно сворачивают на религиозные темы. Особенно много говорится о смерти праведников — это специальность г-жи Ирене. Монахиня соседнего монастыря умерла в благовонии святости — целую неделю ее тело лежало в часовне без малейшего признака разложения. В другом монастыре у другой матушки, почти затворницы, открылись стигматы. Об этих чудесах стараются не рассказывать, опасаясь насмешек нечестивцев и радикалов. Фрейлейн и барышни почтительно слушают. Фернанда изнывает от скуки.

К счастью, приходит «дядя Октав» собственной персоной — взяв девочку за руку, он ведет ее смотреть диких животных и свору. Девочка семенит с ним рядом вдоль цветущих куртин. Она, слава Богу, еще не достигла возраста ложной стыдливости и кокетства. Пока ее даже нельзя назвать хорошенькой — просто тоненькая хрупкая травинка. Черты Фернанды еще не определились, но Октаву кажется, что он узнает узкий изогнутый профиль, который любил в своем брате и который не оставляет его равнодушным и тогда, когда он рассматривает самого себя с помощью двух зеркал. Вдобавок девочка носит в женской форме то же имя, какое носил Ремо, пока сам Октав не окрестил его по-другому. Тридцать с лишком лет (уже!) прошло с тех пор, как он водил маленького Фернана рассматривать под стеклами парников проросшие семена. Мальчик звал его «мой милый череночник». Почему эта мелочь мучительно возвращает Октава к тому, с чем он, как ему казалось, покончил, смирился, и что, может, даже забыл? Девочка болтает. Больших собак и диких животных она боится, но цветы любит и запоминает их названия. Время от

времени маленькая ручка тянется, неловко срывает, а вернее, выдергивает какой-нибудь стебель или пучок травы. Дядя не без торжественности в тоне протестует: «Подумай о растении, которое ты искалечила, о его трудолюбивых корнях, о соке, который течет из его раны!..» Фернанда в смущении поднимает голову и, чувствуя, что ее укоряют, выбрасывает умирающий цветок, который сжимала в своей влажной ручонке. Октав вздыхает. Поняла ли она? Принадлежит ли она к тем немногим, кого можно научить, образовать? Вспомнит ли она о его выговоре на балу, когда у нее в волосах или на корсаже будет то, что Виктор Гюго называет «букетом агоний»?

Если идет дождь, Октав занимает Фернанду рассказами. Из его историй до меня дошла одна — история отшельницы эпохи Меровингов, святой Роланды, гордости местного фольклора. Каждый год в первый понедельник после Троицына дня процессия, проделывающая около тридцати километров, носит по окрестным полям мощи святой и благочестивого отшельника, ее современника. Один из традиционных привалов кортежа — парадный двор Акоза; наверняка Фернанда иногда помогала украшать двор цветами. Свежими глазами ребенка, которого все восхищает и ничто не удивляет, вероятно, смотрела она на странное шествие: впереди деревенский барабанщик и трубачи, за ними священники; участники процессии в немыслимых мундирах, которые они смастерили себе сами и которые своей пестротой напоминают о различных армиях, прошедших по этому уголку земли; милая небрежность в одежде мальчиков-певчих. Фернанда, наверно, вдыхала аромат курений, затоптанных роз и более сильный запах дешевого вина и потной толпы. «Дядя Октав», который считает делом чести пронести раку на каком-то отрезке пути, несомненно ценит сохранившиеся в этом празднестве элементы язычества, тоже священные и относящиеся к временам более далеким, чем девственница из Жерпина: во главе процессии ставят самых крепких крестьянок и крестьян, и отбор по традиции совершается в трактире, где его сопровождают обильными возлияниями; крестьяне радуются тому, что процессия топчет их поля, — тем плодороднее они будут. Когда восторг и возбуждение достигают апогея, парни, которые, почти как фавны, прыгают вокруг раки, пускаются преследовать девушек, имитируя эпизод из жития Святой Роланды. По адресу святой и ее благочестивого друга-отшельника отпускаются всевозможные шуточки и, согласно местной традиции, когда две раки встречаются, они сами собой устремляются друг к другу.

История жизни Роланды в изложении Октава весьма далека от романтической банальности апокрифа XVIII века «Принцесса-

беглянка, или Житие Святой Роланды» и благочестивой прозы брошюрок, которые раздают в храмах. По ней прошлась рука поэта. Я не пытаюсь здесь подражать стилю рассказчика, который, конечно, отличается от стиля писателя. И все-таки в этом повествовании будет то, что сохранила в памяти от своих последних при жизни Октава поездок в Акоз одиннадцатилетняя слушательница.

У короля ломбардцев Дидье была дочь, прекрасная, как ясный день, — звали ее Роланда. Отец обручил девушку с самым молодым из своих вассалов первой руки, Оже, про которого известно было, что он сын самого шотландского короля. Дидье и Оже были язычниками, они поклонялись деревьям, источникам и каменным идолам, какие встречаются на степных просторах.

А Роланда приняла христианство и втайне посвятила себя Богу. Понимая, что ни отец, ни жених не станут чтить ее обеты, она решилась бежать. Легкая, как гонимый ветром листок, промчалась она по альпийским ущельям и долинам, а потом углубилась в Вогезы. Оже, которому предательница-служанка сообщила о побеге невесты, пустился по ее следам. Ему не составило бы труда догнать девушку и схватить за распущенные волосы. Но он ее любил и не хотел обходиться с ней, как хищник с пойманным им несчастным животным. Поэтому он держался на некотором расстоянии от Роланды.

Когда измученная беглянка останавливалась на ночлег, Оже останавливался тоже, прячась за скалой или купой деревьев. Когда она подходила к дверям фермы попросить хлеба или молока, он подходил туда вслед за ней и просил о том же. Только однажды Оже нагнал Роланду. Как-то утром, видя, что она не встала со своего лиственного ложа, он осмелился подойти ближе и услышал, как она стонет в лихорадке. Много дней подряд выхаживал ее Оже. А как только ей стало лучше, удалился, прежде чем она успела его узнать, и не помешал ей двинуться дальше.

Наконец они очутились в Арденнском лесу. Роланда замедлила шаги. В долине между Самброй и Маасом Оже увидел, как она преклонила колени и стала молиться, потом поднялась, собрала в роще ветки и сплела из них шалаш. Оже сделал то же на другом склоне долины.

Несколько лет жили они так, питаясь ягодами и тем, что приносили им деревенские жители. Видя как молится Роланда, Оже вдалеке молился так же.

Однажды крестьяне нашли в сельской молельне мертвую Роланду. Они решили похоронить отшельницу в тяжелом языческом саркофаге, который на волах доставили к ее скиту.

Оже, стоя поодаль, наблюдал за погребением. Он еще

несколько лет прожил той жизнью, к какой его приобщила Роланда. Наконец однажды вечером он умер. Сельчане, гордившиеся своими двумя отшельниками, решили соединить их, похоронив в одном гробу. Оже понесли на носилках к часовне Роланды, подняли крышку огромного саркофага, и скелет святой открыл объятия, чтобы принять в них возлюбленного.

Из какой несостоявшейся любви или, наоборот, увенчанной страсти, а может, из той и другой вместе почерпнул Октав то, что так преобразило легенду? Я сверилась с маленькими агиографическими сочинениями: они старательно расписывают славную генеалогию святой, включая ее, так сказать, в Готский альманах VII века; родители Роланды в свою очередь пускаются следом за дочерью и тоже посвящают себя Богу; верного принца невнятно дублирует верный слуга, сопровождающий принцессу, у которой есть еще и служанка. Октав все это опустил, не упомянув и о ее посещении Одиннадцати тысяч дев1. Зато он подчеркнул тему христианской Дафны, преследуемой варваром-Аполлоном, и, главное, сочинил этот пронзительный жест умершей, а может, услышал о нем из уст какой-нибудь старой крестьянки — эта удивительная подробность, вероятно, показалась людям в рясах слишком мирской. В таком виде рассказ становится в ряд с легендами о нежной страсти и соединении в смерти — цветок, произросший, наверно, в очень древнем кельтском мире и рассыпавший свои лепестки от Ирландии до Португалии и от Бретани до Рейнской области. Интересно, вспомнила ли о святых возлюбленных Жерпина Фернанда, когда, став поклонницей Вагнера, слушала в Байрейте сцену смерти Изольды, погибающей от любви? Думается, что услышанная в детстве подобная история должна навеки наложить отпечаток на мир чувств женщины. Она не помешала Фернанде впадать иногда в стиль газетной любовной переписки. И, однако, что-то все-таки осталось: легкая паутинка пряжи Святой Девы летним утром.

Октав умер смертью христианина, как мы помним, в ночь на 1 мая 1883 года — волшебной ночью, по традиции посвящаемой лесным духам, феям и колдуньям. А перед этим, 2 апреля, в Сюарле состоялась свадьба Зоэ. Быть может, известие о смерти «дяди Октава» оказалось для Фернанды менее важным, чем открытки, которые приходили от новобрачных, совершавших свадебное путешествие. В начале осени г-н де К. де М. получил от Зоэ, которая жила теперь в маленьком замке А. между Гентом и Брюсселем, нежное письмо, в котором она благодарила отца за то, что он выдал ее за Юбера, такого славного, учтивого и хорошо воспитанного. Эти эпитеты наводят на размышления: после четырех месяцев супружеской близости Зоэ говорит о своем муже,

как девица говорила бы о приятном незнакомце, увиденном на балу. Так или иначе, «взволнованная всем этим» (причем создается впечатление, что эти слова относятся как к ее браку, так и необходимости слишком часто посещать зубного врача), Зоэ радостно сообщала о том, что скоро приедет в добрый старый Сюарле вместе со своим Юбером, который намерен поохотиться. Тем временем она приглашала к себе двух младших сестер, чтобы повести их к брюссельской портнихе. Маленькая нимфа Фернанда и калека Жанна впервые побывали на примерке в зеркальном салоне модной портнихи. Однако все эти новые впечатления оказались для Фернанды только прелюдией. В ту осень в ее жизни случилось важнейшее для девушки событие до замужества: Фернанда поступила в пансион.

Не стану утомлять читателя описанием пансиона Сестер Святого сердца тех лет в Брюсселе. Я не знаю, ни как он выглядел, ни какую жизнь в нем вели; мое описание стало бы списком с романов того или близкого к тому времени, посвятивших несколько страниц такого рода заведениям. Из всего, что сохранилось у меня от этого периода жизни Фернанды, самое существенное — папка с отметками и аттестатами за триместр, а также копия правил внутреннего распорядка, тщательно переписанными от руки на линованной бумаге. («*Клякса — неуд». «На уроке не открыла тетрадь — неуд». «В пенале не было всего, что полагается, — неуд». «Три ошибки — переписать задание». «Три раза запнулась — не выучила урока». «Была рассеянной — неуд». «Ответила, не будучи спрошенной, — неуд*»). Аттестаты за год розовые («*Очень хорошо*») или голубого цвета («*Хорошо*»); аттестаты желтого цвета («*Посредственные успехи*») и зеленые («*Плохая успеваемость*»), очевидно, не сохранились. Впрочем, судя по всему, до 1886 года перед нами — образцовая ученица. Фернанда на первом месте в священной истории, во французском, в сочинении, истории, мифологии и космографии, в письме, чтении и арифметике, в рисовании, гимнастике и гигиене. Она идет второй в литературе, декламации и естественных науках. Но позднее положение меняется к худшему.

Причины стремительного падения вниз после таких триумфальных успехов Фрейлейн не раз обсуждала в моем присутствии. Гувернантка считала, что всему виной — увлечение или, другими словами, любовь. Дама из Голландии, баронесса Г. доверила Сестрам Святого сердца свою дочь Монику, чтобы окончательно отшлифовать ее образование и знание французского. На самом деле французский язык мадемуазель Г., на каком часто говорили в старинных семьях иностранцев, где он передавался из поколения в поколение, мог только пострадать от

соприкосновения с бельгийским произношением. Так или иначе, приезд мадемуазель Моники Г. (имя и начальная буква фамилии мной изменены) взбудоражил маленький монастырский мирок. Молодая баронесса (как выразились бы в ту эпоху в Бельгии) была очень красива, причем той красотой креолки, какую можно иногда встретить в Голландии и от которой захватывает дух. Фернанда с первой минуты полюбила эти темные глаза на золотисто-смуглом лиц тяжелые черные локоны, без затей зачесанные кверху. Духовная сторона тоже сыграла роль в этом восхищении. Моника отличалась других барышень, которые всячески старались привлечь к себе в мание суховатой живостью на французский лад — в ней была как то ласковая серьезность. Фернанду, для которой религия означала прежде всего ряд зажженных свечей, украшенные цветами алтари, благочестивые картинки и монашеские одежды, наверняка удивил сдержанный пыл, владевший ее подругой: юная лютеранка любила Бога — Фернанда о нем в этом возрасте не задумывалась. Зато предаваться укорам совести Моника была склонна менее, чем девушки-француженки, привыкшие к исповедальне и скрупулезному перечислению своих маленьких грешков. Фернанда подпала под обаяние пылкой натуры, сочетавшейся со сдержанной повадкой.

Если верить Фрейлейн, причиной резкого снижения отметок образцовой до той поры ученицы было одно из тех героических пари, заключить которые возможно только в отрочестве: чтобы предоставить иностранке занять первое место, Фернанда отступала на второй план, плохо готовила уроки, нарочно запиналась. Принимая во внимание время и место, подобное самоотречение можно назвать почти возвышенным и исключить его нельзя, но кое-что, конечно, следует отнести на счет той безмерной рассеянности, какая сопутствует любви («*Была рассеянной — неуд*») и ощущения, что по сравнению с любовью все ничтожно, даже похвальные листы с позолоченным обрезом, выдававшиеся в монастыре Святого сердца.

Понимаю, что меня могут обвинить в сознательном утаивании или в намеках, если я обойду молчанием вопрос о том, могла ли примешаться к этой любви доля чувственности. Впрочем, это разговор праздный — все наши страсти всегда чувственны. Можно разве что задуматься над тем, в какой мере эта чувственность выразила себя в поступках. В эпоху и в среде, нами описываемых, воспитательницы старались держать доверенных их попечению девушек в таком неведении относительно плотских радостей, что едва ли отношения двух учениц Сестер Святого сердца могли облечься в подобную форму.

Правда, неведение не принадлежит к числу непреодолимых препятствий — чаще всего оно поверхностно. Чувственная близость двух однополых существ слишком свойственна человечеству, чтобы полностью исключить ее возможность в самых строгих пансионах былых времен. Несомненно она возникала не только среди бесстыжих девочек Колетт и довольно искусственных девушек-гибридов Пруста.

Но неведение, столь тщательно оберегаемое, подкреплялось в те годы (если вдуматься, весьма парадоксальным образом) преувеличенной стыдливостью, которую прививали с самых юных лет, а это наводит на мысль, что матери, няньки, гувернантки в этих святых семействах, а позднее бдительные монахини, сами того не подозревая, страдали навязчивой чувственностью. Страх и ужас перед плотью выражается в сотнях мелких запретов; их принимают как нечто само собой разумеющееся. Молодая девушка никогда не должна рассматривать свое тело; снять рубашку в присутствии подруги или родственницы — поступок не менее ужасный, чем самая смелая плотская вольность; обвить подругу рукой за талию неприлично, как, впрочем, неприлично обменяться взглядом на прогулке с красивым молодым человеком. Чувственность представляется не как нечто греховное, а как что-то нечистоплотное и, во всяком случае, несовместимое с хорошим воспитанием. Однако не исключено, что две пылкие девочки, сознательно или неосознанно пренебрегая всеми этими аргументами, хоть они и сильно действуют на женскую натуру, в поцелуе, в едва выраженной мимолетной ласке или, что менее вероятно, в полном сближении тел открыли для себя сладострастие или хотя бы его предчувствие. В этом нет ничего невозможного, однако эти предположения весьма неопределенны и, вероятно, сомнительны: говорить об этом — все равно, что вопрошать, насколько близко ветерок мог склонить друг к другу два цветка.

Так или иначе, ведомость за триместр в апреле 1887 года свидетельствует об учебном крахе Фернанды. Когда-то блестящая ученица теперь занимает двадцать второе место в священной истории и арифметике, четырнадцатое в эпистолярном стиле, тридцатое в географии. В грамматике она на пятом месте, хотя в течение триместра как бы случайно дважды оказывается на первом. Вслух она читает невнятно, и это тем более удивительно, если вспомнить, что ее мужу, судье строгому, позднее доставляло большое удовольствие ее слушать. В рукоделии Фернанда превзошла самое себя — она на сорок третьем месте из сорока четырех. Зато она достигла некоторых успехов по части порядка и бережливости, и в аттестате признают, что она прилежна, а это

противоречит предположениям Фрейлейн. Поведение ее в классе стало лучше, но она совершенно не следит за своим внешним видом и не старается исправиться. Она продолжает любить естественные науки, быть может, вспоминая названия цветов, которым ее учил «дядя Октав». Ее знания в английском «*неосновательны*» и, как говорится в аттестате, «*ее характер еще не сформировался*».

Был ли отправлен в Сюарле текст более доверительный, содержавший намек на кризис, пережитый Фернандой? Вполне возможно, поскольку воспитательные заведения, как и правительства, охотно прибегают к секретным документам. Так или иначе, г-н де К. де М. отозвал дочь домой, по-видимому, посчитав бессмысленным оставлять ее в заведении, где она уже ничему не учится. Да и дома не могли одобрить такую чрезмерную привязанность к протестантке. К тому же г-н де К. де М. старел, очевидно, уже подтачиваемый долгой болезнью, которая через три года свела его в могилу. Теперь его жил в Сюарле, откуда он выезжал все реже, в обществе с одной стороны Фрейлейн, с другой — дурачка Гастона и калеки Жанны была не слишком веселой. Вероятно, ему захотелось вновь увидеть возле себя молодое существо, наделенное живым умом и здоровым телом.

У меня перед глазами портрет Фернанды, написанный примерно в это время наверняка ее сестрой Зоэ, питавшей склонность к изящным искусствам, — благодаря этому портрету я узнала, какого цвета глаза были у модели. Они были зелеными, как часто у кошек. Фернанда изображена в профиль, веки слегка опущены, что придает ее взгляду некую «затаенность». На ней платье изумрудного цвета, по мнению художницы, подходящее к ее глазам, громадная шляпа с клетчатой лентой, завязанной бантом, такая же, как и на вырезанном в ту пору ее силуэте. Фернанде здесь не больше пятнадцати лет.

Другой портрет, «снятый» два года спустя фотографом из Намюра, запечатлел приезд в Сюарле Изабель с детьми. Фернанда и Жанна споят по обе стороны тумбы, на которую водрузили маленькую девочку в белом платье, отделанном английской вышивкой. Болезненного вида девочка постарше прислонилась к юбке Жанны. Нет нужды в магическом кристалле, чтобы предсказать судьбу этих четырех девочек, — она прописана здесь. Жанна, хрупкая и решительная, смотрит холодноватым умным взглядом, который будет мне знаком позднее. Ей нет еще и двадцати, но она останется такой же и в сорок. Малютка в английской вышивке с мило вздернутым носиком, моя двоюродная сестра Луиза, кажется очень довольной тем, что

возвышается над всеми. В этом крепком тельце и уверенной в себе душе есть все, чтобы продержаться три четверти века: она правит тетушками, как впоследствии будет править своими больными, санитарками и носилками во время двух мировых войн. Матильда, хилая девочка, на которую напялили безобразный матросский костюм и берет, совсем к ней не идущий, производит впечатление полнейшего недоразумения — она рано покинет здешний мир.

Фернанда загадочней других. Определенно перейдя в разряд взрослых, она носит юбку, отягченную густыми оборками. В этом своем дамском наряде она вся кругленькая, чем она, вероятно, обязана кухне пансиона, из которого только что вышла, но прежде всего расцвету юности, новому избытку плоти и крови. Груди приподнимают высокий корсаж. Перед тем как сфотографироваться, она, очевидно, причесалась, однако небольшая прядь все же выбилась и свисает сама по себе («*Фернанда совершенно не следит за своим внешним видом*»), что позднее привело бы ее в отчаяние. На этот раз глаза смотрят прямо. Удлиненные веки чуть приподняты к вискам — черточка, довольно часто встречающаяся в этих краях, как и на картинах старых мастеров страны, теперь именуемой Бельгией. За этой юной особой в пышной юбке мне мерещится череда девушек в широких полосатых шароварах, следовавших за своими мужчинами в Македонии или на склонах Капитолия, и тех женщин, которых продавали с молотка и аукционах после походов Цезаря. Я углубляюсь в прошлое еще на несколько веков к женщинам «племен, живущих в шалашах», которые, как говорят, пришли с верховьев Дуная и черпали воду глиняными ведрами. Думаю я также о Бланке Намюрской, которая со своими придворными дамами уехала в Норвегию, чтобы выйти замуж за Фолькенгара Магнуса2, прозванного Блудодеем, и вела весьма свободную жизнь при свободном дворе, подвергаясь, как и ее сластолюбивый муж, оскорблениям со стороны суровой Святой Бригитты. Фернанда ничего этого не знает — ее курс истории не простирался так далеко. Она не знает также, что прожила уже половину своей жизни — осталось пробежать четырнадцать лет. Несмотря на ее наряд барышни из состоятельной семьи, ничто не отличает ее от деревенских девочек или маленьких работниц Шарлеруа, с которыми она не общается. Как и они, она представляет собой просто теплую нежную плоть. По справедливому замечанию Сестер Святого сердца, ее характер еще не сформировался.

Эпизод, о котором пойдет речь сейчас, настолько отвратителен, что я не знаю, стоит ли о нем упоминать, тем более

что по этому поводу я располагаю только одним свидетельством — самой Фернанды. В сентябре 1887 года, то есть как раз той осенью, когда девушка не вернулась к положенному сроку в брюссельский пансион, а осталась в Сюарле, Фрейлейн, Фернанда и Жанна однажды вечером услышали, что в кабинете г-на Артура происходит грубая шумная ссора. Из-за закрытых дверей доносились невнятные возгласы и звуки ударов. Через несколько минут из отцовского кабинета вышел Гастон, который, ни слова не сказав, поднялся в свою комнату. Через неделю он умер от скоротечной горячки.

В таком изложении происшедшее кажется не только чудовищным, но и абсурдным. Не так часто случается, чтобы пятидесятишестилетний отец набросился с кулаками на двадцатидевятилетнего сына, и в эту жестокость тем более трудно поверить, если сын — блаженный. Какой проступок мог совершить дурачок Гастон? Правда, один врач напомнил мне, что умственно отсталые очень часто впадают в буйство; Артур мог не без резона пытаться обуздать сына, а нанесенный в раздражении неловкий удар способен причинить серьезное увечье, вызвать лихорадку и смерть. Легче всего было бы отбросить эту историю, посчитав ее выдумкой девочки, склонной к некоторой истерии, или хотя бы свести ее к тому, что отчаявшийся отец кричал на дурачка, осыпая его упреками, ведь разговаривая с умственно неполноценными, люди часто, сами того не замечая, начинают кричать, как в разговоре с глухими; может, г-н Артур дал сыну затрещину или хватил его кулаком, может, грохнуло упавшее кресло. Что до скоротечной горячки, то, похоже, в этой семье диагнозы всегда ставили весьма приблизительно: возможно, речь идет о брюшном тифе, который свирепствовал в начале той осени, а ссора оказалась простым совпадением, или что Фернанда без всяких на то оснований связала ее с кончиной Гастона, чтобы усилить драматизм происшедшего. Но даже если этот эпизод от начала до конца выдуман, рассказ Фернанды интересен тем, что показывает, какого рода истории сочиняла она о своем отце или, вернее, против своего отца.

Из какой-то семейной стыдливости Фернанда, как уже было упомянуто, никогда не рассказывала мужу о неполноценности дурачка Гастона. Излагая эту историю, она говорила, что несчастному было лет двенадцать-тринадцать, а это в конечном счете приближало его к тому уровню умственного развития, какой был у него на самом деле. Странно, что Мишель не заметил неправдоподобия такого рассказа: поскольку после рождения Фернанды Матильда прожила только год, у той не могло быть брата моложе ее на два-три года. Но, конечно, Мишеля меньше

всего волновала точная дата смерти его тещи.

Я подробно описала Фернанду. Пожалуй, настало время описать и моего деда, каким он был в эти годы. На снимке, сделанном немного ранее, где ему около сорока, бывший денди толст и несколько рыхл, на другом г-ну де К. де М. лет пятьдесят, и он вновь обрел свой былой стиль. Над густыми волосами, обрамляющими лоб с залысинами, несомненно потрудился парикмахер. Тугая эспаньолка, скрывая нижнюю губу и подбородок, не позволяет судить о выражении рта. Взгляд за стеклами лорнета хитрый и даже плутоватый. Нетрудно представить себе, как этот господин, жуя сигару, рассказывает забавный анекдот, как он старается провести фермера или нотариуса или взвешивает только что подстреленную им молодую куропатку. Я даже могу вообразить, как он бьет тарелки в отдельном кабинете, хотя, судя по тому, что я о нем знаю, в его жизни, по крайней мере после того, как он женился, отдельных кабинетов и возможностей бить посуду было мало. Я не решусь сказать, что такому образу дано пробудить во мне голос крови, но все же это и не тот человек, который способен жестоко избить калеку.

Присмотримся поближе к неотчетливой фигуре Артура, поскольку нам больше не представится случая им заняться. Потеряв мать, когда ему была неделя от роду, и отца в возрасте тринадцати лет, он вырос у своей мачехи (в девичестве де Питер де Бюденжан) рядом с ее детьми. Он учился в Брюсселе в том же религиозном заведении, что и его кузен Октав, вместе с Октавом прослушал курс поэзии, и это меня умиляет. Правда, хорошо бы узнать, что за поэзию предлагали в 1848—1849 году своим ученикам профессора коллежа Михаила Архангела: Ламартина и Гюго или Лефранка де Помпиньяна3 и аббата Делиля4. В Льеже, где Артур закончил факультет права, он был, по-видимому, прежде всего модным молодым человеком, однако без эстетических амбиций и без булавки в галстуке с изображением черепа из слоновой кости, которую носил в ту пору в Брюсселе его кузен Пирме. В двадцать три года, что довольно рано для того, кого нам описывают как противника брачных уз, он, если можно так выразиться, преждевременно подвел жизненный итог, женившись на своей двоюродной сестре. Меня бы удивило, если бы он с легким сердцем отказался от Маршьенна в стране и во времена, когда в семьях всячески старались обойти кодекс Наполеона и сохранить верность праву первородства. Мы не знаем, о чем договорились между собой единокровные братья, но во всяком случае Артур, которому досталось богатое приданое матери и богатое приданое жены, неимущим не был.

Письмо, которое, женившись, он написал своему кузену Октаву, путешествовавшему за границей, быть может, объясняет нам, почему он предпочел идиллическое Сюарле и провинциальную тишину окрестностей Намюра, пожираемому промышленностью Эно. «*Больше, чем когда-либо я понимаю твое нежелание остаться среди нас*, — уверяет он поэта, —*...Печальная страна: нечистоты, грязь по колено, люди, занятые только материальными предметами, толкующие только о килограммах, гектолитрах, метрах, дециметрах или об экспроприации, истощении месторождений, добыче, все в цифрах, расчетах и подсчетах, не имеющие ни досуга, ни времени быть любезными...*» Это письмо показывает, что уже в 1854 или 1855 году мой дед был небезразличен к тому, как уродуется мир; кончается, однако, письмо одобрительной ноткой: дельцы, извлекающие прибыль из промышленного нашествия, от которого почернеет земля Маршьенна, «*люди честные и достойные*», — заключает корреспондент Октава. Кто осудит его за эти слова? В ту эпоху догму прогресса не оспаривал никто, и вздумай ты сожалеть об обезображенном пейзаже, тебя назвали бы сентиментальным. Те, кто будет знать, что, разрушая красоту мира, мы неотвратимо разрушаем его здоровье, еще не родились на свет. Однако в сравнении с Маршьенном, подъезды к которому ощетинились доменными печами, Сюарле мог казаться Артуру мирным уголком.

Так или иначе, он прожил там тридцать четыре года, из них семнадцать — вдовцом. Ленивый от рождения, он, по-видимому, даже не пытался начать одну из традиционных в семье карьер, которую ему мог бы облегчить его тесть Луи Труа. Если в отличие от Октава он не цеплялся «*за свою вершину*», то по крайней мере цеплялся за свой безмятежный мирный обиход. Правда, он неплохо управлял своим солидным состоянием, а это значит, что всю жизнь он понуждал себя быть собственным интендантом. Сохранились пухлые пачки бумаг, куда он заносил подробные сведения о финансовом положении семей, в которые выдавал замуж своих дочерей. Этот домосед, завидовавший кузену Октаву, подолгу жившему в Италии, по-видимому, никогда не покидал своего имения. Детей он, судя по всему, не любил, однако прижил с женой десятерых, двое из которых умерли в младенчестве, а двое были калеками, что, наверно, занозой сидело в его душе. Только коротенькие нежные письма Зоэ доказывают, что он не всегда казался своим близким мрачным тираном, который пугал Фернанду. Никаких особенных пристрастий за ним не водилось: охота, как видно, была для него прежде всего поводом прихвастнуть. Несмотря на красивый экслибрис из десяти

серебряных ромбов на лазоревом поле, остатки его библиотеки, которые мне пришлось увидеть, состояли в основном из религиозных книг, принадлежавших Матильде, и благопристойных немецких романов, выписанных Фрейлейн. Единственная известная нам вольность, какую он себе позволял, была Дама из Намюра, однако, это вовсе не означает, что у него не было других. Если в минуту раздражения, потеряв над собой власть, Артур и в самом деле ударил своего дурачка сына, этот ужасный эпизод, единственный в его жизни пробуждает во мне какое-то чувство, и чувство это основано на жалости.

Подтачивавшая его болезнь вынуждала Артура мало-помалу прекратить визиты в Намюр и объезд фермеров: отныне он управлял своим имуществом из своего кабинета. Пожалуй, мы обращаем слишком мало внимания на то, что самое тяжелое во всякой болезни — это постепенная утрата свободы. Г-н де К. де М. вскоре оказался заточен в комнатах замка и на его террасе; у него оставался выбор: принимать пищу и читать газету в постели или в кресле, которое подкатывали к окну. А однажды он лишился и этого выбора — он уже не встал с постели.

У меня нет оснований считать Артура человеком, особенно склонным к раздумьям. Однако как и все люди вообще, он должен был иногда размышлять о своей жизни. Ты согласился, чтобы твоя жена наняла для попечения о детях молодую немку с лицом, похожим на румяное яблочко, и вот эта немка двадцать пять лет присутствует при всех рождениях и смертях в семье, властвует в доме, приглашает, когда нужно, священника или врача и тихонько выходит из комнаты на цыпочках, однако она не может распорядиться, чтобы смазали дверные петли и они перестали бы скрипеть. А ведь он двадцать раз напоминал ей об этом. И эта дуреха закроет ему глаза, впрочем, не все ли равно, она или другая. Куколка (назовем ее так) доставляла ему приятные минуты, но подавленный своей болезнью, он вспоминает о ней так, как человек, которого мутит, вспоминает катанье в лодке: наступает день, когда ему уже трудно понять, чем его могла прельстить эта дамочка в дезабилье. Так или иначе, Артур поступил как подобает — дарственная, которую он из предосторожности оформил на ее имя, никак не затрагивает интересы детей: женщину обеспечит небольшая сумма, выигранная на бирже. Что до Господа Бога и последних минут, то все пройдет как положено, и беспокоиться о том, что ждет всех без исключения, нечего.

Г-н де К. де М. умер в 1890 году на второй день Нового года. Трудно сказать, подсунули ли ему под дверь Жанна и Фернанда в канун этого года свои обычные почтительные записочки. Листок,

посвященный его «Блаженной памяти», украшен фигурой Христа и намекает на долгие мучения, которые очищают душу. В остальном он похож настолько, что их можно перепутать, на листок памяти Гастона, заказанный гравировальщику за два с половиной года до этого. В листке Гастона Господа молят не отдавать Лукавому душу усопшего, что, пожалуй, излишне, когда речь идет о покойнике, которого Господь обделил разумом. Листок, посвященный «Блаженной памяти» Артура, молит о том, чтобы грехи умерших были им прощены. После предания тела покойного земле в Сюарле, вероятно, в тот же вечер состоялась другая церемония, почти такая же торжественная — чтение завещания.

В документе никаких неожиданностей не было. Г-н де К. де М. завещал свое состояние равными долями семерым своим детям, его пережившим. Состояние было настолько значительным, что даже раздробленное таким образом, оно обеспечивало наследникам полный достаток. Не считая ценных бумаг, весьма солидных или слывших таковыми, имущество почти целиком состояло из недвижимости, которую все считали единственным по-настоящему надежным помещением капитала. Только четверть века спустя война и инфляция затронули эту твердыню. Ни Теобальд, который только что завершил более или менее серьезный курс обучения, чтобы получить диплом инженера, ни Октав, который не подготовился ни к какой профессии, не были способны управлять своим и сестринским имуществом, как это делал г-н Артур. Отныне арендная плата, по определенным числам поступавшая от фермеров, выплачивалась наследникам через управляющих и сборщиков налогов. В этом крылась, конечно, некоторая опасность, но все эти посредники когда-то работали на г-на Артура под его присмотром: от отца к сыну они передавали свою преданность семье. Дети покойного радовались тому, что все устроилось так удобно. Никто из них не заметил, что из ранга крупных помещиков они переместились в категорию рантье. В то же время тонкие ниточки, связывавшие г-на Артура с его крестьянами, окончательно порвались.

Сюарле был продан не только потому, что его содержание обошлось бы слишком дорого тому, кто согласился бы включить его в свою долю наследства, но и потому, что никому не хотелось там жить. Теобальд, намеревавшийся навсегда спрятать в стол свой диплом, мечтал только о спокойной холостяцкой жизни, которую собирался вести в Брюсселе. Октав хотел путешествовать. Жанна, вполне резонно считавшая, что ее увечье неизлечимо, решила приобрести в столице приличное удобное жилье, где Фрейлейн будет домоправительницей и где она сама

проведет остаток дней. В этом доме должна была жить и Фернанда, пока она не найдет себе мужа: хотелось надеяться, что у ее избранника будет свой замок или усадьба.

Наследникам, однако, претило отдавать старый дом в руки маклера. Его продали дальнему родственнику, барону де Д. — мы уже видели, во что он его превратил. Движимое имущество, которое оценивали дороже, чем оно стоило, было поделено так же тщательно, как и земля. Замужние сестры получили мебель, которая стояла в их прежних комнатах, а кроме того обстановку — кто гостиной, кто курительной. Октаву и Теобальду тоже досталось то, чего вполне хватило, чтобы меблировать их холостяцкие жилища. Имущество, полученное Жанной и Фернандой, до отказа забило дом, который Жанна купила в Брюсселе. Смерть любого сколько-нибудь состоятельного отца семейства — это всегда смена царствования: по прошествии трех месяцев не осталось почти ничего от убранства и уклада, которые казались нерушимыми в течение тридцати четырех лет (г-н Артур наверняка был уверен, что в той или иной форме они сохранятся и после его ухода).

Перед тем как две младшие сестры со свой гувернанткой покинули Сюарле (два брата уехали раньше), Фрейлейн и Фернанда в последний раз обошли парк. Для Фернанды, поглощенной мечтами о будущем, в этой прогулке наверняка не было ничего сентиментального. Иное дело Фрейлейн. На фоне решетчатой ограды ей мерещился профиль высокого мужчины, несколько слишком плотного для своих лет, со шрамом на щеке от сабельного удара, якобы полученного на дуэли, но немецкие студенты в ту пору часто уродовали себя таким образом из рисовки. На самом деле визитер не был ни студентом, ни дуэлянтом. Он был коммивояжером, представлявшим производителя сельскохозяйственных машин из Дюссельдорфа, и каждый год заезжал узнать, не нужно ли чего-нибудь г-ну Артуру. Для Фрейлейн, родившейся в забытой Богом деревушке близ Кельна, ежегодный приезд немецкого коммивояжера был праздником. Им разрешали вместе пообедать в маленькой комнате, куда обычно приглашали перекусить фермеров, приехавших продлить арендный договор. После того как г-жа Матильда одобрила выбор гувернантки, та вручила жениху свои сбережения, чтобы он купил мебель, которой они обставят свое будущее жилье в Дюссельдорфе. Нетрудно догадаться, что вздыхатель удрал и уже никогда не вернулся. Из сведений, собранных на месте г-ном Артуром через посредство бельгийского консула, выяснилось, что коммивояжер продолжает торговать машинами, но, возможно, по его просьбе ему

определили поле деятельности в другом месте: он женился и теперь разъезжал по Померании.

Прислуга в Сюарле открыто насмехалась над пережитым гувернанткой разочаровании, о котором неведомо как разнюхали. Фрейлейн ела за одним столом с хозяевами, и ее не любили. Дети ни о чем не подозревали; мадемуазель Жанна узнала об этой истории много лет спустя. Одной только г-же Матильде было известно, что вместо того, чтобы негодовать, Фрейлейн молилась за «беднягу», которого ввела в соблазн, вручив ему свое скромное достояние. У дурехи в характере были черты святой.

Уже не в первый раз Сюарле, чье название на языке франков, кажется, означает «дом вождя», становится свидетелем того, как добропорядочная состоятельная семья покидает дом и распыляется, что бывает с состоятельными добропорядочными семьями. Если справедливы утверждения, что в ночь перед Рождеством в местах, где скрыты сокровища, зажигаются огни, на фоне этого мирного пейзажа должны были бы загореться не только деревенские лампы или свечи, слабо освещавшие опустошенную гостиную маленького замка, предназначенного на продажу. В музее Намюра хранятся прекрасные монеты Восточно-Римской империи и белго-римские украшения, найденные в Сюарле. Владельцы этих монет наверняка когда-то спрятали их накануне очередного нашествия, приняв соответствующие предосторожности: землю тщательно утоптали, чтобы не было заметно, что ее недавно разрывали, а сверху тайник засыпали какими-нибудь отбросами или опавшей листвой. Иногда драгоценный предмет прятали в стенной нише, тщательно водворяя на место панель или обои. Так поступили Ирене и Зоэ Дрион, напуганные чернью во время Славных дней 1830 года, когда покидали Сюарле, чтобы найти приют у Амели Пирме; очень скоро, заливаясь звонким молодым смехом, они вспомнили, что настольные часы, которые они спрятали вместе с драгоценностями, продолжают ходить, и тиканье и бой непременно выдадут тайник. Но патриоты в тот раз никого не ограбили. Четверть века спустя точно так же поступят со своими сокровищами во Фландрии отпрыски Артура и Матильды, но они не вернутся их искать, а если вернутся, ничего не найдут. Белго-римские племена в Сюарле тоже не нашли своих кладов.

Но домашняя жизнь продолжается соответственно маленьким устоявшимся привычкам, почти не изменившись. В соседнем местечке из земли выкопали каменных собачек: жирных, с глупой мордочкой, с колокольчиком на шее — в стиле «любимая моська»; именно такие собачки тявкали возле кресла хозяйки дома времен Нерона. У мадемуазель Жанны собачка похожей породы, Жанна

кормит ее с вилки. Но, как всегда рассудительная, она решает, что не возьмет песика с собой в Брюссель — он будет помехой в семейном пансионе, где они проведут дней прежде чем поселиться в собственном доме. Собачку оставят садовнику.

Утром в день отъезда барышни наверняка в последний раз помолились в пустой часовне. Немка, конечно, вспомнила о хозяйке и прочла о ней молитву Деве Марии. Фернанда рассеяна. Она мечтает о газовых рожках в Брюсселе.

Как только Жанна обосновалась в своем доме на тихой улице неподалеку от тогдашнего аристократического проспекта Луизы, она устроилась у веранды в кресле, которое покидала только по утрам, ежедневно отравляясь пешком слушать мессу в церкви кармелиток. Таким образом она разом совершала акт благочестия и физическую зарядку. Обитатели квартала привыкли видеть, как ковыляет эта особа, поддерживаемая с одной стороны служанкой в переднике (передник должен был подчеркнуть, что это служанка), а с другой — дамой в черной, старомодного покроя одежде. По возвращении с мессы Жанна делала другое физическое упражнение — в течение часа она бесстрастно и без ошибок разыгрывала вариации на фортепиано, несомненно получая удовольствие от того, что нажимающие на клавиши пальцы ее слушаются. Остальное время она посвящала вышиванию риз и покровов, в котором достигла большого искусства — эти вышивки она потом раздавала разным церквам.

Жанна выбрала для себя обстановку старой супружеской спальни Артура и Матильды, обитой алыми обоями, Фернанде досталась зеленая комната; в своей комнате синего цвета Фрейлейн вновь водрузила фотографию германского императорского семейства. Горничная и кухарка, привезенные из Сюарле, разместились в каморке под лестницей и в сыром подвале и принялись чистить серебро, вощить мебель, жарить, тушить, варить и печь.

Расписанные барышнями тарелки украшали веранду; в прямоугольном садике росло несколько деревьев. Дюжина кресел в стиле Генриха II и два сундука, сработанных в 1856 году, загромождали средних размеров столовую. Между двумя буфетами гордо разместилась копия «Разбитого кувшина»5, размером больше оригинала — во время своего свадебного путешествия в Париж Артур и Матильда купили ее в Лувре у художника, который работал прямо во дворике музея. Никто, включая Артура, ни разу не задумался над несколько игривым смыслом этой краснеющей простушки, грудь которой плохо прикрыта сбившимся платком и которая прижимает к бедру разбитый кувшин с выбитым донышком. В копии, купленной в

Лувре, невозможно было заподозрить такого множества непристойных намеков. Милой девушке с кувшином предстояло царить в этом интерьере в течение тридцати пяти лет.

Как некое понижение социального уровня сестры ощущали только то, что у них не было собственного экипажа. Но Жанна не покидала дома, а когда в свет выезжала Фернанда, посылали за наемной каретой.

Светская феерия очень скоро разочаровала Фернанду, может быть, потому, что на этом поприще она не снискала блистательных успехов. В Брюсселе у обеих сестер знакомых было мало. Разумеется, кое-какие родственники, с титулами и без оных, несколько друживших с семьей богатых вдов, приглашали девушку к себе и устраивали ей другие приглашения. Подружки по пансиону, все из хороших семей, служили, если можно так выразиться, удобными «подступами» — на балах их братья часто танцевали с Фернандой. Столица, которую Фернанда знала плохо, потому что, живя в пансионе, редко ходила по улицам, распадалась на две части. «Нижний город», шумный, полный лавок и «бодега»6, где деловые люди пьют портвейн, а тяжелые ломовые лошади оскальзываются на жирных мостовых. И «Верхний город» с его красивыми озелененными проспектами, по которым выездные лакеи прогуливают собак, а няни — детей и где по утрам на тихих улицах можно видеть согнутую спину служанки, драящей ступеньки перед входной дверью; Фернанда не выходит за пределы этого города. Но по ночам для девушки, которая «выезжает в свет», лишенные поэзии места преображаются: богатые дома с шершавыми фасадами на несколько часов превращаются в романтические дворцы, откуда струится музыка, где переливаются люстры и куда Фернанда не всегда вхожа. Ее приглашают либо только на большие приемы, либо только на интимные вечера, и очень редко на те и на другие в один и тот же дом. В провинции семья де К. де М. естественно принадлежала к самому лучшему обществу. Здесь, на брачной ярмарке, это старинное, но основательно забытое имя почти не имело продажной цены. В ту пору оно еще не покрылось добавочным слоем лакировки, который в глазах поколения, только вступающего в жизнь, на него наложит блестящая дипломатическая карьера кузена Эмиля. Жанна приемов не устраивала — впрочем, возраст и положение сирот им это возбраняли; вероятно, Фернанда завидовала подругам, которые приглашали к себе на полдники, где дворецкие в белых перчатках подавали птифуры, или организовывали у себя дома уроки танцев.

Маленькое состояние Фернанды не было «денежным

мешком», за которым стали бы охотиться женихи-профессионалы; им также не приходилось надеяться, что отец, дед, дядя или брат девушки поможет им пробиться в политику или в высший свет, сделать карьеру в Конго или в административном совете. Мадемуазель де К. де М. была не настолько хороша собой, чтобы внушать любовь с первого взгляда, впрочем, такого рода чувства не приняты в хорошем обществе, где брак по любви, не поддержанный чем-то более весомым, сочли бы неприличным. Братья Фернанды устраивали ей приглашения в «Благородное музыкальное общество», членами которого они состояли. Если верить бальным записным книжечкам Фернанды, она там много вальсировала. Но к часу ночи в зал шумно вваливалась небольшая группка брюссельской золотой молодежи, которая желала развлекаться и танцевать только в своем кругу. Фернанда с братьями и другими представителями более степенного хорошего общества чувствовали, что на них смотрят немного свысока или, во всяком случае, держат на расстоянии.

Само собой, Фернанда знала свои маленькие победы и свои маленькие разочарования. Фотография, которую она крупным угловатым почерком надписала одной из своих ближайших подруг эпохи «Святого сердца», Маргерит Картон де Виар, запечатлела воспоминание о живой картине, а может, и об оперетке, поставленной кружком любителей. Фернанда с большой грацией носит совершенно подлинный костюм неаполитанской крестьяночки. Сразу видно, что эта тонкая вышивка, изящные складки, мережка и этот прозрачный передник никогда не были частью костюмерной мишуры. Быть может, костюм привез из Италии один из двух Октавов, скорее, брат, чем «дядя». Вкус подкачал только в одном — из-под юбки Фернанды выглядывают не туфли без задника, как полагалось бы, а высокие блестящие ботинки по моде 1893 года. Впечатление такое, будто, после того как опустился занавес, Фернанда вышла на авансцену, уверенная в том, что ее ждут аплодисменты; во взгляде, не лишенном томности, желание нравиться. Не имеющая ничего общего ни с крестьянкой, ни с неаполитанкой, она нелепо помещена фотографом среди зеленых растений зимнего сада и приводит на ум ибсеновскую Нору7, решившую станцевать тарантеллу в одной из гостиных Христиании.

Фернанду начали упрекать в желании быть оригинальной. Почтенных матерей пугает ее культура, хотя и весьма ограниченная, которую девушка старается расширить, читая все, что попадется под руку, не исключая опасных романов в желтой обложке: молодая особа, прочитавшая «Таис», «Госпожу Хризантему» и «Жестокую загадку»8 — невеста уже с изъяном.

Фернанда слишком часто рассказывает какие-нибудь полюбившиеся ей эпизоды из истории, упоминая персонажей, которых ее партнеры по танцам не знают, например, герцога де Бранкаса9 или Марию Валевскую10. Она попросила знакомого священника давать ей уроки латыни; ей удается разобрать несколько стихов Вергилия и, гордясь своими успехами, она о них рассказывает. Она признается даже, что купила себе учебник греческой грамматики. Но поскольку никто не поддерживает и, более того, не поощряет ее затеи, она их бросает. Тем не менее Фернанда совершенно незаслуженно снискала репутацию мыслящей молодой девицы, вовсе не будучи таковой.

Дом Жанны стал гостеприимным кровом для ее сестер, вышедших замуж в провинции, Они заезжали сюда от поезда до поезда, стараясь, чтобы их посещения совпали с распродажей белья или с проповедью известного проповедника. Чаще других приезжала в Брюссель посоветоваться с врачом Зоэ.

Иногда, словно нехотя, она приглашала Фернанду погостить несколько дней в А. Семья Юбера, давно уже поселившаяся в лоне этого мирного фламандского пейзажа, прославилась благодаря скульптору XVIII века, чьи ангелы и богородицы украшали немало алтарей и церковных кафедр в австрийских Нидерландах. Маленький замок радовал глаз; на некотором расстоянии от него располагались деревня и добрая старая церковь. В пять часов утра летом и в шесть утра зимой меланхолическая Зоэ отправлялась к ранней литургии. Каждое утро, уже положив руку на ручку двери, она оборачивалась в сторону прихожей, чтобы издали дать горничной, которой надлежало «убирать гостиную», различные наставления относительно мелочей, которые та должна сделать к возвращению хозяйки. Зоэ было известно, что обычно Сесиль (так звали горничную) в это время прокрадывается в спальню на втором этаже, ибо час обедни для Юбера был часом любви. Но патетическая комедия каждое утро разыгрывалась заново, чтобы отвести глаза кухарке и ее подручной, которые были сообщницами Сесили, и маленькой Лоранс, которая спала в детской и в свои восемь-девять лет все прекрасна знала. Затем, одетая по городскому, в шляпе и перчатках, Зоэ, воплощенное смирение, слегка усталая, но полная достоинства, отправлялась к обедне.

Семейная жизнь расстроилась, однако, лишь после кончины их второго ребенка, сына столь желанного, но умершего в младенчестве. Благочестивая Зоэ смиренно покорилась воле неба; простодушный Юбер сыпал проклятиями, стучал кулаком по столу, объявил, что никакого Бога нет, и укоры перепуганной жены только еще больше его разъяряли. Не знаю, в это ли именно

время встало между ними смеющееся личико Сесили; во всяком случае, если, как показывает вышеописанная сцена, хорошенькая горничная и принадлежала какое-то время к домашней прислуге, она недолго оставалась в этом подчиненном положении и вскоре стала хозяйкой собственного дома в деревне. Сговорчивый отец этой признанной любовницы был небогатым разорившимся пивоваром, которому зять с левой руки помог выбраться из затруднения. Пивовар был радикалом, возможно, даже масоном и потому презираем приличными семьями. Эта среда повлияла на Юбера, и так уже возмущавшегося тем, что приходский кюре вмешивается в его семейные дела. В один прекрасный день читатели местной газеты, придерживавшейся передовых взглядов, узнали, что известный землевладелец, г-н Юбер Д. согласился стать председателем антиклерикального клуба — эту информацию сопровождали яростные нападки на духовенство. Зоэ приложила все старания, чтобы вернуть Юбера если не себе, то Богу, что довершило их разрыв.

Супружеская любовь дала, однако, еще несколько слабых вспышек. В 1890 году дети г-на де К. де М. вступили в Сюарле в права наследства, и Зоэ получила сразу свою долю и отцовского состояния, и того, что завещал Луи Труа и что до сей поры не было поделено. Юбер немедля продал земли в Эно, чтобы купить другие, поблизости от А. — поступок безусловно расчетливый и увеличивший его престиж. На деньги жены он купил также ресторан посреди городской площади и пристроил туда племянниц Сесили. В течение нескольких лет, которые были окрашены эйфорией, вызванной этими легкими деньгами, у законной супруги родились двое сыновей, но вторые роды нанесли ей увечье, которое брюссельский гинеколог излечить не смог. На сей раз супружеская жизнь кончилась безвозвратно. Может быть, Зоэ и не сожалела об этом, разве что досадовала, что ее окончательное устранение развязало руки тому, что кюре в исповедальне назвал бы нечестием, иначе говоря, Сесили.

Зоэ удвоила свою набожность. Она каждый день исповедывалась и, чтобы не проделывать натощак путь в оба конца, завтракала в маленьком католическом кафе против церкви; хотя она с трудом изъяснялась по-фламандски, ей случалось заводить разговор с арендаторами Юбера и обещать выхлопотать для них снижение арендной платы или отсрочку платежа, на которые по своей воле Юбер не согласился бы, так как, став свежеиспеченным радикалом, филантропом он не стал. Юбер довольно часто уступает просьбам жены и даже щедро снабжает ее деньгами на раздачу милостыни. Если во второй половине дня или вечером ожидается церковная служба, Зоэ

возвращается в деревню, уделяя также время девочкам, готовящимся к конфирмации. Юбер большую часть времени проводит у Сесили или в ресторане ее племянниц, где дает свои охотничьи обеды. Там с местными вольнодумцами он распивает крепкое бельгийское пиво и, конечно, поносит священнослужителей.

Вряд ли Зоэ поверяла свои горести еще девственным ушам Фернанды. Но у девушки были глаза. Маленький замок пришел в полное запустение. Павшая духом Зоэ уже не давала распоряжений прислуге, большая часть которой к тому же не понимала по-французски. Юбер иногда вмешивался в хозяйство, но потом устранялся. Он был учтив со свояченицей, которая несомненно угадывала в этом чудовище растерянного бедолагу. Лоранс, девочка с остреньким личиком, не по годам осведомленная в делах, о которых ей не следовало знать, громко барабанила на фортепиано в гостиной. Оба мальчика были еще в том возрасте, когда все дети — херувимы. Зоэ отдала их на попечение няньки: из-за своего кашля она не всегда решалась ими заниматься.

Возможно, наблюдение за этой четой и другими ей подобными отбило у Фернанды охоту к тому, что было бы для нее традиционным решением: при деликатном посредничестве настоятельницы, приходского священника или какой-нибудь матери семейства, вроде г-жи Ирене, ей присватали бы отдаленного родственника, сына какого-нибудь деревенского соседа или представителя хорошего общества Намюра. Но такое разумное устройство матримониальных дел, практиковавшееся многими поколениями, уже не подходило в 1893 году молодой особе, которой ее семейное положение давало некоторую свободу. Фернанда хотела чего-то другого, хотя сама толком не знала, чего.

Ей оставалось одно — влюбиться в человека, который не помышлял ни о ней, ни в ту пору о браке вообще. Барон Г. (инициал мной вымышлен) принадлежал к новейшей денежной аристократии; его отец и дед сумели с выгодой для себя и для своих компаньонов провернуть несколько финансовых операций, за что были вознаграждены титулом. Молодой барон (не помню, как его звали) не отступил от семейной традиции — его считали большим ловкачом. Но при этом он был дилетантом-коллекционером и меломаном. Он хорошо играл на органе и гордился тем, что принадлежал к числу способных учеников Видора11. Средства позволили ему приобрести прекрасный орган и оборудовать для него музыкальный салон во флигеле своего особняка. Думаю, что эта комната представляла собой нечто

среднее между часовней и любовным гнездышком, как многие музыкальные салоны той эпохи с их витражами и диванами, покрытыми турецкими коврами. Быть может, там даже курили благовония.

Фернанда, которая любила музыку, хотя выучилась только бренчать на фортепиано, с упоением погрузилась в эту тепличную атмосферу. «О, дар гармонии, дар грусти и волнений, язык, что для любви когда-то создал гений...». Это определение, соответствующее лишь определенному типу романтической чувствительности, по крайней мере в течение одного сезона, в точности совпадало с переживаниями Фернанды. Бах и Сезар Франк преображались для нее в нежный лепет. Барон Г. любезно продемонстрировал ей прекрасные переплеты своих книг и свои инкунабулы; она в них ничего не понимала, однако ее замечания показались барону менее глупыми, чем те, что он слышал от других светских дам и девиц. Впервые после «дяди Октава» Фернанда встречает мужчину тонкого, тактичного, из тех, кого уже начинают называть эстетами и которых она сама именует артистическими натурами. По правде сказать, барон не так красив, как ангелоподобный дядя — сказав, что у барона незначительная внешность, мы исчерпывающе опишем его облик. Мне хотелось бы предположить, что, отбросив семейные предрассудки, Фернанда, возможно, сама того не желая, влюбилась в представителя рода, который дал миру наибольшее число банкиров, пророков, меломанов и коллекционеров, но я ничего не знаю о предках барона Г.

В светском общении их отношения не пошли дальше нескольких туров вальса (барон хорошо танцевал, но не любил танцы); раз или два они ужинали друг против друга за маленьким столиком. Фернанда, скорее, умерла бы, чем призналась в своих чувствах, — в ту эпоху это было непростительным преступлением для влюбленной девушки, но ее молчание и красноречивые взгляды говорили за нее. Молодой барон, занятый делами и искусством, ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. Он был рассеян, а может быть, осторожен. Много лет спустя он женился на совершенно бездарной и уродливой женщине, которую, по рассказам, во время беременности окружал репродукциями античных статуй и барельефов Донателло, и которая родила ему двух красивых детей. Но в течение двух зим Фернанда жила этой любовью или, как сказала бы Фрейлейн, этим пристрастием. Вечерами, убирая в комод или шкаф свои перья и меха, которые она, как и все ее современницы, не стеснялась носить, она, однако, отдавала себе отчет, что топчется или в лучшем случае танцует на одном месте. Ее жизнь

бесцельна. Но в то же время безграничная тоска, наполнявшая ее сердце, возвышала ее в собственных глазах, превращая в своеобразную героиню романа, чьими бледными щеками и печальным взором она любовалась в зеркале.

Возможно, из-за этой неудачи у Фернанды обострилась склонность к путешествиям, впрочем, мы видели, что это свойство было не таким уж редким у членов ее семьи. О том, чтобы уважающая себя девушка путешествовала одна, не могло быть и речи; путешествовать в сопровождении горничной или компаньонки уже считалось смелостью. Но Фернанда была совершеннолетней, у нее были собственные средства к существованию; ни Теобальд — по равнодушию, ни Жанна — по здравомыслию не стали чинить ей препятствия: у этой семьи были свои достоинства. Однако ни брат, ни старшая сестра не допустили бы, чтобы Фернанда отправилась в Париж, где только замужней женщине, да и то лишь если ее сопровождал муж, еще как-то можно было появиться; не одобрили бы они и Италию, которая у всех северян ассоциируется с какими-то смутными вожделениями. Зато на Германию можно было положиться вполне, и Фрейлейн, которой хотелось повидать родную страну, от чистого сердца расхваливала добродетель и чистоту нравов своих соотечественников. Жанна не однажды одалживала сестре свою незаменимую гувернантку, которую в таких случаях временно замещала какая-нибудь особа, рекомендованная монашками. Таким образом, Фернанда несколько раз провела лето и осень в путешествиях по берегам Рейна и Некара, восхищаясь старинными городками, любуясь дрезденской Мадонной или античными статуями Мюнхенской глиптотеки, которые, впрочем, Фрейлейн находила непристойными, но прежде всего млея или хмелея от неиссякаемой музыки, которую, так сказать, источала Германия с ее оперными сезонами, ее концертами, музыкальными павильонами и ресторанными оркестрами.

Фернанда и Фрейлейн останавливаются в пансионах, рекомендованных путеводителями, — такие пансионы считались более благопристойными, чем гостиницы. Там они встречаются с интеллигентными людьми. В пансионах кишмя кишат будущие писатели, вечные студенты, иностранцы, жаждущие культурных впечатлений. Гедда Габлер, мельком взглянув на шедевры Пинакотеки, бегает по магазинам, пока добрейший Йорген Тесман12 делает выписки о домашнем производстве в Средние века; Тонио Крегер13 и Густав фон Ашенбах14 останавливаются здесь на несколько дней по пути в Италию или, наоборот, возвращаясь оттуда, и мечтательно вспоминают о неаполитанских

ночах и венецианских сумерках; Освальд Альвинг15, встревоженный своими головокружениями, задерживается здесь на обратном пути в Норвегию, чтобы во Франкфурте или Мюнхене посоветоваться с хорошим врачом. Жажда путешествий в молодом сердце почти всегда — неизбежное следствие жажды любви: в каждом уголке пейзажа, у подножия каждой статуи Фернанда ждет, что появится один из тех утонченных героев, которыми изобилуют романы и сборники стихов. Мечтания эти довольно пресны, что не мешает им содержать нечто существенное — потребность в любви, которую Фернанда обволакивает флером литературы, и потребность в наслаждении, в которой она себе не признается.

В семейных пансионах, наверно, намечались бледные контуры идиллий, рождавшихся от одолженного или взятого для чтения томика, от прогулки в парке, куда любезный г-н Икс предлагает проводить мадемуазель, или просто при виде какого-нибудь молодого иностранца, который читает за соседним столиком и которого на другой день уже больше не увидишь. Однако преобладают в пансионах представительницы женского пола. Есть тут чопорные английские и американские мисс, отличить которых друг от друга можно разве что по акценту— они приехали сюда совершенствоваться в сольфеджио или в технике игры на фортепиано. Есть здесь и особы покрепче — нарочито небрежно одетые, они носят галстуки, а иногда и лорнеты и вызывающе равнодушны к собственному уродству или, наоборот, красоте. Они делают копии в музеях, рисуют обнаженную натуру, изучают драматическое искусство, а иногда распространяют социалистические брошюры. Раз-другой какая-нибудь взъерошенная девица, у которой в Скандинавии или Польше осталась добропорядочная семья, приглашает Фернанду в свою комнату, чтобы угостить ее вишневой водкой. Но крайний феминизм, решительные утверждения, что любовную мораль надо полностью перестроить, смущают барышню из Сюарле: она отнимает руку у молодой анархистки, которая нежно ее поглаживала.

Фернанда здесь так же одинока, как дома, в районе Исселя. Она замечает, что если нет особого сродства душ, явления редкого, люди сближаются и завязывают длительные отношения только, когда их роднит общая социальная среда, воспитание, сходные идеи и интересы и когда они говорят на одном языке. А Фернанда не пользуется жаргоном этих мимолетных знакомцев, более эмансипированных чем она сама. Ее существование в отличие от их жизни лишено смысла: она не совершенствуется в музыке, ей не быть поэтом или критиком искусства, она

неспособна даже набросать акварель. Социальная несправедливость, которая терзает душу русской в крахмальном воротничке соседки Фернанды по этажу, в мире Фернанды — всего лишь общее место лозунгов бастующих рабочих, м-ль де К. де М. вообще не понимает, как это у женщин могут быть политические убеждения. По где же ее место и что ей делать? Дела благотворительности, которыми Жанна советует ей заполнять зимние дни, предстают перед Фернандой в образе властных дам, типа полковых, которые шьют пеленки и журят матерей-одиночек. Монастырь, который на смертном одре покажется ей лучшим выбором для ее дочери, в эту пору ее самое не соблазняет; Фернанду отпугивает суровость созерцательных религиозных орденов; мысль о том, что придется ухаживать за больными, вызывает в ней отвращение, она знает, что не сумеет его победить; одежда монашек ордена Святого сердца тоже не прельщает Фернанду — ничто из перечисленного ее жизнь не заполнит. Единственный выход — выйти замуж, хотя бы для того, чтобы не остаться во второсортном статусе непристроенной девицы. Но Освальд Альвинг и Тонио Крегер предложений не делают, подходящие партии появляются только во фраках в гостиных Брюсселя.

И все же Фернанда пережила свою немецкую идиллию. Однажды погожим сентябрьским днем они с Фрейлейн остановились в маленькой гостинице на краю Шварцвальда. Фернанда в одиночестве отправилась на далекую прогулку. Фрейлейн, страдавшая мигренями и к тому же неколебимо верившая в германскую добродетель, все реже сопровождала девушку во время таких вылазок. Гуляющих в тот день было мало, студенты, которые бродили по лесу, напевая, а иногда горланя песни Шуберта, разъехались по своим университетам. Мадемуазель де К. де М. шла по одной из тропинок, в разветвлениях которых запутаться невозможно, настолько густо размечены они синими и красными указателями. Наконец на одной из прогалин она села на скамейку из дерна. Наверняка у нее с собой по обыкновению была книга. Через некоторое время к ней подсел молодой лесничий в коротких штанах. Он был красив светловолосой красотой Зигфрида. Юноша заговорил с ней; он оказался не совсем простолюдином. Они обменялись банальными репликами — она назвала страну, из которой приехала, и объяснила, что очень любит Германию. Мало-помалу они придвинулись друг к другу — простой красивый юноша очаровал Фернанду.

Он целует ее, она возвращает ему поцелуй, разрешает какую-то ласку. Они позволили себе не очень много, но все-таки

Фернанда опустила голову на плечо мужчины, почувствовала исходящий от него жар и прикосновение его рук, предалась той жгучей нежности, которая переворачивает все существо. Отныне она узнала, что ее тело — не просто машина, предназначенная для того, чтобы спать, ходить, есть, не только манекен из плоти, на который надевают платье. Пленительная дикость леса переносит ее в тот мир, где нет ложной стыдливости, парализующей ее в семейном пансионе. А Фрейлейн снова отмечает, что свежий воздух идет на пользу мадемуазель.

Фернанда была слишком щепетильна, чтобы не поведать г-ну де К. это незначительное приключение. Взгляды Мишеля на свободу незамужних женщин были самыми широкими: такого рода признание следовало делать лишь в том случае, если последствием встречи стало рождение ребенка, которого надо содержать или который мог однажды сделаться предметом шантажа. Признание Фернанды, которое Мишель счел глупым, его рассердило. Я уже говорила, что он упорно верил, будто все женщины, если не считать профессионалок и некоторых сумасшедших, до которых ему не было дела, начисто лишены какого бы то ни было зова плоти, они из одних только нежных чувств уступают пленившему их мужчине и в его объятиях познают только одну радость — возвышенной любви. И хотя собственный опыт Мишеля постоянно пробивал бреши в этом его представлении, он на всю жизнь сохранил его в тех недрах, где покоятся дорогие нам мнения, хотя им и противоречат факты, и время от времени извлекал его на свет божий. Иногда, правда, бросаясь в другую крайность, он всех женщин зачислял в Мессалины, что также влекло за собой некоторые трудности. Фернанда в данном случае предстала перед ним дурехой, которой в глазах немецкого самца померещился свет любви, когда на самом деле она должна была увидеть в нем то, что Мишель, в тех случаях, когда речь шла не о нем самом, называл грубой похотью. То, что Фернанда могла испытать чистейшее блаженство чувственности, было бы в его глазах не только позорным для нее, но и просто необъяснимым. Впрочем, женщины, считал Мишель, никакому объяснению не поддаются.

На следующий день зарядили дожди, и Фернанде больше не пришлось увидеть своего Зигфрида. С приходом зимы она вновь без большой радости включилась в светский водоворот. Барон Г., которого она не раз видела во время этих вечеров, казался ей теперь позавчерашней грезой. Ощущение «уже виденного» накладывало на все отпечаток серости. Ей были противны действительная грубость некоторых кавалеров, с которыми она танцевала, тупой смех, звучащий тем громче, чем позже доходила

до них шутка, случайно подслушанные в буфете разговоры мужчин, в которых речь шла только о биржевых курсах, ипподроме или о женщинах. Ее записная книжица говорит мне, что в эту зиму она вальсировала по крайней мере с двумя молодыми людьми, сделавшими впоследствии почтенную карьеру в политике и в литературе, но едва ли между двумя контрдансами беседовали о книгах, а вздумай кавалер рассуждать о падении министерства, Фернанда едва ли стала бы его слушать. Несомненно именно в это время она избрала своим девизом вычитанную где-то мысль: «Хорошо узнать какой-то предмет — значит от него освободиться». Впоследствии она поделилась этой мыслью с г-ном де К., который ею проникся. Я часто ее оспаривала. Хорошо узнать какой-то предмет — это напротив, почти всегда означает открыть в нем неожиданные очертания и богатства, распознать новые связи и измерения, исправив то общепринятое представление, плоское и обобщенное, какое мы имеем о том, чего не изучили вблизи. Впрочем, в самом глубоком смысле эта фраза приближается к кое-каким основополагающим истинам. Но чтобы по-настоящему их освоить, надо, вероятно, чтобы твои тело и душа насытились. А Фернанда еще не насытилась.

Время текло незаметно. 23 февраля 1900 года серым зимним днем Фернанда грустно отпраздновала свое двадцативосьмилетие.

На той же самой неделе, а может быть, чуть раньше или чуть позже Фернанда получила от старой приятельницы их семьи, баронессы В. (этот инициал также мной придуман, потому что я забыла фамилию названной особы, хотя я вправе считать ее автором моего появления на свет) письмо, требовавшее немедленного ответа. Эта богатая вдова, нежно любившая Фернанду, приглашала девушку провести Пасху на ее вилле в Остенде, расположенной, что было очень привлекательно, на отшибе, прямо среди дюн. Баронесса В., презиравшая курортный сезон, жила на вилле и принимала там гостей только весной и осенью. Она сообщала своей молодой приятельнице, что на сей раз среди постоянных гостей дома, которых Фернанда уже встречала, будет один француз, мужчина лет сорока, видный собой и очень интеллигентный, и что Фернанде безусловно будет интересно с ним познакомиться. Г-н де К. прошлой осенью потерял жену, у него есть сын, мальчик лет пятнадцати, который чаще всего находится на попечении деда и бабки по матери; на сей раз, вопреки обыкновению, любитель путешествий г-н де К. провел зиму в своем особняке в Лилле. На фландрских холмах поблизости от бельгийской границы у него есть имение, где

баронесса любовалась прекрасным видом — в ясные дни оттуда видно даже Северное море. Можно надеяться, что неделя, проведенная в обществе милых людей в доме старой приятельницы, развеет уныние и вернет веру в жизнь этому человеку, носящему траур. Фернанда приняла приглашение доброжелательной вдовы, как, впрочем, принимала его уже не раз. При этом она поступила так, как в этих случаях поступают все женщины: купила одно-два новых платья и отдала переделать несколько старых.

Вечером в день своего приезда, войдя в гостиную баронессы, в одной из групп Фернанда увидела высокого мужчину с очень прямой спиной, высоко державшего голову и участвовавшего в оживленном разговоре. Опечаленным он отнюдь не казался. Г-н де К. был блестящим собеседником, каких еще немало оставалось в ту эпоху и какие окончательно перевелись ныне, когда люди, похоже, все меньше общаются друг с другом. Г-н де К. не был монологистом, наоборот, он принадлежал к числу тех, кто предполагает в своих собеседниках больше темперамента, ума и занимательности, чем они на самом деле обладают. Наголо обритый череп и висячие усы придавали этому обитателю севера Франции сходство с венгерским магнатом. Живые голубые глаза с некоторой бесовщинкой поблескивали из-под нависших кустистых бровей. Не слишком наблюдательная Фернанда вряд ли заметила в этот вечер его высоко посаженные изящной формы уши — г-н де К. похвалялся, что умеет ими двигать. За столом, где он оказался ее соседом, она, вероятно, оценила его крупные кисти наездника и кузнеца, но едва ли обратила внимание, что на среднем пальце левой руки не хватает верхней фаланги. Все эти подробности, которые я для удобства привожу здесь, в два счета придали бы гостю баронессы В. странный и почти зловещий облик, если бы в нем не брал верх светский человек и кавалер. Он оказал мадемуазель де К. де М. (относительно которой он получил письмо аналогичное тому, какое Фернанда получила о нем) все положенные знаки внимания. Когда после ужина заговорили о том, чтобы послушать музыку, Фернанда удалилась к себе, напомнив баронессе, что не поет и не слишком хорошо играет на фортепиано. Это обрадовало г-на де К., не любившего светские таланты.

Баронесса, которая, как многие женщины ее возраста и круга, интуитивно склонна быть свахой, часто оставляет Мишеля наедине с Фернандой. По утрам они прогуливаются по еще пустынному в этот промозглый апрель пляжу. Фернанда в своих длинных неуклюжих юбках и под вуалью, которую надевает, чтобы защититься от песка — хорошая пожива для ветра. Мишелю

приходится замедлять шаги — символ грядущих уступок. Он берет напрокат лошадь. У Фернанды нет амазонки, к тому же она почти не умеет ездить верхом — что ж, говорит себе Мишель, будет чему ее поучить. Фернанда с веранды смотрит, как он гарцует в дюнах. Красота этого берега, хоть и поруганного уже и в ту пору, в том, что, повернувшись спиной к уродливой цепи вилл на дамбе, ты видишь перед собой текучую громаду без имени и возраста, серый песок и тусклую воду, по которой неутомимо разгуливает ветер. На далеком расстоянии Фернанда не различает ни одежды наездника, ни лошадиной сбруи — только всадник и животное, как на заре времен. При отливе Мишель направляет лошадь к морю; животное, чтобы освежиться, входит в воду по самые предплечья; всадник, созерцающий морской простор, в эту минуту за тысячи лье от Фернанды. В дождливые дни самое лучшее — беседовать у камелька. Мишель обнаруживает, что Фернанда замечательно рассказывает, как настоящий поэт; благодарение Богу, она говорит без всякого акцента — акцента этот француз не вынес бы.

Мишель вспоминает: два или три года назад, во время такого же пребывания на курорте в Остенде, он предложил своей первой жене, Берте, прогуляться в дюнах. Ей вдруг стало дурно. (Все женщины одним миром мазаны — нелепо затягиваются в корсет). В это мгновение они проходили мимо какой-то виллы, слуга расставлял у входа плетеную мебель. Г-н де К. попросил позволения усадить Берту в одно из кресел. Вышедшая из дома баронесса пригласила незнакомцев к себе, так возникла дружба, причем в большей степени между Мишелем и старой дамой, чем между ней и Бертой, которая показалась баронессе слишком сухой и жесткой. Неужели все пойдет по второму кругу только оттого, что когда-то, тому две-три осени, ему вздумалось совершить прогулку в дюнах? Описание Фернанды, которое ему прислали, было довольно точным. Красивые, плохо причесанные волосы. Глаза ласковые, не только потому, что она хочет ему понравиться, — точно таким же взглядом, приветливым и рассеянным, она смотрит на даму в газетном киоске и на подметальщика улиц. Для особы ее круга она много читала. Возраст у нее самый подходящий. Г-н де К. считает, что сорокалетний мужчина, который женится на двадцатилетней девушке, может быть уверен, что все деревенские соседи будут щипать ее за ляжки (я оставляю Мишелю его язык, без которого он для меня — не он). По этой же причине очень хорошо, что она не красавица. Но, во всяком случае, в ней чувствуется порода, а это имеет значение для человека, который неустанно повторяет, что порода — вздор, имя — вздор, социальное положение —

вздор, деньги — вздор (хотя сорит он ими с упоением) и вообще все на свете — вздор.

Он ждет кисло-сладких замечаний от матери, но доброжелательность не входит в число добродетелей г-жи Ноэми — это дело известное. У него проблемы с деньгами, вернее, были бы проблемы, если бы он мог их таковыми считать; он предвидит, что появление Фернанды увеличит его расходы, но тратить на женщину — одно из удовольствий, которых он от нее ждет. Впрочем, к счастью, у мадемуазель де К. де М. есть небольшое состояние, которое останется при ней, если между ними что-то не заладится. Мишель провел мрачную зиму рядом с матерью; путешествовать одному тоже не слишком приятно. И вообще этому любителю женщин нужна женщина. Светские адюльтеры отнимают много времени, о проститутках не может быть и речи, горничные не в его вкусе. Конечно, он мог бы жениться на одной из сестер Берты, но и об этом не может быть и речи. Оценивающим взглядом Мишель окидывает нежную, немного вялую фигуру Фернанды.

Но когда Мишель сделал предложение, мадемуазель де К. де М. заколебалась. Не то, чтобы баронесса ее обманула — Мишель всем хорош. Однако дружелюбная сваха не уточнила некоторых подробностей, которые, впрочем, может быть, ей и самой не до конца известны. Этому сорокалетнему французу, если быть точными, сорок шесть лет. Почти внезапная смерть жены его потрясла, но не сокрушила, как можно было понять из письма баронессы. Особняк в Лилле на самом деле принадлежит богатой толстухе Ноэми, которая правит также Мон-Нуаром и прекрасным видом, из него открывающимся, и расстанется с ними только на смертном одре. Мишель чувствует себя как дома лишь в номерах богатых отелей. Баронесса ничего не рассказала о прошлом жениха, которого она предназначила Фернанде, но история жизни, прожитой, как придется, и напоминающей не столько XIX, сколько XVIII век, скорее, воодушевила бы, чем смутила девушку. Сама не зная почему, Фернанда чувствует, что перед ней существо высокого полета, хотя она не употребляет этого выражения, да оно и не из ее лексикона. Но в присутствии этого стремительного и непринужденного француза она не испытывает того упоительного трепета, который, по ее мнению, и есть любовь. Не ее вина, если она предпочитает ангелоподобных мужчин, эстетов или Зигфридов, кавалерийским офицерам. Мишель, не привыкший встречать сопротивление со стороны женщин, растерян и раздражен. Но он придумывает план, который приносит ему победу.

— Вы собираетесь провести лето в Германии. Как приятно

будет мне вместе с вами открыть страну, которую я плохо знаю... Мы возьмем с собой эту Фрейлейн, о которой вы так часто рассказываете. Надо же соблюдать приличия, если только они не слишком отравляют жизнь...

От этого предложения у Фернанды перехватило дыхание — оно ее пленило. Возвратившись к Жанне, она объявила родным о своей помолвке и о поездке. Во всей этой истории семью Фернанды больше всего коробила национальность Мишеля де К. Помню, каким тоном почти десять лет спустя кузина Луиза, преисполненная патриотизма и меланхолии, воскликнула при мне: «А все-таки жаль, что дочь Фернанды — француженка!». В ту пору до этого еще не дошло. Теобальд, однако, из принципа высказал кое-какие возражения. Жанна не сказала ничего, понимая, что Фернанда все равно поступит по-своему. Фрейлейн пошла укладывать чемоданы.

С этими чемоданами случилось первое за время поездки недоразумение. В минуту рассеянности Фрейлейн отправила их в Кельн малой скоростью. Они прибыли в город лишь накануне отъезда оттуда всей троицы. Но то, что чемоданы запоздали, дало возможность Мишелю преподнести Фернанде кое-какие безделушки, которых ей в эту минуту не хватало, и которые он приобрел для нее в магазинах, торгующих английской кожей и модными парижскими новинками. Фрейлейн воспользовалась остановкой в Дрездене, чтобы зайти в контору фирмы по продаже сельскохозяйственных машин, которую в свое время представлял ее бывший жених. Ей сообщили, что герр Н. умер в Померании; она заказала обедню за упокой души прохвоста и каждый год до конца своих дней проделывала этот благочестивый ритуал. Мишель и Фернанда, отправившиеся осматривать маленький замок в стиле рококо, ничего не узнали об утрате, понесенной суровой гувернанткой; лет двадцать спустя бывшая горничная Жанны, которой когда-то открылась старая немка, рассказала мне, потешаясь, эту историю.

Мишель и Фернанда купаются в немецком благодушии. Им обоим доставляют удовольствие деревенские праздники, на которых красивые парни танцуют с красивыми девушками, а в Английском саду Мюнхена — невозмутимые бюргеры, перед Китайской башней потягивающие пиво в своей компании. Им понравились мистерии Обермергау16. Мишель убедил Фернанду отказаться от уютных неудобств семейных пансионов, и теперь из окна своего гостиничного номера Фрейлейн, которая вначале отнеслась к г-ну де К. с ворчливым недоверием, а теперь его обожает (он с ней учтив и даже галантен) машет платком вслед отъезжающей в карете необычной парочке, которую старается не

обременять своим присутствием, и которая отправляется осматривать городские и окрестные достопримечательности. Как всегда страдая мигренями, Фрейлейн просит мсье и мадемуазель купить ей в аптеке патентованные средства, которые отличаются устрашающими названиями и мольеровской эффективностью; в простоте душевной она вносит в их романтическую комедию необходимый комический элемент.

Оба единодушно восхищаются Людвигом II Баварским; они очарованы ландшафтом, окружающим его замки, но хорошо, что гид, ведущий их из зала в зал, не понимает замечаний, которые француз отпускает насчет консолей в стиле Людовика XIV и кресел в стиле Людовика XV, — поэтический государь обставлял ими некоторые свои покои. Фернанда великодушно замечает, что эти погрешности вкуса даже, пожалуй, трогательны. Они с Мишелем плывут по Штарнбергскому озеру на старом позолоченном пароходике, который когда-то был королевским судном, и вдвоем ищут то место на берегу, откуда заподозренный в безумии Лоэнгрин увлек за собой в пучину смерти толстяка-психиатра в очках и с зонтиком. Однако Фернанда заразилась презрительным отношением Мишеля к некоторым вещам: она уже не смотрит на офицеров, волокущих свои сабли, с почтением, какое ей когда-то внушила Фрейлейн.

К концу лета в Инсбруке задул пронзительный ветер, привезенный сыном г-на де К., которого, несмотря на его шестнадцать лет, все еще зовут Мишелем-маленьким. Отец неосмотрительно пригласил его провести в Тироле с будущей мачехой две недели в промежутке между унылыми каникулами у деда и бабки с материнской стороны и возвращением в один из коллежей Лилля — г-н де К. не знал точно, в какой, поскольку недисциплинированный мальчик часто менял учебные заведения. Ни Мишель, ни Берта никогда не уделяли большого внимания своему сыну. За год с лишком до этого подросток возмутил Мишеля, отказавшись войти в комнату умирающей — если верить его отцу, он провел эти несколько страшных дней на ярмарке у игральных автоматов. В хмуром безразличии сына г-н де К. не распознал последствий обездоленного озлобленного детства, усугубленных тем, что мальчик был постоянным свидетелем подспудного супружеского раздора, который, вероятно, давался ему тяжелее, чем самим его родителям, а ко всему этому под конец еще добавился ужас перед продолжавшейся неделю агонией. Не понял Мишель и того, что в глазах подростка, даже если он не слишком любил мать, сорокасемилетний вдовец, обхаживающий ее заместительницу, может показаться чудовищем, в какой-то мере даже непристойным. Дело еще

ухудшила Фернанда тщетными попытками проявлять материнскую заботливость.

Пятьдесят лет спустя мой единокровный брат вкратце описал эти дни, воспоминания о которых тем временем прокисли в нем. Обиды подростка смешиваются в них с предвзятостью зрелого мужчины. Этот любитель генеалогии, посвящавший свой досуг прилежному установлению дат рождений, браков и смерти всех членов семьи, в том числе и Фернанды, утверждает, что Фернанде было в ту пору тридцать пять лет, хотя ей не пришлось дожить до этого возраста. Мы знаем, что Фернанде было тогда двадцать восемь. В глазах подростка взрослые всегда кажутся старше своих лет, а потому нет ничего удивительного, что мальчик мог ошибиться, но характерно, что пятьдесят лет спустя он повторил эту ошибку вопреки датам, которые сам же привел в другом месте Он высмеивает перетянутую талию невесты и ее формы, которые его отец считал соблазнительными, и не замечает того, что судит женщину Прекрасной эпохи с позиций вкусов, требующих от женской фигуры «линии стручка». Фотографии Фернанды, снятые в те годы, демонстрируют то, чего и следовало ждать, — деликатные изгибы силуэта Эллё17. Впрочем, я спрашиваю себя, не наложился ли в памяти пасынка на этот образ будущей мачехи другой, который мы видим на фотографии, снятой за несколько месяцев до моего рождения, очевидно последней, если не считать тех, что очищены смертью. На этом снимке Фернанда кажется вдруг погрузневшей в стесняющем ее дорожном костюме: в таком виде предстала она глазам г-жи Ноэми и моего единокровного брата, когда уезжала из Мон-Нуара, чтобы никогда больше туда не вернуться.

Упрек в том, что лицо у Фернанды было в красных прожилках, вероятно, более справедлив. Судя по рекламе соответствующих патентованных средств в газетах того времени, этот изъян был тогда весьма распространенным. Враждебный взгляд школьника мог разглядеть красноту под слоем рисовой пудры. Однако г-н де К., беспощадный к малейшим физическим недостаткам своих женщин, никогда о ней не упоминал, а это говорит о том, что по крайней мере эта краснота не безобразила Фернанду. Упрек в аффектации также быть может обоснован, ибо в ту эпоху она была делом обычным. И, конечно, поведение особы, которая, восхищаясь понравившимся ей видом, цитировала своих любимых поэтов, должно было показаться аффектированным мальчишке из породы лентяев. Мой сводный брат добавляет, что вскоре с удовлетворением, скрыть которого не может, узнал, что злополучная незнакомка из очень хорошей семьи. Хочется надеяться, что он отметил это задним числом и

что шестнадцатилетний подросток еще не питал такого почтения к родовитости.

После отъезда угрюмого юнца, вернувшегося к своим добрым наставникам, Мишель и Фернанда смогли спокойно наслаждаться последними летними днями среди зальцбургских озер. В воздухе уже чувствовалась осень. Что-то заканчивалось: в дальнейшем их путешествия уже никогда не будут овеяны такой свободной фантазией, как эта долгая предсвадебная поездка. Однажды утром, когда под кишечными лучами обычно испаряется туман, в глубине меланхолического Хельбруннского парка на повороте аллеи они оказались у пьедестала без статуи. Восхищенная Фернанда обратила внимание Мишеля на то, как исходящий от земли пар, сгущаясь, поднимается но цоколю точно жертвенный дым, потом струится выше, преображается, смутно напоминая белые формы богини или какой-нибудь призрачной нимфы. Мишель всегда страстно любил поэзию, но находил ее прежде всего в книгах. И, может быть, ему впервые пришлось стать свидетелем того, как поэзию во всей ее первозданной свежести вызвала к жизни изящной игрой воображения начитанная молодая женщина. Мишель чувствовал себя перенесенным в волшебную страну фей.

Но феям свойственны причуды, иногда даже безумства. Когда Мишель, сначала вернувшийся в Мон-Нуар, потом на два дня приехал в Брюссель, чтобы заняться подготовкой к оглашению предстоящей свадьбы, он застал Фернанду в полном унынии — она твердила, что жизнь ее кончена, сердце разбито и будущее печально. Как небесное тело, проходя поблизости от другой планеты, вызывает на ней пертурбации, так, быть может, этот кризис вызвал, сам того не подозревая, барон Г., увиденный Фернандой на каком-нибудь светском вечере. Фернанда заявила, что если и пойдет под венец, то только в глубоком трауре. Но такой пустяк не мог смутить г-на де К.

— Вот как, дорогая?.. В черном кружеве шантильи?.. Но это будет восхитительно!

Фернанда от своей затеи отказалась.

А несколько дней спустя, в конце октября, утром, наверняка пасмурным, снова вернувшийся во Францию Мишель, которому предстояло присутствовать на литургии по случаю годовщины смерти первой жены, получил от Фернанды письмо, заботливо им сохраненное. В этом письме отразились все лучшие стороны молодой женщины:

Дорогой Мишель!

Я хочу, чтобы завтра ты получил от меня несколько слов. Это будет такой печальный для тебя день. Ты будешь так одинок.

Видишь, как нелепы приличия... Мне никак нельзя быть рядом с тобой, хотя что может быть естественнее, когда любишь, обнять друг друга и друг друга поддержать... Начиная с этих последних октябрьских дней, дорогой Мишель, все прошлое забыто. Ты знаешь, что говорит о времени добрый г-н Фейе: «Прошлое становится для нас по-настоящему прошлым, только когда оно забыто».

И вообще верь в будущее и в меня. Я думаю, что этот тусклый и серый октябрь — только облачко между двумя светлыми полосами: нашей очаровательной поездкой в Германию и нашей будущей жизнью. Здесь в семье чувствуешь, как тебя снова опутывают будничные тревоги, заботы и слухи, то робкое и ограниченное состояние духа, которое свойственно всем вокруг... Там, в путешествии, под небом более светлым мы опять обретем нашу радостную беззаботность, атмосферу нежности и близости, которая была нам так дорога.

Я счастлива при мысли, что осталось всего три недели... А в эти два дня я не стану говорить: «Не грусти», скажу только: «Грусти не слишком сильно». Я жду тебя в день твоего приезда во вторник вечером.

Поцелуй за меня Мишеля-маленького. Сердечный привет тем, кто рядом... Я тебя очень люблю.

Фернанда.

«*Добрый г-н Фейе*» — очевидно, Альфред Фейе, довольно популярный в те годы философ, и то, что Фернанда на него ссылается, еще раз подтверждает, что она не чуралась чтения серьезных книг. «Сердечные приветы тем, кто рядом...», по-видимому, осторожно намекают, не называя ее по имени, на г-жу Ноэми, которую Фернанда уже успела невзлюбить. Упоминание о Мишеле-маленьком свидетельствует о том, что простодушная Фернанда еще сохраняла иллюзии, надеясь, что сумеет привязать к себе пасынка.

Мишель и впрямь нуждался в этом письме-талисмане, чтобы выдержать не столько заупокойную службу в конце года, сколько брачную церемонию, жупел для сорокасемилетнего мужчины, уже прошедшего через это испытание. За день до свадьбы в доме Жанны состоялся торжественный ритуал: дележ серебра, которым до этой минуты обе сестры владели сообща. На столе в столовой был выставлен целый комплект посуды, обернутой в папиросную бумагу. Фрейлейн деловито считала и пересчитывала столовые приборы. В подробном перечне описывался внешний вид каждого предмета с указанием стоимости и веса. Вышло так, что двух последних данных не оказалось в описании больших щипцов для сахара в виде медвежьих лап, вокруг которых обвилась змея — жуткий предмет, который Мишель охотно отправил бы в ломбард.

Дело шло к вечеру, ювелирные магазины были уже закрыты. Теобальд надел шляпу, пальто и галоши и отправился к знакомому ювелиру, который любезно согласился спуститься в магазин, чтобы взвесить и оценить щипцы. Мишелю эти щепетильные люди показались мещанами. Когда ему и его любимой сестре Марии пришлось делить драгоценности и безделушки, доставшиеся от отца, брат с сестрой устроили для развлечения лотерею, вытягивая жребий наугад, и Мишель плутовал, чтобы Марии досталось то, что ей особенно нравилось. Медвежьи лапы, в которых было что-то символическое, отравляли Мишелю предстоящее бракосочетание.

Наконец настало утро 8 ноября, надо полагать, пасмурное и холодное, какими обычно бывают в Брюсселе ноябрьские утра. Погода не благоприятствовала ни нежным чувствам, ни светлым туалетам. Приходская церковь отличалась банальным уродством. Мишель пригласил немногих. Из Лилля приехали его мать и сын, причем первая была уже заранее встревожена тем, что у Мишеля может появиться потомство, а это соответственным образом уменьшит наследственную долю Мишеля-маленького. Затянутая не то в серую, не то в сизую тафту, Ноэми являла глазам присутствующих величественные останки красавицы, которая вышла замуж примерно в то же время, когда Наполеон III женился на Евгении Монтихо. Сестра Мишеля, Мари де П., очевидно приехала из Па-де-Кале с мужем, человеком учтивым и в то же время унылым, в котором янсенистская суровость уживалась со старомодной роялистской элегантностью. Брат Берты, добрейший и неотесанный Бодуэн, явился из лояльности по отношению к Мишелю. Несомненно на одной из скамеек восседала очаровательная сваха, баронесса. Но неф заполонила ближняя и дальняя родня Фернанды. С этими людьми следовало порвать.

Мишеля ожидал сюрприз. В последнюю минуту Фернанда представила его подружке невесты, Монике, прекрасной голландке, которая накануне приехала из Гааги, чтобы в тот же вечер туда вернуться. В розовом бархате, с розовой шляпой на темных волосах, Моника ослепила и очаровала Мишеля. Если бы баронесса В. пригласила на Пасху эту большеглазую девушку с золотистой кожей... Но дело сделано, к тому же у мадемуазель Г. был жених. Впрочем, Фернанда в белых кружевах была очень мила. Еще больше понравилась она Мишелю в строгом дорожном костюме, готовая уехать с ним подальше от всех этих сложностей.

В 1927 или 1928 году, то есть за год или два до своей смерти, мой отец извлек из ящика стола дюжину рукописных страниц; такой бумаги, листки которой в ширину больше, чем в длину и форматом напоминают черновики Пруста, по-моему, теперь нет в

продаже. Это была первая глава романа, начатого Мишелем в 1904 году и так и не продолженного. Если не считать одного перевода и нескольких стихотворений, то был единственный литературный опус Мишеля. Светский человек по имени Жорж де.., лет очевидно тридцати, выезжает в Швейцарию с молодой особой, на которой он утром женился в Версале. В процессе рассказа Мишель по недосмотру изменил маршрут новобрачных и ночь им пришлось провести в Кельне. Молодая женщина скучала по матери, с которой разлучилась впервые в жизни. Муж, который незадолго перед тем не без облегчения порвал с прежней любовницей, теперь вспоминал о ней с ласковой грустью. Юная подруга трогала Жоржа своей наивной свежестью; он думал о том, что ему самому предстоит в этот вечер лишить ее этого хрупкого свойства, в одно мгновение превратив в такую же женщину, как все. Несколько принужденная учтивость, нежная и робкая взаимная предупредительность двух людей, только недавно на всю жизнь связавших друг с другом свою судьбу и впервые оказавшихся наедине в отведенном им купе, так же, как и то, как они, смущаясь, выбирают в кельнской гостинице номер с одной кроватью, были описаны очень хорошо. Предоставив жене готовиться ко сну, Жорж в курительной от нечего делать завязывал разговор с официантом. Полчаса спустя, желая избежать испытующего взгляда лифтера и потому не воспользовавшись лифтом, он поднимался по лестнице, входил в номер, омытый слабым светом ночника, и начинал постепенно раздеваться, совершая этот столько раз повторенный в других местах с другими женщинами обряд со смешанным чувством нетерпения и разочарования, и желал чего-то другого, сам не зная, чего.

Меня пленила точность описания, лишенного всякой литературщины. В эту пору я сочиняла свой первый роман — «Алексис». Время от времени я читала из него несколько страниц Мишелю, который был прекрасным слушателем, способным сразу проникнуть во внутренний мир этого совершенно не похожего на него персонажа. По-моему именно описание свадьбы Алексиса напоминало ему о его давнем наброске.

К этому времени я уже кое-что опубликовала: где-то сказку, где-то эссе, где-то поэму. Отец предложил мне напечатать рассказ под моим именем. Это предложение, если подумать, весьма необычное, было характерным для особого рода непринужденной задушевности наших отношений. Я отказалась по той простой причине, что не была автором этих страниц. Отец стал настаивать:

— Ты переделаешь их по-своему, и они станут твоими. У них

нет названия и на них несомненно еще надо нарастить плоть. В общем мне было бы приятно, если бы после стольких лет они были напечатаны. Но в моем возрасте я не стану предлагать рукопись какой-нибудь редколлегии.

Игра меня соблазнила. Мишеля нисколько не удивляло, что я пишу исповедь Алексиса18, и точно так же он не видел ничего неуместного в том, чтобы предложить мне переписать историю свадебного путешествия 1900 года. В глазах этого человека, который непрестанно повторял, что ничто человеческое не должно быть нам чуждо, возраст и пол были делом второстепенным, когда речь шла о литературном творчестве. Для него не возникало проблем, которые впоследствии озадачивали моих критиков.

Не помню, кто из нас выбрал для этого рассказа название «Первый вечер» — до сих пор не знаю, нравится оно мне или нет. Но так или иначе, это я обратила внимание Мишеля, что первая глава неоконченного романа, превратившись в новеллу, как бы зависала. Мы стали искать эпизод, который бы ее завершил. Кто-то из нас двоих придумал, что Жоржу, когда он начинает подниматься по лестнице, портье вручает телеграмму: в ней сообщается, что любовница, о которой он почти уже начал сожалеть, покончила с собой. Деталь была вполне правдоподобной, но я не заметила, что она опошляет страницы, главным достоинством которых была как раз их незавершенность. На этот раз мы перенесли брачную ночь в Монтрё, вблизи которого находились, когда занимались этой перелицовкой. Мой вклад в «наращивание плоти» новеллы выразился в том, что я превратила Жоржа в интеллектуала, всегда готового погрузиться в размышления на первую попавшуюся тему, что, вопреки моим ожиданиям, дела не улучшило. Подновленный таким образом рассказик был послан в один журнал, который, как и положено, подержав его у себя некоторое время, его отверг, потом во второй, который его одобрил, но к тому времени моего отца уже не было в живых. Год спустя рассказик появился в печати и удостоился какой-то скромной литературной премии, что позабавило бы Мишеля и в то же время порадовало бы его.

Я иногда задавалась вопросом, какие элементы пережитого вошли в этот «Первый вечер». Мне кажется, г-н де К. воспользовался привилегией настоящего писателя — сочинять, только кое в чем опираясь на собственный опыт. Ни Берта прежних лет, властная и смелая, ни Фернанда, более сложная и притом сирота, не имеют ничего общего с этой новобрачной, так любившей свою мать. К тому же второе свадебное путешествие Мишеля (а только оно нас здесь интересует) вовсе не в первый

раз объединило двух едва знакомых людей и вряд ли, чтобы жениться на Фернанде, Мишель бросил свою постоянную любовницу — наоборот, именно одиночество, какое он почувствовал зимой, проведенной в Лилле, и подвигло его на это новое приключение. Частица личной исповеди чувствуется, скорее, в интонации, окрашенной нежной и пресыщенной чувственностью, в ощущении, что такова жизнь и, может быть, ее можно было прожить лучше. *Mutatis mutandis* [внеся необходимые изменения (лат.)] мы можем представить себе г-на де К в каком-нибудь богатом отеле итальянской или французской Ривьеры, еще не слишком людной в начале ноября; он проводит долгие полчаса в курительной или на выходящей на море сыроватой террасе, где из экономии еще не зажгли больших фарфоровых шаров, которые в ту эпоху окаймляли террасы дорогих отелей. Как и его герой, он предпочтет лестницу лифту. Ступив на укрепленный медными прутьями красный ковер, ведущий к номерам, расположенным на втором этаже, который в Италии называют «благородным», он поднимается вверх ни ускоренным, ни замедленным шагом, спрашивая себя, чем все это кончится.

Это свадебное путешествие вместе с предшествующей ему долгой предсвадебной прогулкой продолжалось без малого тысячу дней. Не столько подлинные путешественники, сколько фланеры, Мишель с Фернандой неутомимо повторяют своеобразный сезонный маршрут, который приводит их к любимым местам и отелям. Маршрут пролегает через Ривьеру и Швейцарию, через итальянские озера и венецианские лагуны, через Австрию, доходя до лечебных вод Богемии, потом клонится в сторону Германии, которая продолжает оставаться родиной для ученицы Фрейлейн. Париж навещают только мимоходом, чтобы сделать покупки или посмотреть модную пьесу. Испания, представления о которой у Мишеля пока ограничиваются барселонскими андалузками, воспетыми Мюссе, их не привлекает; если они оказываются в Сан-Себастьяне, то потому лишь, что Фернанде захотелось посетить Лурд, и это обратило их взоры к Пиренеям. Венгрия и Украина, где Мишель в свое время побывал с Бертой, теперь лежат в стороне от их пути, то же касается и Англии, которая остается для Мишеля владениями другой женщины, той, которую он когда-то безумно любил; не удается ему также повезти Фернанду на острова Голландии или Дании, вокруг которых он когда-то плавал, — Фернанда не переносит морской качки. Время от времени Мишель с Фернандой мечтают о путешествии в страны арабского Востока, которое они так и не совершат, но мечты оставят след в нескольких стихотворениях Мишеля, в которых ностальгически

описываются розовые ибисы и серебристый песок.

Их цель прежде всего — получать удовольствие от жизни. Конечно, прославленные места и памятники имеют для них значение, но меньшее, нежели климат, — мягкая зима и освежающее лето, и та экзотика, которой еще изобилует Европа 1900 года. К тому же для них, как и для многих их современников, отель сохраняет свое волшебное очарование, напоминая в одно и то же время караван-сарай восточных сказок, феодальную крепость и королевский дворец. Им доставляет удовольствие профессиональная угодливость метрдотелей и укрощенная дикость цыганского оркестра. Пробродив целый день по завлекательно гнусным улочкам какого-нибудь старинного итальянского города, налюбовавшись в Ницце цветочными баталиями, а в излюбленном художниками очаровательном баварском городке Дахау праздником сбора винограда, они возвращаются в отель, как в некое привилегированное, почти экстерриториальное убежище, где за деньги можно купить роскошь и покой, где тебе оказывает внимание портье и расточает любезности управляющий. Барнабут20, прустовский Марсель, как и персонажи Томаса Манна, Арнольда Беннета и Генри Джеймса, думают и чувствуют точно так же.

Однако ни Мишель, ни Фернанда не принадлежат вполне к тому пестрому кругу, с которым они общаются в качестве иностранцев. Само собой, Мишель вовсе не прочь поцеловать руку Великой княгине, которая занимает анфиладу комнат второго этажа и которая проявила любезность по отношению к Фернанде; выйдя из отдельного кабинета в ресторане «Захер» пикантно столкнуться с эрцгерцогом, который выходит из другого кабинета навеселе и в компании двух веселых дам. Забавно издали наблюдать за курьезно богатыми янки, которые проходят через холл следом за гидом, и Сара Бернар, которая ужинает со своим импресарио, добавляет очарования Гранд Отелю. Но, впрочем, Сара Бернар интересна только на сцене, знакомства с американцами они вообще избегают, и г-н де К. любит повторять непочтительную поговорку: «С русскими князьями, что с итальянскими маркизами, водиться неприлично». Мишелю и Фернанде ни к чему даже те отношения, которые не требуют отвешивания почтительных поклонов — они все равно отнимают время.

Тем более не принадлежат молодые супруги к тем снабженным рекомендательными письмами лицам, которые рвутся увидеть коллекции князя Колонна или барона Ротшильда, — эти залы почти закрыты для широкой публики, а, стало быть, увидеть их престижно. Мишелю и Фернанде вполне достаточно

музейных коллекций: этих сокровищ хватит с лихвой, чтобы насытить их интерес. Они посещают художественные галереи в надежде обнаружить там или здесь прекрасное произведение, которое сразу же пленит или тронет их, но шедевр, помеченный двумя звездочками, если он не очаровал их с первого взгляда, вторичного визита не удостаивается. Эта легковесность, лишающая их права называться просвещенными любителями, зато избавляет их от почтения к заказным работам и от восторгов перед веяниями моды. Большую часть произведений, выставленных в Салоне, Мишель находит смешными, и он прав. Молодоженов особенно притягивает история, и катастрофы прошлого по контрасту создают у них ощущение, что они живут в эпоху незыблемой безопасности. В Праге Фернанда, которая хорошо знает историю Германии, рассказывает Мишелю о Дефенестрации 1618 года (гибель Яна Масарика21 в 1948 году еще впереди): гайдуки и рейтары, служившие протестантской партии, выкинули из окна в Градчанах двух католических губернаторов, которые с высоты семидесяти футов рухнули в ров. Проходящий с группой туристов гид, который понимает по-французски, обращает внимание мадам, что она показывает не тот фасад. Им, так сказать, следует переместить свои эмоции в пространстве. Фернанду и Мишеля разбирает безудержный смех. В тот день они поняли: когда речь идет о великих исторических воспоминаниях, как, впрочем и во всех других случаях, спасает вера.

Я знаю, что привязывает меня к этим двум людям, как бы затерявшимся в Утраченном времени. В мире, где все расталкивают друг друга, они об этом не помышляют. Их культура, хотя я и вижу ее изъяны, изолирует их: Мишель очень быстро заметил, что Великая княгиня ничего не читала. Этот человек, инстинктивно завязывающий отношения с каждым встречным животным, презирает охоту и слишком любит лошадей, чтобы любить скачки. В Большом призе, как, впрочем, и во всем остальном, он угадывает махинации и фарс. Кухня и вина модных ресторанов не интересуют Фернанду, которая охотно довольствуется за обедом апельсином и стаканом воды. Г-н де К., едок гомерических возможностей, ценит только самые простые блюда: для него нет большего наслаждения, чем заказать у Ларю несколько яиц всмятку или кусок сочного отварного мяса. Кабаре для бродяг и погребки с лестницами, где не хватает ступенек и где, завидев тебя, хором кричат: «Вот пожаловали свиньи!», забавляют его не дольше получаса. Ему нравится едкий талант Брюана22 и патетическое арго Риктюса23, но он чувствует всю искусственность этих низов на потребу светским людям. Один

только порок объединяет его с обществом прожигателей жизни — страсть в игре. Но в настоящий момент Фернанда изгнала злого духа, Мишель возобновит игру только после ее смерти.

Время от времени глухие раскаты возвещают грозу — она, однако, не разражается или проходит стороной так далеко, что никто не чувствует опасности. После 1899 года война с бурами раскаляет до бела англофобию французов, и когда Мишеля спрашивают, за кого он — за Крюгера24 или за Англию, он отвечает — за кафров. В 1900 году муж с женой, как и все, с жадностью поглощают газетные сообщения о жестокостях Боксеров, но Мишелю в особенности запоминаются польские дамы, которые, подхватив длинные юбки, со всех ног бежали к Летнему дворцу, чтобы оказаться среди первых участников разграбления. Убийство в Италии Умберто I25 воспринимается просто как жуткое происшествие газетной хроники. На Балканах и в Македонии то там, то здесь вспыхивает пламя восстания — буря в стакане воды. Иногда напоминание о деле Дрейфуса, намек на конфликт между церковью и государством снова привлекают внимание Мишеля к этим событиям. Из любви к правосудию он на стороне Дрейфуса, из любви к свободе он теперь на стороне преследуемых конгрегации. Однако в первом случае он не пытается оценивать толщу лжи и оскорблений, которые за минувшие годы накопила Франция, а во втором — солидаризироваться с церковью, ошибки и промахи которой он осуждает. Его общественное негодование длится недолго, как и вспышки гнева по личным поводам. Европа, по которой он странствует в обществе дамы в боа и вуалетке, все еще остается прекрасным парком, где привилегированные счастливчики прогуливаются в свое удовольствие и где удостоверение личности служит главным образом для того, чтобы получать письма до востребования. Мишель говорит себе, что однажды разразится война, и тогда все рухнет, но потом люстры зажгутся вновь. Что до Великого Сумрака, если он настанет, буржуазия, конечно, это заслужила, но передряга случится, без сомнения, уже после его смерти. Англия надежна, как надежен Английский банк. Франция так или иначе пребудет вечно. Германская империя, почти новехонькая, похожа на раскрашенную кричащими красками металлическую игрушку, и невозможно представить, что она скоро развалится. Австрийская империя могущественна самой своей обветшалостью — Мишель знает, что симпатичного старика-императора («Бедняжка! Сколько он выстрадал!») когда-то прозвали Королем повешенных, но в этих далеких историях Венгрии и Ломбардии как отделить справедливость от несправедливости? Русская империя, которую они когда-то

мимоходом повидали с Бертой, кажется королевством Великого Могола или Великого Микадо, каким-то почти Полярным Востоком. Огромная христианская страна, застывшая в обрядах более древних, чем западные, море мужиков, целый континент почти целинных земель, мумии святых в криптах Киевского собора, а на самом верху золотые кресты церквей, сверкание митр и переливы эмалей Фаберже. Что может против этого Божий человек, подобный старцу Льву Толстому, или горстка анархистов? Мишель очень удивился бы, если бы ему сказали, что этим трем великим имперским структурам суждена более краткая жизнь, чем дорогим костюмам, которые он себе заказывает, похваляясь, что носит их по двадцать лет.

За эти три года Мишель сделал сотни фотографий. Некоторые, почти стереоскопические, образуют длинные, свернутые наподобие папируса ленты, концы которых загибаются, когда я пытаюсь их разгладить. Народные сценки: крестьяне, погоняющие осла, крестьянки, несущие на голове глиняные кувшины с водой, хороводы девочек на маленьких итальянских площадях или баварские фарандолы. Памятники, которые он видел в такой-то день, в такой-то час, полагая, что схваченный фотоаппаратом их образ когда-нибудь напомнит ему маленькие радости минувших дней. Мишель ошибался — насколько мне известно, он ни разу не удосужился взглянуть на эти быстро выцветшие клише. Цвет сепии накладывает на них отпечаток какой-то тревожной меланхолии: можно подумать, что они сняты в инфракрасных лучах, в которых, как говорят, лучше видны призраки. Венеция выглядит на этих снимках так, словно уже тогда страдала недугом, от которого гибнет в наши дни, — ее дворцы и церкви кажутся хрупкими и как бы пораженными червоточиной. Каналы, забитые не так плотно, как ныне, окутаны нездоровым сумраком, в котором Баррес26 в ту пору находил сходство с пагубным свечением опала. Над озером Комо лежит отсвет бури. Дворцы Дрездена и Вюрцбурга, снятые фотографом-любителем немного сбоку, кажутся уже изувеченными будущими бомбардировками. Объектив этого непредубежденного прохожего задним числом, точно рентген, вскрывает болезненные изменения в мире, который не чувствует, как велика угрожающая ему опасность.

Эти роскошные декорации иногда оживляет присутствие живого существа. Вот Трир, совсем молодой, блестящий и гладкий, его купили в городе, именем которого он назван, и он на своих кривых ногах просеменил мимо римских развалин родного города. Длинным поводком он привязан к одному из бронзовых флагштоков, водруженных у собора Святого Марка, и ревниво

охраняет пальто своего хозяина, его трость и футляр от бинокля — настоящий натюрморт из принадлежностей путешественника 1900 года. А вот, конечно, и Фернанда. Фернанда в Мариенбаде, склонившаяся к источнику; в одной руке она держит букет и солнечный зонтик, в другой — стакан воды, которую пьет с прелестной гримаской. Фернанда, тоненькая и стройная в своем дорожном костюме, в юбке чуть короче обычного, из-под которой виднеются высокие боты, в снегу на какой-то альпийской станции. Фернанда в городской одежде с неизменным зонтиком в руках, идет мелкими шажками на фоне гористого пейзажа, а ее пасынок, взгромоздившийся на вершину какого-то доломитового уступа, чем-то напоминает молодого тролля. Фернанда в белой блузке, светлой юбке и в одной из тех огромных шляп с лентами, которые она любила, прогуливается с книгой в руке в каком-то тенистом германском лесу и, очевидно, читает вслух стихи. Одна из этих фотографий свидетельствует о том, что Мишель хотя бы в эти годы был счастлив, пусть даже воспоминания со временем выцвели, как сами фотографии. Моментальный снимок сделан в номере какого-то корсиканского трактира. Жалкие обои в цветочек, туалетный столик, видно, что колченогий; сидящая перед зеркалом молодая женщина втыкает последнюю булавку в свой замысловатый шиньон. Широкие рукава ее белого пеньюара соскользнули с поднятых рук до самых плеч. Ее лицо — лишь отражение, не столько видимое, сколько угадываемое. Рядом с ней на круглом столике дорожные принадлежности — спиртовка и грелка. Думаю, Мишель не дал бы себе труда запечатлеть эту сцену, если бы она не воплощала для него нежную интимность утра. Наверняка за эти три года такое утро было не одно.

И, однако, на беспечной жизни Мишеля и Фернанды уже появляются потертости, словно на кое-где поредевшей шелковой ткани. Похоже, что в Фернанде, как в ту пору во многих женщинах, жила Гедда Габлер, вся напрягшаяся и уязвленная. На горизонте иногда возникает тень меломана-барона. В дни острых кризисов Мишель надолго уходит гулять и возвращается, успокоившись: он не из тех, кто любит длить ссоры. Я уже говорила в другом месте о том, как его раздражало, что Фернанда теряет кольца и слишком быстро приводит в негодность свои туалеты. Фернанда радуется своей близорукости. («*Издали все кажется более красивым, когда не видишь деталей*»), тем не менее в театре, да и в других местах она вынуждена пользоваться лорнетом, этим наглым инструментом, который преображает физический изъян в высокомерное самоутверждение; у Фернанды целая коллекция лорнетов в золотой, серебряной и — признаюсь со стыдом — в черепаховой оправе и в оправе из слоновой кости.

От сухого щелчка их пружин Мишель вздрагивает так же раздраженно, как при хлопке бесцеремонного веера.

Изнеженность Фернанды лишает Мишеля возможности совершать далекие прогулки. Уроки верховой езды не излечили Фернанду от боязни лошадей. Что касается маленькой яхты, сменившей «Пери» и «Бенши», которые были у Мишеля с Бертой, Фернанда дала ей имя другой мифологической женщины — «Валькирия» (впрочем, не исключено, что этим именем ее нарекла прежняя владелица яхты графиня Тасанкур, также поклонница Вагнера, и тогда, быть может, имя и стало одной из причин, по какой эту яхту купили). Но в самой Фернанде нет ничего от Брунгильды. На Корсику они с Мишелем вернулись в надежной почтовой карете. А «Валькирия» со своим капитаном и двумя матросами не спеша следовала за ними вдоль итальянского побережья, причем трое лихих парней заходили в каждый порт, где у них были родные, знакомые или девицы в их вкусе. В ответ на их отчаянные телеграммы «*Tempo cattivissimo. Navigare impossibile*» [погода ужасная, плыть невозможно (итал.)] Мишель только посмеивался, но Фернанда выражала недовольство лишними расходами. По временам в Генуе, в Ливорно им случается повстречать свой маленький кораблик, и тогда Мишель не может отказать себе в удовольствии провести ночь в покачиваемой волнами каюте. Но его мучают укоры совести. Не в его характере оставлять женщину одну в комнате отеля с томиком Лоти в качестве единственного утешения. Рано утром он является к жене, купив ей перед тем цветы на какой-нибудь площади Риссорджименто.

В Байрейте трещина углубляется. Фернанда здесь упивается немецкой мифологией и поэзией. Г-н де К. принимает Вагнера до «Лоэнгрина» и «Тангейзера» включительно — иногда он напевает «Романс звезде». Но вся Музыка будущего, написанная после этого, для Мишеля не более чем продолжительный шум. Приземистые Тристаны и толстухи Изольды, выходящий на авансцену бородач Вотан и дочери Рейна, похожие на расплывшихся деревенских баб, вызывают у него такой же поток колкостей, как снедь, выставленная в буфете, или та, что в антракте извлекают из кармана зрители, как каски и мундиры, не менее театральные, чем варварское снаряжение на сцене, как напыщенные берлинские или подчеркнуто томные венские дамы. Он без симпатии оглядывает светскую публику, явившуюся из Франции аплодировать Новой музыке; тут и г-жа Вердюрен28 со своей клакой (*«Мы составим клан! Мы составим клан»*), пронзительные голоса парижанок врываются в немецкое ворчанье. Предоставив Фернанде в одиночестве наслаждаться

третьим актом «Мейстерзингеров», Мишель возвращается в отель и выводит Трира на вечернюю прогулку. Зажженные газовые рожки смотрят на эту дружескую и в исконном смысле слова циничную пару, на двух по-настоящему привязанных друг к другу живых существ (причем у каждого свое более или менее ограниченное поле деятельности, свои наследственные вкусы и личный опыт, свои причуды, своя потребность иногда поворчать, а иногда и укусить) — на человека и его собаку.

Читая письма от сестер, Фернанда могла лучше оценить прелести своей собственной жизни. Письма Жанны сводились к метеорологическим сводкам, иногда в них упоминалось о свадьбе, болезни или кончине кого-то из знакомых. О своей жизни она не сообщала никаких подробностей, считая, что они никому не интересны. Мишель неоднократно предлагал свояченице совершить с ним и Фернандой поездку в Лурд — ему казалось, что шок от погружения в водоем и сама наэлектризованная атмосфера паломничества могут облегчить ее необычную болезнь. Впрочем, он не отрицал и возможности божественного вмешательства — он вообще ничего не отрицал. Но Жанна каждый раз холодно отвечала, что чудеса не для нее.

Письма Зоэ были окрашены кротким благочестием. Она умиленно рассказывала о трогательной речи, которую Монсеньер епископ произнес по поводу конфирмации ее старшего сына Фернана, о той почти небесной атмосфере, какую создавали букеты, свечи, пение девочек, готовящихся к конфирмации, и, наконец, о великолепной трапезе, которую приготовили монахини соседнего монастыря. Зоэ не добавляла, что ведь не могла же она пригласить епископа отобедать в замке нечестивца и уж тем более в ресторане племянниц Сесили. Что бы сказала Зоэ, знай она, что через два года умрет, а ее Фернан в пятнадцать лет скончается от злокачественной лихорадки? Думаю, она безропотно приняла бы волю Божию. Незадолго до кончины она завещала мужу свою часть имущества, стремясь, несмотря ни на что, дать ему доказательство своего доверия. В прощальных словах, вдохновленных, быть может, словами Матильды, а может быть, просто желанием отвести всем глаза, эта святая, до конца пропитанная наставлениями матери, Фрейлейн, Английских дам и советами приходского кюре, смиренно просила прощения у Юбера и троих своих детей за горести, какие могла им причинить, и просила их сохранить верность семейным традициям. Юбер продемонстрировал эту верность, в конце концов женившись на Сесили.

В январе 1902 года Мишель и Фернанда присутствовали на похоронах другой святой — сестры Мишеля, Мари, случайно

убитой во время прогулки в парке егерем, чья пуля рикошетом прострелила ей сердце. О жизни и смерти Мари мне еще придется говорить. Скажу пока, что более сильная духом и телом, чем Зоэ, менее уязвленная в своем женском достоинстве, она пришла к Богу интуитивно через порыв всего своего существа, и в этом ее поддержали строгие нравственные правила суровой в своем христианстве старой Франции. Во время этих похорон Мишель бесспорно страдал гораздо больше, чем во время службы по поводу некой печальной годовщины за три года до этого. Мари, моложе брата на пятнадцать лет, несомненно была единственным, кроме отца, существом, которое он почитал и при этом нежно любил. Но северная зима непереносима для Мишеля и Фернанды — небесные и морские миражи приводят их вскоре в Ментону или в Бордигеру.

Как Мишель и предполагал заранее, жизнь, которую он организовал себе со своей второй женой, требовала больших расходов. Верная себе г-жа Ноэми отказывала в каких бы то ни было дополнительных щедротах, а поступить, как во времена Берты, и обратиться к ростовщикам, Мишель не отваживался. Проблема была решена классическим способом — лето положили провести в деревне. Вдова, замуровавшаяся в своих апартаментах и вечно занятая плетением и расплетением интриг, касающихся обслуги, им не мешала. Мишель не преминул отправиться в Ф., чтобы представить Фернанду братьям и сестрам Берты, с которыми его связывала двадцатилетняя дружба. На одной из фотографий он в цилиндре, верхом, бок о бок с братьями де Л., на которых котелки; всадники на мгновение остановились у входа в сельский ресторанчик на обратном пути с ралли или с какого-нибудь местного состязания — а я думаю не столько даже о всадниках, сколько о послушных красавицах-лошадях, имена которых мне неизвестны. В эту же эпоху Фернанда снята на фоне конюшен Мон-Нуара: одетая в амазонку, она изо всех сил пытается усидеть на статной кобыле, которую конюх Ашиль придерживает за длинный недоуздок, смеясь, чтобы придать уверенности мадам.

Но вскоре эти экскурсии и эти упражнения заканчиваются. Фернанда устает даже от пеших прогулок по парку среди его лужаек и зарослей пихт. Как путешественницы на палубе трансатлантического парохода, вытягивается она в шезлонге на краю террасы, с которой, как уверяют, за бледно-зелеными всхолмлениями равнины можно увидеть серую полоску моря. По небу плывут величавые облака, похожие на те, что писали в этих краях художники-баталисты XVII века. Фернанда кутается в плед, небрежно открывает книгу, ласково треплет Трира, свернувшегося

у ее ног. На экране времени начинает проступать мое лицо.

Комментарии

Роды

1 Тёппфер Родольф (1798-1846) — франкоязычный швейцарский писатель. Преподавая в различных учебных заведениях, совершал со своими учениками ежегодные пешие прогулки в швейцарских горах, которые описал в книге «Путе¬шествие зигзагом», им самим иллюстрированной.

2 «Путешествие на осле в Севеннах» — одно из первых произведений английского писателя Р. Л. Стивенсона (1850-1894), привлекших к нему внимание публики.

3 Баррер Камилл — французский дипломат, с 1897 по 1924 г. был послом Франции в Италии, старался сблизить эти страны.

4 Комб Эмиль — премьер-министр Франции в 1902-1905 гг. Провел антиклерикальные законы.

5 Прекрасной эпохой во Франции называли первое десятилетие XX века.

6 По-французски la vache (корова) значит еще и «дрянь», «подлец»; на арго этим словом называют полицейских.

7 Буланже Жорж (1837-1891) — французский генерал, военный министр. В конце 80-х гг. возглавил движение под лозунгами реваншистской войны против Германии, пересмотра республиканской конституции и роспуска парламента. Обвиненный в заговоре против государства, бежал за границу.

8 Мелизанда — героиня драмы бельгийского писателя Мориса Метерлинка (1862-1949) «Пелеас и Мелизанда».

9 Ханс Бокхольд (Иоанн Лейденский) (1509-1536) после Яна Матиса возглавил Мюнстерскую коммуну анабаптистов (1534-1535). Установил анабаптистскую конституцию, уравнительное распределение предметов потребления, полигамию. Себя объявил королем. После взятия Мюнстера погиб от жестоких пыток.

10 Бен Бела Ахмед (р. 1919 или 1916 г.) — алжирский политический деятель, один из руководителей борьбы за независимость. В 1956 г. во время перелета на самолете был похищен французами. В 1963 г. стал президентом Республики Алжир.

11 Дьен-Бьен-Фу — в этом городе Северного Вьетнама после долгих сражений в марте—мае 1954 года французские войска потерпели поражение от Вьетнамской народной армии.

12Хуан Австрийский (1547-1578) — брат Филиппа II, побочный сын Карла V, был наместником Нидерландов, умер отравленный в Намюре.

13 Als ik kan — Как умею (флам.). Братья Ван Эйк — фламандские художники, знаменитый Ян (1390-1441) и менее известный Губерт (1370-1426).

14 Символическая фигура Сеятельницы изображалась на некоторых французских монетах и марках. Была эмблемой Третьей республики (1870 - 1940).

15 Садху — брахманы-аскеты в религии индуизма.

От замка к замку

1 Название буквы «с» произносится по-французски как «сэ», название буквы «q» («кю»), — омоним слова «задница».

2 Эшевен — член выборного органа городского самоуправления.

3 Ойль — язык северных районов Франции.

4 Комин Филипп де (1447-1511) — французский историк. Участвовал в кара¬тельных экспедициях против Льежа с графом Шароле, будущим Карлом Смелым. В 1466 был свидетелем разрушения Динанта.

5 Теруань де Мерикур, Анна-Жозефа (1762-1817) — родившаяся в Льеже уча¬стница Великой французской революции, прозванная «Амазонкой свободы».

6 Гиберти, Лоренцо (1378-1455) — флорентийский скульптор, ювелир и архи¬тектор.

7 Quis est Deus? Mens universi. — Что есть Бог? Всемирный разум (лат.).

8 Альберт Великий (1193-1280) — монах доминиканского ордена, философ и ученый, преподавал богословие, сделал много открытий в области химии. Канонизирован в 1931 г.

9 Абеляр Пьер (1079-1142) — французский философ, богослов и поэт, разрабатывал схоластическую диалектику. История трагической любви Абеляра к племяннице каноника Фюльбера, Элоизе, в результате которой Абеляр был оскоплен, описана в автобиографической «Истории моих бедствий».

10 Французская деревня Орадур-сюр-Глан была сожжена немецкими фашистами 10 июня 1944 года, после того как они зверски убили 642 ее жителей.

11 Нимвегенские договоры (1678-79) завершили так называемую Голландскую войну между Францией, союзниками которой были Англия и Швеция, и Голландской Республикой и ее союзниками. По Нимвегенским договорам Франция закрепила за собой ряд территорий и утвердила свою гегемонию в Европу.

12 Словом «гриньу», означающем на языке валлонцев «ворчун, недовольный», в Льеже XVII века называли представителей демократической буржуазии во главе с муниципалитетом в их борьбе против князя-епископа. Они же

называли дворян и других сторонников двора «ширу» («ширу» — вид ласточек) из-за их одежды, подражавшей французской моде.

13 Картуш Луи-Доминик (1693-1721) — знаменитый французский разбойник, казненный на Гревской площади, герой многих литературных произведений.

14 Святой Губерт (ум. 727) — епископ Тонгрский, Маастрихтский и Льежский, обратил в христианство Восточную Бельгию. В XV веке стал героем легенды о видении оленя, позднее стал считаться покровителем охотников.

15 Иосиф II, граф Фалькенштейн (1741-1790) — австрийский эрцгерцог, сын императрицы Марии-Терезии и брат французской королевы Марии-Антуанетты, с 1765 г. император Священной Римской империи. Проводил политику просвещенного абсолютизма.

16 «chi molto compra e poco paga» — «который много покупает и мало платит» (итал.).

17 Густав III (1746-1792) — шведский король, просвещенный монарх. Страстный любитель театра, основатель Шведской академии. Убит офицером Анкарстрёмом.

18 Дасье, Анна Лефебр (1647-1720) — известная французская переводчица античных классиков.

19 Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) — немецкий философ-идеалист математик, физик, языковед.

20 Мальбранш, Никола де (1638-1715) — французский философ, сочетал философию Декарта с некоторыми идеями, заимствованными у Блаженного Августина.

21 Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657-1757) — французский философ и поэт, популяризатор современной ему науки, предтеча философов XVIII века.

22 Руссо, Жан-Батист (1671-1741) — французский поэт, чтимый своими современниками как продолжатель традиций Буало и Малерба.

23 Бальи — до Великой французской революции чиновник, глава судебно-административного округа, вершивший суд от имени короля или сеньора.

24 Карл V (1500-1558) — император Священной Римской империи и испанский король (Карлос I).

25 Лотарь I (795-855) — франкский король и римский император, сын Людовика Благочестивого.

26 Картулярии — сборник копий грамот, которыми в Средние века в Западной Европе юридически оформлялись земельные дарения, преимущественно в пользу церквей.

27 Курколь, в старинной транскрипции Courcol — скорее всего, означает «С короткой шеей».

28 Битва при Креси (26 мая 1346 г.) — первая крупная битва в Столетней войне между французами и англичанами, в которой французы были разгромлены. В битве при Пуатье (19 сентября 1356 г.) во время Столетней войны англичане также одержали победу над французами.

29 Семья Ситуэлл, поэтесса Эдит и два ее брата, Осберт и Сашеверелл (р. 1897 г.) — известная английская литературная семья.

30 Принц де Линь Шарль-Жозеф (1735-1814) — дипломат и франкоязычный писатель, представитель блестящей космополитической культуры XVIII века, жил во многих странах Европы, в том числе в России.

31 Флориан Жан-Пьер Клари де (1755-1794) — французский писатель, автор пьес и рыцарских и пасторальных романов.

32 Норпуа — персонаж романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», дипломат.

33 Цзу-хси (Цы си) (1835-1908) — китайская императрица, для укрепления своей власти поддерживала тайные общества, в том числе так называемых «боксеров», поднявших в 1900 году Ихэтуаньское восстание против иностранных государств.

34 Royal Air Force — Военно-воздушные силы Великобритании.

35 Бенши (баньши) — в шотландском и ирландском фольклоре привидение-плакальщица; дух, вопли которого предвещают смерть.

36 Спор об обрядах — длительная распря между католическими миссионерами в Китае по вопросу о том, можно ли разрешать новообращенным в христианство китайцам чтить традиционные обряды (напр. связанные с культом предков). Иезуиты считали возможным допустить такие обряды, францисканцы и доминиканцы были против. Особенно острый характер борьба приняла в XVII веке.

37 Карл II (1661-1700) — король Испании. Назначил своим наследником внука Людовика XIV Филиппа Анжуйского, что стало поводом к войне за Испанское наследство.

38 Сутры — в древнеиндийской литературе лаконичное высказывание, позднее своды таких высказываний, в которых излагались сведения из самых различных областей знания, философии, морали, наставления, касающиеся повседневной жизни.

39 Вильгельм I (1772-1843) — король Нидерландов, великий герцог Люксембургский, правивший также Бельгией, признал ее независимость только в 1839 году.

40 Пий IX (1792-1878) — папа с 1846 по 1878. 20 лет вел

борьбу с Пьемонтом, 20 сентября 1870 г. Рим был взят, а папские владения присоединены к Италии. С этого времени папа считал себя в Ватикане пленником.

41 Proles — потомки, отпрыски (лат.).

42 Жандебьен Александр (1789-1869) — бельгийский политический деятель. Во главе либеральной франкофильской партии принял участие в Революции 1830 года. Министр юстиции, он в 1839 году вышел в отставку, несогласный с тем, чтобы Бельгия потеряла свои территории в Лимбурге и Люксембурге.

43 Бансель (1823-1870) — депутат французского Законодательного собрания, боролся с роялистской реакцией и с политикой Луи Бонапарта. Переворот 2 дека-бря 1851 г. изгнал его в Брюссель, где он с блеском преподавал в Свободном уни¬верситете.

44 Сольферино — местность в Ломбардии, где 24 июня 1859 года франко-пьемонтские войска под командованием Наполеона III одержали победу над австрийцами. В этой битве погибли 17 тыс. французов и 22 тыс. австрийцев. Битва подтолкнула швейцарцев заняться вопросом о раненых и послужила толчком к созданию Красного Креста.

45 Максимилиан I Габсбург (1832-1867) — австрийский эрцгерцог, при поддержке французов объявлен императором Мексики, после эвакуации французских войск из Мексики казнен повстанцами. Его жена, дочь короля Бельгии Леопольда I Шарлотта, потрясенная казнью мужа, сошла с ума.

46 В результате войны 1864 года принадлежавшие Дании территории Шлезвиг-Голштинии отошли: Шлезвиг — к Пруссии, Голштиния — к Австрии. После австро-прусской войны 1866 года обе территории стали прусскими.

47 Садова — деревня в Восточной Богемии, где во время австро-прусской войны 3 июля 1866 года прусская армия разгромила австрийскую.

48 Benedicite — благослови (лат.), первое слово молитвы, которую католики произносят перед едой.

Два путника по дороге в страну вечности

1 Лашо Шарль-Александр (1818-1882) — известный французский адвокат. Сборник его защитительных речей издан в 1885 году отдельной книгой.

2 Consilium abeundi — консилиум у смертного одра (лат.).

3 Уилберфорс Уильям (1759-1833) — британский политик и филантроп, страстный поборник отмены рабства.

4 В битве при Аспромонте (1862) гарибальдийцы были разбиты армией Виктора-Эммануила II, а при Ментане (1867) они

потерпели поражение от войск французов и папы.

5 «Георгики» — дидактическая поэма о крестьянском труде Вергилия (70—19 до н. э).

6 Универсалии — общие понятия. Спор об универсалиях в X-XIV веках — одна из центральных философских дискуссий Средневековья.

7 Паива Тереза Лахман, маркиза де (1819-1884) — авантюристка русского происхождения. Обосновалась в Париже, участвовала в скандальной хронике Второй империи. Хозяйка известного салона. В 1879 г. изгнана республиканским правительством.

8 Ортанс Шнайдер (1838-1920) — известная французская актриса и певица варьете и комической оперы. Оффенбах предпочитал ее всем другим исполнительницам ролей в «Парижской жизни» и «Герцогине Герольштейнской».

9 Тереза (Эмма Валадон) (1837-1913) — певица французского варьете.

10 Флуранс Гюстав (1838-1871) — французский ученый и революционер. Начинал с блеском на поприще науки (физиологии и медицины), был лишен кафедры за антиклерикальные взгляды. Участвовал в восстании жителей Крита против турок. Убит во время Коммуны, членом которой был, хотя, по-видимому, не разделял всех ее взглядов.

11 «En morior!» — здесь: «Ну же, смерть!» (лат.).

12 Монпансье Анна-Мари-Луиза Орлеанская, герцогиня де (1627-1693) — двоюродная сестра Людовика XIV, прозванная Великая Мадемуазель, прославилась своим активным участием во Фронде. Оставила «Мемуары».

13 Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804-1869) — французский писатель, журналист и литературный критик.

14 Святой Франциск Ассизский (1182-1226) — основатель ордена нищенствующих монахов, францисканцев, проповедовал милосердие, самоуничижение, послушание. Канонизирован в 1228 году. «Зеркало совершенства» — житие св. Франциска, написанное в 1227 г., вероятно, его спутником, исповедником и лекарем Леоном Ассизским.

15 Pulvis et Umbra — Пыль и Тень (лат).

16 «Жизнь Ранее» — произведение Франсуа-Рене де Шатобриана (1768-1848), написанное в 1844 г. и посвященное жизнеописанию Ле Бутийе де Ранее, религиозного деятеля, который в 1663 году создал реформированный орден бенедиктинцев-траппистов.

17 Мишле Жюль (1798-1874) — французский историк и писатель, автор многотомной «Истории Франции».

18 «В поисках утраченного времени» — многотомный роман Марселя Пруста (1871-1922), «Подземелья Ватикана» — роман Андре Жида (1869 -1951), «Дуинские элегии» принадлежат перу Райнера Марии Рильке (1875-1926), «Волшебная гора» — роман Томаса Манна (1875-1955).

19 Бхагавадгита — памятник религиозно-философской мысли древней Индии, возник в середине 1-го тысячелетия до н. э., философская основа индуизма.

20 Марк Аврелий Антонин (121-180) — римский император и философ, его «Мысли», написанные в конце жизни, проникнуты стоицизмом.

21 Блаженный Августин (354-430) — самый известный из отцов латинской церкви, богослов и церковный деятель. Его автобиографическая «Исповедь» отличающаяся глубиной психологического анализа, содержит нравственные поучения и рассуждения о благодати.

22 «Подражание Иисусу Христу» — анонимное произведение XV века на латыни, приписываемое германо-нидерландскому мистику Фоме Кемпийскому. На французский было переведено стихами Корнелем.

23 Джакопонс да Тоди (1230-1306) — итальянский поэт. Оставил «Духовные песнопения», отличающиеся причудливым мистицизмом. Ему приписывают также написанный на простонародной латыни текст «Stabat mater», положенный на музыку многими композиторами (Палестриной, Перголезе, Россини и др.).

24 «Приключения Телемаха» — дидактическое произведение французского писателя Фенелона (Франсуа де Салиньяк де Ла Мот Фенелон 1651-1715).

25 Рене — герой одноименного романа Шатобриана.

26 Гаспарен Валери Буасье графиня де (1813-1893) — швейцарская писательница, произведения которой проникнуты религиозными идеями.

27 Свечина (Анна-София Соймонова, р. в Москве в 1782—ум. в Париже в 1857) — русская писательница. Выданная замуж против воли за генерала Свечина, который был много старше ее, обратилась к вере, приняла католичество.

28 Герен Эжени де (1805-1840) — религиозная писательница, опубликовавшая свой «Дневник» и переписку с братом, рано умершим поэтом Морисом де Гереном (1810-1839), в творчестве которого звучали как пантеистические, так и христианские мотивы. Эжени, сама пылкая христианка, в течение всей короткой жизни брата руководила его поступками и творчеством.

29 Монталамбер Шарль Форб, граф де (1810-1870) —

французский политический деятель и публицист, возглавлявший либеральных католиков и ратовавший за свободу религии. Был женат на Анне де Мерод, дочери известного государственного деятеля Бельгии. Семья Мерод, которая вела свое происхождение от королей Арагонских, дала Испании, Франции и Бельгии много знаменитых политиков.

30 Дюпанлу Феликс (1802-1878) — французский священник и педагог, член Французской академии, из которой он вышел, когда в нее избрали автора знаменитого многотомного «Словаря французского языка» Литтре.

31 Г-жа Дамбрёз — персонаж романа Г. Флобера «Воспитание чувств», маркиза де Вильпаризи — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

32 Сенанкур Этьен Пивер де (1770 - 1846) — французский писатель, автор автобиографического романа «Оберман» (1804), в котором, предвосхищая романтиков, затрагивает тему «чужого» в обществе.

33 «Сестра Беатриса» — драма Мориса Метерлинка (1900).

34 Офизм, связанный своим происхождением с именем легендарного певца Орфея, — древнегреческое религиозное движение, появившееся в VI веке. Благодаря тому значению, которое орфизм придавал будущей жизни, и его монотеистическим тенденциям, это движение подготовило переход от язычества к христианству.

35 Катары — приверженцы ереси, распространившейся в XI—XIII веках в Италии, Фландрии и в особенности на юге Франции, преимущественно среди ремесленников и части крестьян. Считая материальный мир порождением дьявола, катары призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство.

36 Лафатер Иоганн Каспар (1741-1801) — швейцарский писатель, автор популярного в конце XIX-нач. XX века трактата по физиогномике — учения о выражении в чертах лица и формах тела внутренней сущности человека. В широком смысле слова физиогномика — искусство толкования внешнего облика наблюдаемых явлений.

37 Манихейство — религиозное учение, основанное в III веке Мани, который по преданию проповедовал в Персии, Средней Азии, Индии. В основе манихейства — дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы, как изначальных и равноправных принципов бытия.

38 Г-н Оме и кюре Бурнезьен — персонажи романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», стоящие на разных точках зрения, (антиклерикальной и религиозной), но в равной мере ограниченные.

39 Колотронис Теодорос (1770-1843) — греческий политический деятель, возглавивший борьбу за независимость своей страны (1821-1831).

40 Легранден де Мезеглиз — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

41 Dansa, canta, poverello! — танцуй, пляши, бедняга! (итал.).

42 Vergissmcinnicht — незабудка (нем.).

43 Ропс Фелисьсн (1833-1899) — бельгийский живописец, рисовальщик и гравер.

44 Фоблас — герой романа французского писателя Жана-Батиста Лувэ де Куврэ (1760-1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа».

45 Fratello mio — братец (итал.).

46 Бекфорд Уильям (1760-1844) — английский коллекционер и писатель, автор сатирических биографий английских и голландских художников и знаменитой восточной повести «Ватек», был известен своими причудами.

47 Людвиг II (1845-1886) — король Баварский. Меценат, покровитель Вагнера, он отличался странностями характера, которые переросли в душевную болезнь. Утонул при загадочных обстоятельствах.

48 Nox-Lux-Pax-Amor — Ночь-Свет-Мир-Любовь (лат.).

49 Де Костер Шарль (1827- 1879) — бельгийский франкоязычный писатель, автор прославленного романа «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и в других краях» (1867).

50 Роденбах Жорж (1855-1898) — бельгийский франкоязычный поэт и писатель, основал вместе с Верхарном журнал «Молодая Бельгия», автор романа «Мертвый Брюгге».

51 Дестре Жюль (1863-1936) — бельгийский писатель и политический деятель, основатель Бельгийской академии французского языка и литературы.

52 Лемоньс Камилл (1844-1913) — бельгийский франкоязычный писатель и художественный критик.

53 В 1873 году французский поэт Поль Верлен (1844-1896) стрелял в своего друга, поэта Артюра Рембо (1854-1891), автора «Пьяного корабля».

54 Элизабет Виттельсбах (1837-1898) — императрица Австрийская, жена императора Франца-Иосифа I и мать кронпринца Рудольфа Габсбурга. Рудольф покончил с собой вместе со своей любовницей баронессой Марией Вечерой в охотничьем павильоне в Майерлинге, в сорока километрах от Вены. Элизабет погибла от руки итальянского анархиста.

55 Найтингейл Флоренс (1820-1910) — английская

медсестра. Организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853-56 гг. Создала систему подготовки младшего и среднего медперсонала в Великобритании.

56 Бувар и Пекюше — герои одноименного неоконченного сатирического романа Г. Флобера.

57 Теннисон Альфред (1809-1892) — английский поэт.

58 Дядями и тетками «на бретонский манер» во Франции называют двоюродных дядей и теток; выражение это означает также «седьмая вода на киселе».

59 Il gran nemico — великий враг (итал.).

60 «Путь из Парижа в Иерусалим» — путевые заметки Шатобриана, вышедшие в 1811 году. «Молитва на Акрополе» принадлежит перу Эрнеста Ренана (1823-1892).

61 Sine qua non — здесь: непременная принадлежность (лат).

62 Aqua permanens — вечная вода (лат).

Ферранда

1 Одиннадцать тысяч дев — место мученичества Святой Урсулы и Одиннадцати тысяч дев, ее спутниц, которые обратились в христианство. Сначала погибли в Кельне, осажденном гуннами, Одиннадцать тысяч дев, а потом и сама Урсула, отказавшаяся выйти замуж за предводителя гуннов. Легенда восходит к IX веку, а относится к III веку.

2 Магнус VII (1316-1374) — король Швеции и Норвегии, последний представитель династии Фолькенгар. Его родственница, благочестивая Бригита (1302-1374, канонизирована в 1391), которая вела аскетическую жизнь подвижницы, осуждала беспутства короля.

3 Помпиньян Жан-Жак Лефранк де (1709-1784) — французский поэт и философ, автор «Од» и «Священных поэм»; Вольтер смеялся над ним, говоря, что его поэмы и впрямь священны, потому что никто до них не дотрагивается.

4 Делиль Жак, аббат (1738-1813) — французский поэт, умелый версификатор, пользовался успехом у современников, в частности, как переводчик Вергилия.

5 «Разбитый кувшин» — находящаяся в Лувре картина Жана-Батиста Грёза (1725-1805).

6 Бодега — винный погребок.

7 Нора — героиня одноименной пьесы норвежского драматурга Г. Ибсена (1828-1906).

8 «Таис» — роман Л. Франса (1844-1924), «Госпожа Хризантема» — роман П. Лоти (1850-1923), «Жестокая загадка» — роман П. Бурже (1852-1935).

9 Бранкас Луи-Леон-Фелисите, герцог де (1733-1824) — военный, ученый, писатель, политический деятель, проживший

бурную и скандальную жизнь. Реформировал Театр французской комедии, пять раз был в изгнании, четыре раза сидел в тюрьме. И во время Революции, и во время Реставрации находился в оппозиции к правительству.

10 Валевская Мария (1789-1817) — польская графиня, любовница Наполеона Бонапарта.

11 Видор Шарль-Мари (1844-1937) — французский органист, композитор, музыковед и педагог.

12 Гедда Габлер и Йорген Тесман — персонажи драмы Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890).

13 Тонио Крегер — герой одноименной новеллы Томаса Манна (1914).

14 Густав фон Ашенбах — герой новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции» (1912).

15 Освальд Альвинг — герой драмы Г. Ибсена «Привидения» (1881).

16 Обермергау — городок в Баварии, где с 1634 года после обета, данного во время эпидемии чумы, каждые десять лет разыгрываются народные представления на тему Страстей Христовых.

17 Эллё Поль-Сезар (1859-1927) — французский живописец, рисовальщик и гравер, писавший портреты своих современниц, элегантных парижанок Прекрасной эпохи.

18 Первый роман Маргерит Юрсенар «Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе» (1929) представляет собой исповедь гомосексуалиста.

19 Mutatis mutandi — внеся необходимые изменения (лат).

20 Барнабут — герой и фиктивный автор трех произведений французского писателя Валери Ларбо (1881-1957), вышедших в 1913 году под названием А. О. Барнабут. Полное собрание сочинений.

21 Масарик Ян (1886-1948) — министр иностранных дел чешского правительства в изгнании (в Лондоне), потом в Праге. Член кабинета Готвальда. Покончил собой, выбросившись из окна, когда понял, что судьбу его страны определяет политика Советского Союза.

22 Брюан Аристид (1851-1925) — французский шансонье, сочинявший песни на арго и даже составивший Словарь арго (1901).

23 Риктюс Габриель Рандон де Сент-Аман (1867-1933) французский поэт, выступавший в кабаре с чтением своих стихов в духе Вийона.

24 Крюгер Паулус (1825—1904) — президент бурской республики Трансвааль (1883 — 1902), участник военных

операций буров против африканского населения. В период англо-бурской войны 1899—1902 — один из руководителей сопротивления буров английским войскам.

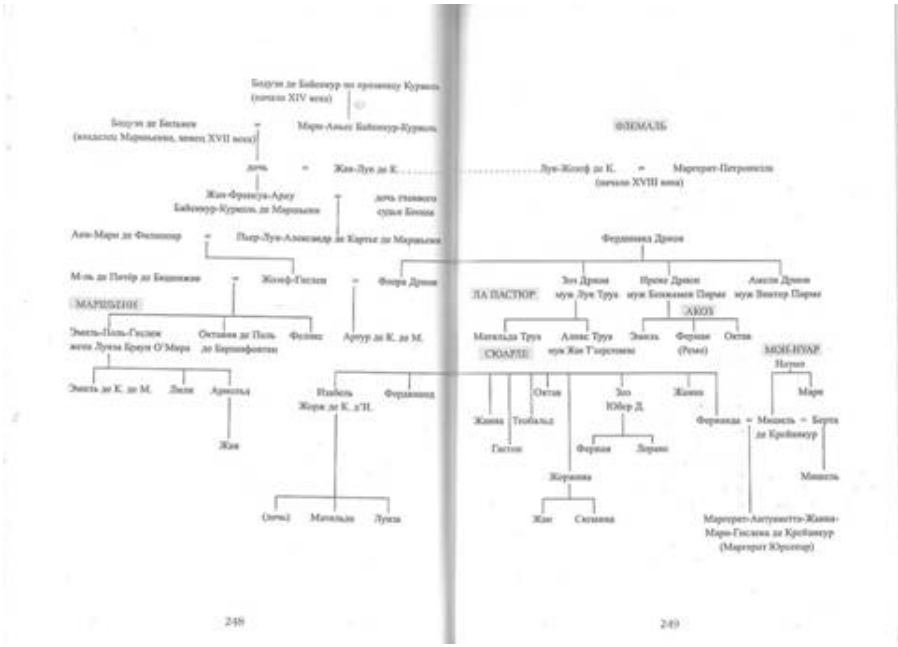
25 Умберто I (1844 — 1900) король Италии, убитый анархистом.

26 Баррес Морис (1862 — 1923) — французский писатель.

27 Tempo cativissimo, navigare impossibile - погода ужасная, плыть невозможно (итал.).

28 Г-жа Вердюрсн — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

Приложения



Фернанда де К. де М., 1899

Мишель де К., около 1909 г.

[image]
[image]
[image]

Листок "Ближайшей памяти" Матильды де К. де М.

Эли Труа, урождённая Дрион.

[image]

Листок "Ближайшей памяти" Октава Пирме.

Артур де К. де М., около 1885 г.

[image]
[image]

Фернанда в Мариенбаде, 1900 г.

Маргерит Юрсенар в возрасте 18-20 лет.
Единственная фотография, где она в очках.

Маргерит Юрсенар.